

МАЙЯ БЕССАРАБ

**ВЛАДИМИР
ДАЛЬ**

627040

ВОЛГОГРАДСКАЯ
областная библиотека
им. Н. В. Бабушкина

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1968

К особенностям его любви к Руси принадлежит то, что он любит ее в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком. Как хорошо он знает его натуру! Он умеет мыслить его головой, видеть его глазами, говорить его языком.

(В. Г. Белинский)

В Москве, на Большой Грузинской улице, есть старинный дом, который не виден ни с площади Восстания, ни со стороны зоопарка. А когда он только что был построен, зоопарка не было и в помине. Сразу за Пресненскими прудами начиналось поле, и путнику, приближающемуся к столице, издали бросался в глаза шестиколонный барский особняк на высоком холме.

Он был построен князем Щербатовым в 70-х годах XVIII века. Историк Михаил Михайлович Щербатов пригласил для постройки дома талантливого зодчего: здание отличается изумительными пропорциями и стоит уже более двух веков. Им владели князья, графы и ученые — Щербатовы, Толстые, Шаховские, Бутлеровы. Но для нас этот дом дорог тем, что в его стенах был создан знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка». Работа над словарем — жизненный подвиг Даля, подвиг во имя русского народа. Этой работе он посвятил сорок три года!

Сохранился зал, в котором проходила правка гранок, чтение корректур, заключительный этап грандиозного труда, не знающего примера в истории лексикографии.

Даль поселился в Москве в 1859 году. Ему было пятьдесят восемь лет, он только что вышел в отставку, чтобы издать свой словарь. Здесь, на Большой Грузинской, Владимир Иванович Даль трудился до последнего дня своей жизни, здесь и умер.

О работе над словарем, который вот уже более ста лет остается лучшим словарем русского языка, а также об его авторе и пойдет речь в этой книге.

Лугань

Иоганн Даль преуспел в науках. Сын офицера датской королевской армии Матвея Даля, он рано окончил школу у себя на родине и отправился учиться в Германию, в Йенский университет. Юноша обладал феноменальной памятью. Пройдя курс богословского и филологического факультетов, он изучил языки немецкий, английский, французский, русский, еврейский, латынь и греческий, причем овладел ими блестяще.

Слава о талантливом лингвисте дошла до русского двора, и Екатерина II решила пригласить Иоганна Даля в Санкт-Петербург на должность библиотекаря. Это происходило в середине 80-х годов XVIII века. Молодой ученый прибыл в русскую столицу и решил остаться в России, хотя занятиями своими был крайне недоволен. Уже в молодые годы в характере Иоганна Даля проявилась черта, которую унаследовал впоследствии его старший сын, Владимир,— стремление заниматься разумным делом. Поэтому Даль хотел выбрать самую полезную специальность. По его мнению, в те годы в России не хватало врачей. И он решил посвятить себя медицине.

Правда, есть и другая версия, она основана на семейном предании. Говорят, Даль влюбился в дочь коллежского асессора чиновника ломбарда Христофора Фрайтаха и просил ее руки. «За богослова не отдадим»,— ответили родители невесты. «А за доктора отдадите?» — не отступал жених. «За доктора отда-

дим»,— последовал ответ, который и решил судьбу придворного библиотекаря.

Так или иначе Даль снова отправился в Йену, получил диплом доктора медицины и, вернувшись в Россию, больше никогда ее не покидал. С тех пор он и имя свое стал писать на русский лад. В его формулярном списке значится: «Иван Матвеев сын Даль 1792 года марта 8 дня удостоен при экзамене в Российской империи медицинскую практику управлять».

Вскоре Иван Матвеевич Даль женился на Марии Фрайтах. Поздней осенью они прибыли в Гатчину. Иван Матвеевич был определен лекарем в Кирасирский полк великого князя Павла Петровича.

Рафинированная, утонченная жестокость Павла, его издевательства над подчиненными причиняли Далю огромные страдания. Однажды с одним майором случился удар после того, как великий князь минут двадцать, как мальчишку, отчитывал его перед строем. Даль признался жене, что, случись ему быть на месте несчастного майора, он застрелил бы сначала великого князя, а потом себя. С этого времени Мария жила в постоянном страхе. Она знала, что ее муж именно так и поступит. Недаром после этого происшествия он всегда носил при себе заряженные пистолеты. Стоило Далю немного задержаться в лазарете, жена места не находила от волнения.

Так они прожили четыре года. Наконец, уступив просьбам жены, Даль подал прошение об увольнении и поступил на службу в Горное ведомство. Весной 1796 года Государственная медицинская коллегия определила его доктором в город Петрозаводск.

Он считался лучшим лекарем в округе, поэтому через два года директор Олонецких, Кронштадтских и Луганского заводов действительный статский советник Карл Карлович Гаскойн перевел Ивана Даля старшим лекарем на Луганский литейный завод с жалованьем пятьсот рублей в год. Детей у Далея еще не было, и никакие переезды их не страшили.

Управляющий Олонецкими заводами коллежский советник Полторацкий выдал доктору Ивану Далю в счет жалованья пятьдесят рублей на дорогу и очередной похвальный аттестат «За отличную усердность к службе и благородное поведение». К этому времени у



Дом в Луганске, где родился В. И. Даль.

тридцатитрехлетнего доктора Ивана Даля было уже четырнадцать таких аттестатов: от Гатчинской волостной конторы, от городских властей Петрозаводска, от Олонецкого заводууправления и земского суда. За этими похвальными аттестатами — множество спасенных больных: работал Иван Матвеевич на совесть, недаром в одном официальном донесении сказано, что он за «неусыпное старание заслуживает уважения».

Летом 1798 года Иван Даль приехал с женой в Лугань. Этому городу было тогда всего три года, он возник одновременно с казенным Луганским литейным заводом, построенным на реке Лугани.

У добросовестного врача всегда хватает работы, так что одноэтажный белый дом на Английской улице, где жили Дали, вскоре стал известен всему городу. Согласно записи в журнале правления Луганского завода от 23 мая 1800 года, «в пользовании старшего лекаря господина Даля находилось заводских служителей до 2000 душ».

Рабочих в Лугань привезли с других казенных заводов, «из разных климатов», жили они в тесноте и бедности, и, естественно, среди них было очень много больных.

Но еще хуже было положение мастеровых людей на угольных шахтах под Луганью, на так называемой

«угольной ломке». Катастрофическое число заболеваний заставило смотрителя угольной ломки Смита написать донесение правлению Луганского завода. Правление командировало на угольную ломку старшего лекаря Ивана Даля. То, что он увидел там, потрясло его.

Пришел обоз, привез с казенного Липецкого завода мастеровых с их женами и детьми. Телеги ушли обратно, а люди остались на голом месте. Они вырыли землянки, вернее, норы в земле и поселились в них. Место было выбрано крайне неудачно: и топливо, и еду, и воду приходилось носить издалека. С наступлением холодов начались болезни, в основном цинга и простудные лихорадки. Даль внимательнейшим образом изучил причины цинги. «Пищу употребляют немало болезням непротиводействующую,— свидетельствовал он,— по той причине, что в прошлую зиму ни одна почти семья не могла запастись ни квашеными, ни свежими овощами и кореньями...»

Иван Матвеевич не мог спокойно смотреть на высушенных, одетых в грязные лохмотья людей, которые ютились в зловонных норах. Как врач, он не мог не знать, что первое лекарство для этих несчастных — человеческое жильё и нормальная пища. Бессмысленно прописывать медикаменты, если каждый, кто только может передвигаться, все равно не ждет выздоровления, а бродит по окрестностям в поисках чего-нибудь съестного.

Даль вернулся в Лугань. У него все не шли из ума больные, лежащие в горячке, в бреду, на грязных соломенных подстилках. Он немедленно принялся составлять рапорт на имя Гаскойна. В официальном донесении чувствовались боль и отчаяние.

Рапорт этот — что по тем временам случалось крайне редко — возымел действие. Видя прямой убыток казне от неработающих мастеровых, Гаскойн повелел переселить рабочих из землянок в казармы и устроить лазарет, о чем 26 сентября 1801 года сообщил правлению Луганского завода.

Мор прекратился. Но врачам все равно то и дело приходилось выезжать на угольную ломку. Грязь, скученность, постоянное недоедание и четырнадцатичасовой рабочий день — как же тут не болеть?

В 1799 году Иван Даль подал на имя государя императора прошение о принятии его «со всем потомством в наивнопопданство». 14 декабря того же года Иван Матвеев сын Даль был приведен к присяге священником Яковом Коребчанским.

Это было сделано очень своевременно, ибо 10 ноября 1801 года у доктора Даля родился сын. Отец дал своему первенцу старинное русское имя — Владимир.

Надо сказать, что датчанин Даль и его жена, немка по отцу и француженка по матери (ее мать Мария Ивановна Фрайтах происходила из старинного французского рода де Мальи), создали русскую семью. В те годы, когда в исконно русских дворянских семьях был принят в обиход исключительно французский язык, в доме Даля говорили только по-русски. Мария Даль, хотя и не была полиглотом, как ее муж, но все-таки в совершенстве владела кроме немецкого русским, английским и французским. О бабушке маленького Володи Марии Ивановне и говорить не приходится — она была переводчицей, переведенные ею пьесы шли в театрах и выходили отдельными изданиями. А труд переводчика, как известно, требует отличного знания языка оригинала и безупречного понимания тончайших оттенков слов того языка, на который переводишь.

Увлечение языками было общей семейной страстью. По вечерам, когда все собирались в гостиной, Володя, устроившись возле бабушки, с удивлением наблюдал, как из-за одного слова разгорались споры.

Володя, обожавший бабушку, с благоговением относился к ее словарям, книгам, ко всему, чем она занималась. Когда ему в шутку сказали, что одна из переведенных бабушкой пьес написана про него и называется «Наш пострел везде поспел», мальчик поверил и пришел в восторг.

«Ты хочешь быть переводчиком?» — спросила однажды Мария Ивановна у своего любимца. Тот помедлил с ответом. Володе не хотелось огорчать бабушку, но его правдивость взяла верх: «Нет. Не хочу все время искать слова».

Разумеется, тогда никто не мог предположить, что охота за словами делается основным занятием его жизни. Ответ внука запомнился бабушке просто по-

тому, что свидетельствовал о наблюдательности ребенка.

У Володи был брат Карл, они были погодками. Были еще две сестры — Александра и Павла, но они умерли в раннем детстве. Самым маленьким в семье был Лев, которого Володя любил больше всех.

Многочисленное семейство доктора Даля занимало в Лугани один из лучших домов. Небольшой, низкий, он был построен вместе с заводом, и с него, как и с нескольких соседних домов такой же архитектуры, начинался город Лугань (современный Луганск). Дом этот сохранился до наших дней, на нем установлена мемориальная доска.

Святая святых дома — кабинет отца. Иван Даль, придя домой, любил сразу после обеда запереться у себя в кабинете. Его жена не обижалась. Добрый, не терпящий никакой несправедливости, Иван Даль и сам был не рад, что у него молчаливый, замкнутый характер. Из боязни показаться смешным он избегал ласковых и нежных слов и при всей своей любви к жене умудрялся по нескольку дней не говорить ей ни слова. Прирожденный утопист, он все время обдумывал какие-то планы, надеялся своими рапортами, написанными ясным, убедительным и весьма красноречивым стилем, если не улучшить положение мастеровых, то, во всяком случае, указать начальству на все неполадки и безобразия. Такой человек ни сам никогда не знает покоя, ни другим его не дает.

Неугомонного лекаря, бомбардировавшего правление Луганского завода рапортами о цинге, свирепствующей на угольной ломке, о нечистотах возле казарм, где живут мастеровые, о нехватке питьевой воды — словом, обо всех бедах рабочих, удалось перевести в Николаев инспектором. Гаскойн сообщил об этом правлению Луганского завода 13 апреля 1805 года: «Его сиятельство министр финансов граф Алексей Иванович Васильев мне знать дает, что состоящий при сем заводе доктор господин Даль определен инспектором в Черноморскую медицинскую управу».

Летом 1805 года Даль с женой, тещей и тремя сыновьями уехал из Лугани. В Николаеве они поселились на главной улице. Вскоре тут родился четвертый сын Ивана Даля — Павел.

Начальное образование дети получили дома. Мать учила их русскому и иностранным языкам. Отец взял на себя уроки литературы и истории. Для преподавания математики и рисования пригласили учителей штурманского училища — мальчики ходили к ним на дом.

Но в основном забота о детях лежала на матери. «Отец был строг, но очень умен и справедлив. Мать добра и разумна и лично занималась обучением нашим», — писал Владимир Иванович Даль, уже будучи взрослым. Ласковая и мягкая по натуре, всегда ровная в обращении, мать и любила ребят, и никогда не баловала их. Это была сама доброта, и дети больше всего на свете боялись ее огорчить. Если она что-нибудь говорила, так всегда вовремя и к месту, все ею рассказанное было весомо и запоминалось надолго. Однажды она полушутя-полусерьезно объяснила мальчикам, какая ужасная жизнь у сына соседа-богача, недоросля, который от безделья так разжирел, что с трудом ходит, и родителям пришлось вызвать к нему доктора. «А того не знают, — говорила мать, — что можно быть сытым щами и кашей, да и их еще надо заработать». Впоследствии Владимир Даль запишет эти слова в одном из своих рассказов.

Из событий этих лет в произведения Даля вошло также трагическое происшествие, случившееся неподалеку от Николаева, в доме разорившегося помещика, владельца пятнадцати душ крестьян. Старик помещик послал трех своих сыновей в кадетский корпус, а сам, находясь в здравом уме и твердой памяти, покончил жизнь самоубийством. «Этим средством он надеялся пристроить детей», — сказано у Даля, потому что круглых сирот принимали в казенные учебные заведения без экзаменов. Родители Володи жалели и осуждали старика, свершившего столь тяжкий грех.

Если у Володи было радостное детство, то это благодаря матери и бабушке. Мать была хлопотунья, веселая, добрая, шумливая. А уж мастерица какая, другой такой поискать. Мальчики у нее вышивали не хуже няни украинки Ганны. Через много лет, когда Владимир Иванович Даль стал одним из лучших хирургов

Санкт-Петербурга, он часто повторял, что всем обязан своей матери, приучившей его с детства ко всякой работе.

В 1812 году Володя испытал первое детское горе. Он хотел идти на войну, но это было невозможно. Чтобы утешить мальчика, отец поручил ему важное дело: ходить на базар «слушать вести». Дважды в неделю приходил почтовый дилижанс, и почтмейстер зачитывал депеши. Володя пересказывал все толково, ничего не забывал, и его слушали внимательно, как взрослого. В эти дни отец не запирался, как обычно, в своем кабинете, а выходил навстречу сыну, едва тот прибегал домой.

Но однажды Володя, еще не дойдя до площади, услышал плач и крики. Испуганный мальчик пошел медленнее. «Что случилось?» — спросил он у незнакомого человека. «Французы в Москве», — ответил тот.

Вернувшись домой, Володя пересказал услышанное и заплакал.

«Ничего не поделаешь, брат, — вздохнул отец. — Ты мал, а я стар. Даю тебе слово: будь вы постарше, отправил бы я всех четверых бить захватчиков».

Он часто повторял своим сыновьям:

«Гордитесь тем, что вы русские».

Эти слова — первое, что вспомнил об отце Владимир Иванович, когда незадолго до смерти диктовал дочери автобиографическую записку. Владимир Даль действительно считал себя русским, и на него, рожденного в нерусской по крови семье, фраза «гордитесь тем, что вы русские» налагала ответственность.

Иоганн Даль записал детей Ивановичами, потому что он любил Россию и все русское совершенно искренне. Чего стоили одни уроки истории государства Российского! Память у Иоганна Даля была исключительная, и не только на языки. Не заглядывая в книги, он читал наизусть отрывки из старинных летописей, так и сыпал хронологическими датами. Дойдя до какого-нибудь великого сражения, он вскакивал и, выпрямившись во весь свой огромный рост, сдерживая волнение, негромко произносил:

«Пятого апреля тысяча двести сорокового года на льду Чудского озера войска Александра Невского наголову разбили тевтонских рыцарей!»

Не случайно поэтому великие события из жизни великого народа навсегда остались в душе и в памяти его детей. Он был замкнутый, молчаливый, но, если его что-то сильно волновало, старый лекарь становился великолепным оратором. Иоганн Даль был истинным патриотом своей новой родины, ведь это благодаря ему Россия получила гражданина, которым гордится и по сей день.

* * *

Шел 1814 год. Страна праздновала победу. Это было замечательное время: сознание собственной силы пробудило национальную гордость во всех слоях общества. Общая опасность всех сроднила.

Но едва войны-победители стали возвращаться на родину, общественные настроения резко изменились. Солдат, которые изумили своими подвигами весь мир, ждало трагическое превращение: вчерашние герои становились рабами. Человек, испытавший истинную радость — возможность самому, своими руками защищать свою страну, узнавший, что такое свобода, не мог не ощущать чудовищной нелепости возвращения в холпы. По всей стране начались крестьянские бунты. Затем прошел слух о жестоких расправах с повстанцами.

В это беспокойное время кончилось детство Владимира Даля. Летом 1814 года, когда ему было неполных тринадцать лет, отец повез его и Карла в Петербург в Морской корпус. Иван Матвеевич Даль, служивший старшим лекарем Черноморского флота, имел право поместить сыновей в Морской корпус на казенный счет, ибо к этому времени ему было высочайше пожаловано дворянство.

Морской корпус считался одним из лучших учебных заведений России. В привилегиях и льготах он уступал лишь открытому три года назад Царскосельскому лицей. Поскольку у Ивана Матвеевича Даля не было средств дать детям университетское образование, он был рад возможности отправить их в корпус.

Выезжали на рассвете. Как ни крепилась мать, при расставании все-таки заплакала. Бабушка тоже была вся в слезах, да и мальчики всхлипывали во время прощания. Экономный отец приладил к большой ли-

нейке навес из холста и взял восьмерых попутчиков, оплативших две трети дорожных расходов.

Линейка прогрохотала по сонным улицам Николаева и покатила по гладкому шляху. Путешествие в столицу сулило столько неизведанного, что у мальчиков сразу высохли слезы. Быстрая езда, свежий ветер, бьющий в лицо, веселые белые хатки больших и малых сел, станции, казачьи пикеты и это ожидание счастья, которое всегда дает дорога...

На девятый день добрались до Москвы. Отец обернулся к своим попутчикам:

«Вот она, Москва!»

Перед ними лежала старинная русская столица. Под ясным небом до самого горизонта мелькали дома, тут и там выглядывали купола церквей. Справа блестяла река, прямо за рекой виднелся белокаменный Данилов монастырь, а левее — пятиглавый Донской. Дивный, загадочный, чарующий город.

Подъехали к Серпуховской заставе. «Слава богу,— подумал Иван Матвеевич, расписываясь в книге въезда,— не вся сгорела Москва». Солдат-инвалид с Георгиевским крестом поднял шлагбаум, и они поехали по Большой Серпуховской улице. Дома были сплошь маленькие, деревянные, все в зелени. Справа проплыло величественное светлое здание с колоннадой, со львами у ворот.

«Это новая Павловская больница»,— сказал отец.

«Основана в 1763 году»,— прочитали мальчики на фронтоне.

Дальше пошли аккуратненькие двухэтажные домики, совсем как на главной улице Николаева. Вдруг улица кончилась: не стало ни домов, ни заборов — сплошной пустырь. Но люди и экипажи двигались так, словно здесь по-прежнему стояли дома. Въехали на Серпуховскую площадь. На месте сгоревших лабазов и лавок предприимчивые купцы выстроили временные балаганы. Возле них толпился народ. Выбравшись из сутолоки, покатали по Ордынке. Здесь тоже никакой улицы не было, осталась только мощеная дорога, по которой четыре века назад проходил путь в Золотую орду.

Это была уже совсем другая, трагическая Москва — город, принесенный в жертву врагу ради спа-

сения нации. По обе стороны улицы тянулись каменные остовы домов: ни крыш, ни полов, ни окон — одни стены. Иногда попадались целые кварталы печных труб. Словом, то, что издали можно было принять за город, оказалось сплошными развалинами.

Но это были не мертвые руины, а живой город: в нем было много народу и везде шла работа. В одном месте разбирали обгоревший одноэтажный дом. Дальше обнаженные по пояс плотники в неторопливом четком ритме тесали бревна на широком дворе. А у реки уже виднелись новые заборы и новые дома.

Отец был подавлен видом развалин, а мальчикам нравилось, что город строится заново. Они приуныли только тогда, когда подъехали ближе к центру, где каменные скелеты домов наступали уже со всех сторон. Иван Матвеевич с тревогой вглядывался в очертания Кремля: неужели правда, что три башни разрушены до основания, а на двух не осталось ни шпилей, ни шатров? Так и есть! Поехали вдоль набережной. Отсюда была видна выходящая к Москве-реке, разрушенная в двух местах южная стена Кремля и груды камня на месте Водовзводной башни, которая стояла у самой воды, на стрелке кремлевского мыса, где в Москву-реку впадала река Неглинка с топкими берегами.

У Боровицких ворот вышли из кибитки. Взглянув на обезглавленную Боровицкую башню, обычно молчаливый Иван Матвеевич разразился тирадой в адрес Наполеона, способного поднять руку на такую святыню. Отец говорил на ходу и оттого, что поднялся на мост через Неглинку, запыхался и никак не мог отдышаться.

Остановились на вершине Кремлевского холма. Отсюда был виден весь город. Солнце слепило глаза. Прикрыв их рукой, Володя вглядывался вдаль: за рекой стояли сквозные остовы домов, несколько чудом уцелевших зданий и новые хоромы, которые и слыхом не слыхали о пожаре, что бушевал здесь шесть дней подряд. Дальше на фоне синего леса виднелись купола монастырей, поставленных на дальних подступах к столице для защиты от вражеских набегов. Улицы шли как им хотелось, пригорков и оврагов никто не сравнивал, и весело было глядеть на этот при-

вольный и своенравный город. Потом он перевел взгляд на кремлевские башни с бойницами, с белокаменными украшениями и железными флюгерами на верхушках. Здесь они были совсем близко — рукой подать. Володя смотрел и не мог оторваться. Обаяние древности, чары русской сказки и сама история, запечатленная в камне, — вот что означал для Володи Кремль. Он не мог еще выразить это словами, ему было всего тринадцать лет. Но он это чувствовал, и первое посещение Кремля запомнилось ему до мельчайших подробностей.

Отец заторопил мальчиков: им предстоял еще долгий путь. Нехотя сели братья в кибитку. Поднялись по Знаменке до Арбата. На почтовой станции путешественники заночевали и чуть свет были уже снова в пути.

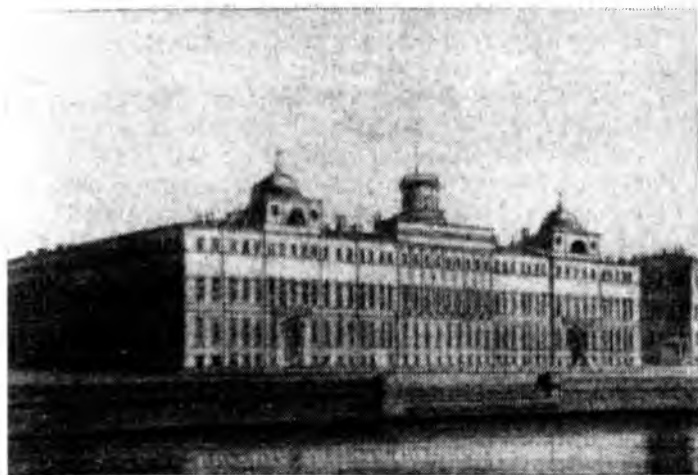
Еще через несколько дней измученный долгой дорогой отец расписался на городской заставе Санкт-Петербурга.

Морской корпус

Огромное четырехэтажное серое здание на Васильевском острове. Бесконечные коридоры. Надменные офицеры. Похожие друг на друга воспитанники в белых рейтузах и черных, шитых золотом кителях. Все это произвело на лекарских сыновей удручающее впечатление. Мальчики робко поглядывали на отца, который как-то сразу стушевался в роскошной приемной адмирала Карцева. Адмирал был стар, щурил на братьев добрые, слегка раскосые глаза и во время разговора незаметно подпирал ухо пальцем, чтобы лучше слышать.

В Морской корпус принимали учеников, окончивших два класса реального училища. Владимир и Карл были подготовлены значительно лучше других и испытания выдержали успешно. Корпусный штаб-лекарь признал их вполне здоровыми, и они были зачислены в первый класс.

Добродушный толстяк Карл быстро освоился на новом месте, а Володя с трудом привыкал к суровому



Морской корпус.

казарменному режиму. Хорошо еще, что ему досталась удобная спальня на втором этаже, где комнаты были более высокие, чем на двух верхних этажах. К тому же Володино окно выходило на Неву, о чем он с радостью сообщил в письме родителям.

Уроки продолжались с семи до одиннадцати и с двух до шести. Иностранным языкам, математическим и морским наукам учили утром, «словесным» — вечером. Один день, как другой, другой, как третий, и так долгих одиннадцать месяцев. За стенами корпуса наступила зима, потом весна, а в жизни кадет ничего не изменилось: тут все шло по раз и навсегда заведенному порядку.

Самым лютым остался в памяти Володи инспектор классов капитан-лейтенант Марк Филиппович Горковенко. В «Истории Морского корпуса» дан его портрет: грубые черты лица, узкий лоб с залысинами и тяжелый, давящий взгляд насмешливых глаз.

Идет урок. Тишина такая, что слышно, как бьется сердце. Марк Филиппович медленно водит пальцем по журналу.

— Так-с. Кого же мы сегодня вызовем? Даль.

Владимир вскакивает. Какую-то долю секунды они смотрят друг другу в глаза, и опытный педагог видит, что урок выучен.

— Нет. Садись. Благодарю. Мы лучше Дмитрия Завалишина побеспокоим. Впрочем, Завалишина — потом. А сейчас попросим-ка выступить... Павла...

Разом подскочили два кадета. Горковенко онемел от негодования. Тезки бесшумно опустили на места. На этот раз оплошали первые ученики: Павел Нахимов и Павел Новосильский. У Владимира сжалось сердце: неужели выпорот?

— Останетесь после уроков, господа. Отвечать будет Иван Коробов.

Капитан-лейтенант достает из кармана серебряную табакерку. Он постукивает ребром табакерки по ладони и выжидающе смотрит на отвечающего. Потом начинает свою зловещую прогулку по классу. Урок, будь то алгебра или геометрия, полагается выучивать наизусть. Когда фигура капитан-лейтенанта маячит перед глазами, еще можно собраться с мыслями. Но стоит ему очутиться за спиной говорящего, кадета охватывает ужас. Еще бы! Чуть запнешься — капитан пребольно хлопает табакеркой по голове.

— Там не так сказано, говори теми же словами!

Даль на всю жизнь запомнил тупой, доводящий до тошноты страх, охватывавший его каждый раз, когда капитан неслышными шагами подкрадывался сзади во время ответа.

Впоследствии Даль показал целую вереницу таких диковинных типов — воспитателей того времени.

Вот уже знакомый нам «выживший из лет» и из ума дряхлейший директор Морского корпуса: полный адмирал, сенатор, Адмиралтейств-коллегии член и александровский кавалер Петр Кондратьевич Карцев. Заметив однажды, что кадеты устроили во дворе каток, он умилился и отдал приказ купить на каждую роту по десяти пар коньков. И в то же время за катание на коньках полагалась порка. Поэтому, если кто-то из офицеров был не в духе, он всегда мог сорвать на ком-нибудь зло: шел во двор и ловил первого попавшегося конькобежца.

Или еще один уникал: вертлявый щеголь и ломака лейтенант Калугин. Он затягивал талию, как барышня,

и ходил, выпячивая грудь. Чувствуя в глубине души, как он смешон, мужчина-кокетка принимал на свой счет любую улыбку, хватал «провинившегося» за шиворот и под розгами допрашивал: «Ты почему смеялся? Ты почему смеялся?»

Случалось, что после наказаний дети даже заболели.

Особенно частыми были такие случаи в классе племянника директора корпуса Овсова, который иногда доводил наказание до трехсот розог.

Но самое страшное, что эти «преподаватели» калечили души подростков, ожесточали их. Уже к концу первого года обучения некоторые кадеты могли выносить порку, не проронив ни звука. Мальчики, которых часто секли, становились злыми и наглými, мордобой был для них привычным делом. А в старших классах они сами истязали младших воспитанников с хладнокровием законченных садистов.

Если кадеты терпели зуботычины и колотушки от нескольких офицеров, которые дошли до того, что не могли вести урок без побоев, то те же самые воспитанники превращались в изощреннейших палачей, едва угадывали в преподавателе робкого и слабовольного человека.

Учитель русского языка статский советник Груздев как-то проговорился, что происходит из духовенства. С тех пор дня не проходило, чтобы ученики в той или иной форме не напомнили ему об его злосчастном происхождении. Вызовет Груздев кадета, велит написать басню. Тот выводит мелом на доске: «Скачет груздочек по ельничку, не груздочек скачет — поповский сын».

— Разве это басня? — после тягостной паузы спрашивает Груздев, желая перевести разговор на другую тему. Он наивно полагает, что класс, может быть, не заметил подвоха.

— Вестимо, басня.

— Ты басни читаешь?

— Что я, малолеток какой? Я их сочиняю.

— Единица. Давай, пиши прозу.

Кадет оглядывается на класс. Его третья строчка не уступает двум первым: «Проезжал я по поповскому полю и видел много скверных груздей». Класс

покатывается со смеху. Груздев одним прыжком подскакивает к воспитаннику, хватает его за шиворот и орет:

— Негодяй! Мерзавец! Выпорю!

На этом урок кончается. Кадеты, даже самые воспитанные, с трудом сдерживают улыбки. У Груздева краснеет нос, в глазах появляются слезы, он отчаянно пытается скрыть их, распахивает окно и стоит, глядя вниз, на спокойную полноводную реку.

Хорошо запомнил Володя и другого учителя, итальянского генерала Триполи. На уроках он пересказывал светские сплетни, декламировал латинские стихи, болтал о том о сем и уходил домой.

Учителей, как правило, брали по принципу: лишь бы поважнее. Естественно, никакой сановник к урокам никогда не готовился. Каждый из них был совершенно убежден, что одно его появление в мундире и при всех орденах благотворно сказывается на воспитанниках. «Что же сказать о науке в корпусе? Почти то же, что о нравственном воспитании: оно было из рук вон плохо, хотя для виду учили всему», — написал через много лет в своих воспоминаниях Владимир Иванович Даль.

Редкий день проходил без розог. Методика наказаний была разработана до мелочей. Обыкновенная порка производилась в комнате дежурного, это было такое же привычное дело, как обед или ужин. Следующая степень наказания, уже с ведома директора: порка в присутствии роты. Наконец, высшая кара — порка при всем корпусе с последующим исключением. Это наказание применялось крайне редко. Во время учебы Даля в корпусе был только один такой случай. За то, что во время бунта из-за скверной пищи случайно ударили офицера.

Кстати, эти бунты происходили довольно часто, ибо кормили кадетов из рук вон плохо. Володя писал матери, что у них очень хорош ржаной хлеб, квас да булки, которые давали утром и вечером. Чай пили только офицеры. Причем, за столом, как и во всем, была одна показуха: солонки, стопы для кваса, ложки — все из чистого серебра, а хлебали этими ложками пустые щи. Повара были отъявленные воюги, пришлось ввести постоянное дежурство на кухне двух гардемарин. Повара, пойманного с поличным,

гардемарины били, жаловаться в таких случаях не полагалось.

Офицеры знали о расправах над поварами, но не вмешивались, считая, что такое украшение, как сникер под глазом, вор вполне заслуживает. Но эти зуботычины поварам да еще крики из комнаты дежурного офицера (младшие кадеты во время порки орали благим матом) доставляли Володе огромные страдания.

Нравственный гнет доходил до того, что детей не оставляли в покое даже тогда, когда они ели: «во время стола» им читали «морской и воинский уставы и нравоучительные книги для знания обращений света и вкоренения благонравия». «Дать бодрую осанку и молодецкий взгляд» — этой задаче было подчинено все воспитание.

Постепенно Володя немного привык к корпусу, у него появились друзья. Он привык и к преподавателям, но непрестанно к ним присматривался. Конечно, он не знал, что все эти наблюдения очень пригодятся ему впоследствии. Точно так же, как никто не мог знать, что способнейший из способных, спокойный, серьезный, с лицом, выражавшим какое-то задумчивое и порою даже суровое добродушие, Павел Нахимов со временем станет одним из лучших флотоводцев России, героем Синопа и Севастополя, и потомки скажут, что адмирал Павел Степанович Нахимов — это честь и совесть русского флота. Но в Морском корпусе и Павел Нахимов, и Владимир Даль, и их общий друг Дмитрий Завалишин были самыми обыкновенными кадетами, разве что учились лучше других. Уже сказывалось призвание. Владимир Даль просиживал за своими дневниками все свободное время. Записывал меткие словечки, смешные случаи из кадетской жизни или просто привычки офицеров и воспитанников.

После первого класса воспитанников вывезли в сухопутный лагерь у Петербургских ворот. Жизнь там была легче, чем в корпусе, но кадетам и в лагере не давали ни минуты свободы. Подъем — в пять утра. Три минуты на сборы. А потом день-деньской над ухом рывкает фельдфебель:

«Р-раз — два! Р-раз — два! Лево! Лево! Отставить это выражение лица!»

Занимались в основном фронтовым учением и ружейной экзерцицией, а иногда и пальбою. И все-таки кадеты поздоровели, порозовели, вволю надышались свежим воздухом.

Время прошло быстро, и снова — ненавистные казармы. Правда, второй класс был легче первого: помогала дружба. И все-таки горькие минуты выпадали нередко.

В казарменной обстановке праздники, особенно такие, как Новый год, были почти единственной радостью. Поэтому кадеты готовились к ним долго и старательно. Всем офицерам было известно, что несколько месяцев подряд ребята до поздней ночи мастерят новогодние украшения: большие фонари в виде разрисованных пирамид с вензелями своих преподавателей. В каждый фонарь вставлялся огарок свечи; от них трудно было отвести взгляд — так они были красивы. В новогоднюю ночь офицеры подолгу любовались иллюминацией, но, поскольку не существовало особого циркуляра, разрешающего приготовление волшебных фонариков, это делалось тайно. И вот накануне Нового, 1816 года лейтенант Николай Федорович Миллер растоптал почти готовые пирамиды. Бессмысленная жестокость наставника поставила кадетов в тупик. «Иногда нельзя было не подумать, что люди эти не в своем уме», — писал впоследствии Владимир Иванович Даль. Сколько было слез, когда мальчики увидели изломанные игрушки! Какими некрасивыми казались новые, наспех сделанные пирамиды!

Аналогичный случай произошел с Далем, когда он возвращался в корпус от тетушки, родной сестры матери, у которой гостил во время каникул. Володя трудился не покладая рук, чтобы отшлифовать кусок стекла, необходимый ему для какого-то физического опыта. Стекло удалось на славу, и мальчик поминутно доставал его из кармана и любовался своей работой. Вдруг он услышал окрик:

— Брось стекло, мерзавец!

Вначале Владимир не понял, что случилось, но, взглянув на окна дома, мимо которого проходил, пустился бежать что было мочи. Вдогонку ему неслись крики корпусного офицера.

Сорок лет спустя Даль описал это происшествие в

статье «О воспитании», он помнил случившееся до малейших подробностей.

Конечно, были в корпусе и хорошие педагоги. Кадеты получали твердые знания по точным наукам, в первую очередь по математике, проходили хорошую практическую подготовку во время летних кампаний, хотя все это ни в какой степени не оправдывало принятые в Морском корпусе методы воспитания.

Пятнадцатилетние подростки больше всего любили месяц практических занятий на море.

1816 год. Середина мая. Море! Владимир, успешно закончивший второй курс, произведен в гардемарины. Даль с восторгом вспоминает это время. «Как он был счастлив и доволен,— пишет Владимир Иванович в своей автобиографической повести,— когда вышел в гардемаринны и пошел на плоскодонном фрегате до Красной Горки! Тяжеленько мальчику сидеть из года в год за решеткой — неминуемая участь всех тех, у кого нет родных или сострадательных знакомых в столице. И как отрадно зато подышать воздухом на свободе, быть гребцом, марсовым, понимать и слушать команду вахтенного и чувствовать себя полезным и нужным на своем месте — отдать брам-фал, взять кливер на гитовы по команде или даже спустить за словом флаг или гюйс, объедаться изюмом, орехами, пряниками — всегдашнею морскою провизией гардемарин, ходить в рабочей, измаранной смолою рубахе, подпоясавшись портупейкой, в фуражке на ремешке или цепочке, чтоб ее не сорвало ветром; купаться, кататься на гребном судне, не ходить целый месяц в классы... О! Это знает только тот, кто это испытал!»

Потом снова корпус, который после лета всегда кажется еще мрачнее. Постные физиономии господ офицеров, отупляющая зубрежка изо дня в день, из месяца в месяц. Конечно, приятно было сознавать, что ты уже в третьем классе. Тем более, что третий класс был у Володи необычный: он днем и ночью, каждую свободную минуту писал стихи. Стихи получались плохие, он тут же их уничтожал, но не писать не мог.

Самое незабываемое впечатление произвел на Володю его второй выход в море. Это была четырехмесячная кампания с визитом в Швецию и Данию.

Из полутора тысяч воспитанников корпуса отобрали двенадцать лучших гардемарин, у которых были отличные успехи и ни одного наказания.

В Центральном государственном военно-морском архиве хранится «Список обер-офицеров и гардемарин, назначенных в плавание на бриг «Феникс» в кампанию 1817 года:

Лейтенант князь Сергей Шихматов

Гардемарины:

Федор Колычев

Павел Новосильский

Дмитрий Завалишин

Владимир Даль

Платон Станицкий

Иван Адамович

Степан Лихонин



Бриг «Феникс».

Николай Фофанов
Павел Нахимов
Александр Рыкачев
Захар Дудинский
Иван Бутенев

Итого 12 человек

Все сии гардемаринны снабжены каждый двумя куртками и галстуками, брюками: суконными — одними, летними — тремя, кивером, тесаком, фуражкой, шинелью, тюфяком с подушкой и одеялом; бельем: по шести рубаш, по трои подштанников, по четыре простыни, на подушку наволоками по три, чулками по четыре пары и сапогами по три пары.

Лейтенанту кн. Шихматову приложен список только с одними именами».

В архивах Ленинской библиотеки хранится долгое время считавшийся утерянным «Дневной журнал гардемарина Владимира Даля, веденный на бригае «Феникс», коего длина 98 футов и 10 дюймов, ширина 30 футов и 8 дюймов и глубина 12 футов и 10 дюймов».

Журнал начат 20 мая 1817 года. Почерк совсем детский, буквы круглые, строчки неровные, но записи подробные и аккуратные.

Матросская служба тяжела, на первой же странице дневника — трагедия. Старый, опытный матрос упал на палубу с грот-реи. Сбежалась команда, несчастного подняли, уложили на носилки, отправили в госпиталь. Насмерть напуганных кадетов уверили, что он ничего себе не повредил. Но беднягу матроса никто уже больше не видел.

24 мая «Феникс» стал на якорь в Рочславльской гавани. Комендант гавани Федор Власьевич Веселаго, владелец уникальной библиотеки, большой любитель и знаток старины, рассказал гардемаринам историю Морского корпуса. Ожили страницы прошлого. Вот на головы отупевших от обжорства и безделья недорослей обрушился приказ Петра I, повелевавший барищам явиться в столицу для ученья: 14 января 1701 года была учреждена школа «математических и навигацционных наук, то есть мореходных хитростно искусств ученья». «Трудись, братец,— обращался Петр к уче-

никам, — надо трудиться, я и царь ваш, а у меня мозоли на руках». Но дворяне не хотели отпускать из дому своих сынков. И загремели указы, один другого грознее. За прогульные дни, так называемые «неты», штрафовали: за первый — пять, за второй — десять, за третий и остальные — пятнадцать рублей. Ничего не поделаешь, приходилось ехать в Москву, в навигационную школу на Сухаревке. В 1715 году старшие классы этой школы вместе с преподавателями были переведены в Санкт-Петербург, здесь была создана Морская академия, которую с 1752 года стали именовать Морским корпусом.

«Мая 29-го числа, в среду. Сегодня поутру приезжает к нам на бриг господин вице-адмирал и кавалер Федор Васильевич Моллер, он у каждого из нас спросил фамилию и, пожелавши нам всем счастливого пути, отправился на своем катере. Вскоре после него был г-н контр-адмирал и кавалер Максим Петрович Коробка. В первом часу привалил к нам катер от господина министра военных морских сил и кавалера Ивана Ивановича де Траверсе. Урядник, находившийся на катере, подал Павлу Афанасьевичу записку, в коей господин министр требовал меня к себе на яхту. Я тотчас с позволения Сергея Александровича отправился...»

Командир судна Павел Афанасьевич Дохтуров и корпусной лейтенант Сергей Александрович Шихматов понимали, почему из двенадцати гардемарин адмиралы выбрали Владимира. На яхте министра обыкновенно находились дамы; чтобы их немного поразвлечь, высокое начальство и пригласило самого красивого юношу. А Даль всем взял — высокий рост, широкие плечи, светлые кудри и небесно-голубые глаза. Скромный мальчик оробел совсем среди разряженных женщин под кружевными зонтиками. Особенно когда заметил, что великосветские кокетки принялись беззастенчиво его разглядывать, оценивая шестнадцатилетнего мужчину по всем статьям и обмениваясь какими-то замечаниями, которые, вероятно, касались его наружности.

— Под какими парусами идем? — спросил министр.

Даль ответил. Дамы заулыбались. Господин министр решил продлить спектакль: мальчик явно поль-

зовался успехом. Он приказал принести свой рупор и подал его Дально:

— Повороты на левый галс.

«Я сначала оробел, ибо я повороты еще худо знал, а особенно на двухмачтовой яхте, ибо я первую кампанию ходил на фрегате, и потому спросил его:

— Фок-шкот прикажете отдать?»

— Прежде по местам,— ответил министр, самодовольно оглянувшись в сторону дам: я, мол, все-таки знаю больше этого юноши.

«Напоследок я еще опоздал отдать грот-марса-бумень, и весь мой труд теперь был бесполезен, ибо яхта опять покатила под ветер! — с горечью пишет юный моряк, и не догадывавшийся, что скучающим бездельникам просто нужно было зрелище.— Во второй раз он меня опять заставил поворотить; тут уж я поворотил благополучно».

Надо было отпустить мальчика восвояси, но, по совету своей супруги, министр оставил Далья обедать. На бриг «Феникс» юноша вернулся только к вечеру.

Любимое детище Петра I — флот в первой четверти прошлого века пришел в упадок. Заглохло судостроение, обюрократилось высшее начальство, окончательно заворовались чиновники среднего ранга. Повальное казнокрадство достигло фантастических размеров. Часть преступников была разоблачена на скандальном уголовном процессе. Это в какой-то мере очистило атмосферу, но, по сути дела, почти ничего не изменилось: жулики стали осторожнее, а порядки остались те же. «Щука умерла, а зубы целы»,— говорили матросы. Они же окрестили славное Балтийское море Маркизовой лужей, в двух словах выразив свое презрение к маркизу де Траверсе.

Даль не мог в своем дневнике повторять дерзкие морские словечки, он нашел более приличную, полуофициальную форму для меткого названия: Маркизово море. Его можно понять: в дневники гардемарин любили заглядывать сановники, посещавшие бриг.

Сергей Александрович Шихматов требовал от своих учеников подробных дневниковых записей. И он, и командир судна Дохтуров, и оба помощника командира знали, как много даст такое путешествие, если будущие моряки научатся записывать свои наблюдения.

«Каждый культурный человек должен уметь просто и понятно излагать на бумаге свои мысли», — говорили они ученикам.

Офицеры лазили с гардемаринами по стенам полуразрушенной крепости, спускались в серебряные и железные рудники в окрестностях Гельсингфорса, чтобы показать воспитанникам, как добывают руду.

Записи в Володином дневнике с каждым днем становились все более содержательными. Он весьма критически отнесся, например, к береговым укреплениям крошечной финской крепости, потому что без труда обнаружил полную непригодность боевой техники, выставленной напоказ, вроде театральных декораций. Зато шахты и рудники ему очень понравились: в них кипела работа. «Я для редкости взял серебряной и железной руды», — записывает он в своем дневнике.

В окрестностях города Володя увидел «пильную мельницу, стоящую над водопадом, которая сама требуемое бревно притаскивает и потом, распиливши, выкидывает доски понемногу назад. Здесь же была машина для лучшего и скорейшего перемешания глины, которую употребляют для делки кирпичей». Володя был пленен суровой природой Севера. Вот внимание его привлек дуб, которому от роду несколько сот лет, и мальчику вспомнился знаменитый столетний каштан в Крыму близ Черной деревни, который показал ему когда-то отец.

Шихматов заставлял своих воспитанников заниматься иностранными языками. Поскольку он сам хорошо знал немецкий, английский и французский, двое других офицеров учились в Англии и отлично владели английским, а один был немец и на своем родном языке говорил лучше, чем на русском, эту задачу было нетрудно выполнить. Гардемарины кроме разговорной практики делали письменные переводы, писали сочинения.

Долгими вечерами и в дождливые дни кают-компания напоминала классную комнату, но до чего же непохожи были эти занятия на муштру в Морском корпусе! Флотские офицеры относились к своим ученикам с уважением, старались пробудить в юношах чувство собственного достоинства и гордость от сознания, что

они русские моряки. Гардемарины же в них души не чаяли и во всем им подражали. И даже шалости подростков ничем не напоминали грубых и жестоких выходов в Морском корпусе. Происходило все это от избытка энергии, от отчаянной мальчишеской храбрости. Одно время ребята увлекались канатоходством. Но однажды Иван Бутенев чуть не разбился о палубу, слетев с веревки, натянутой наискось между двумя мачтами. В этот день было ветрено, мачты раскачивались, и мальчик потерял равновесие. К счастью, он ухватился рукой за веревку, но, когда внизу натянули брезент, не мог прыгнуть: рука не разжималась, свело пальцы. Его сняли с большим трудом.

Правда, вскоре после этого гардемарины изобрели не менее рискованный трюк: спускались с марса и даже с салинга вниз головой. Тут тоже ничего не стоило сломать шею или, как это случилось с Завалишиным, содрать кожу на ногах. Дежурный офицер, проходя мимо, вдруг заметил, что мальчик стоит в луже крови, и испуганно закричал:

— Боже мой! Что это?

Кадеты лишились и этого фокуса. Тогда они придумали беготню по борту. Невозможно понять, как никто из них не свалился в воду. Мальчишки носились вокруг палубы, пока однажды не попались. Очередь бежать дошла до Нахимова, когда выставленный караульный крикнул, что идет Шихматов. Павел прыгнул, споткнулся, со всего маху ударился о железное кольцо, ввинченное в палубу, и наискось рассек подбородок.

— Братцы, не говорите князю! — крикнул он, не видя стоящего рядом Сергея Александровича.

Сергей Александрович Шихматов их не наказывал. Но после подобных выходов он ходил хмурый, удрученный, так что мальчишки не выдерживали и сами шли к нему с повинной. К середине похода шалости прекратились окончательно. Даль пишет в своем дневнике:

«Июля 7-го, в среду. Четвертого числа ввечеру снялись мы с якоря с рижского рейда, а 6-го пришли к Стокгольмским шхерам. Ночь с 4-го на 5-ое была так темна, что мы принуждены были поднять много фонарей; при том же был сильный туман и дождь. Шхе-

рами, то есть узкими проходами между множеством малых островов, надлежит идти 80 верст».

В Стокгольме гардемарины были представлены русскому послу при шведском дворе барону Петру Корниловичу Сухтелену. Гардемарины познакомились с городом, а городзнакомился с ними. На «Фениксе» побывало много иностранцев. Вот запись, сделанная Далем 12 июля: «Был у нас на бриге капитан-паша и кавалер ордена Луны Измаил Гибралтар. Ему в уважение сделали у нас пушечную и ружейную экзерцицию без пальбы, что ему весьма понравилось».

Офицеры старались показать своим воспитанникам как можно больше: дворцы, адмиралтейство, музеи и библиотеки. В одной библиотеке Володе запомнилась надпись, которую он увидел на стене: «Науками сердце умягчается и грубость исчезает».

В конце июля погода испортилась. «Во вторник, 24-го числа. Уже почти неделя, как идет беспрестанный дождь, и солнце не показывается,— записывает Даль в своем дневнике.— Сегодня мы нигде не были, но примечания достойное случилось то, что два судна, русское и шведское, шли в бейдевинд контргалсами, столкнулись и потом, не будучи в состоянии распутаться, оба течением на нас снесены были. Они прошли мимо, потом русское судно отошло от шведского. Шведское судно бросило якорь, но его еще дрейфовало и опять на нас навалило, наши матросы соскочили на их судно, оттолкнулись, и как у них канат был вытравлен уже весь и висел один конец на брашпилье, то они привязали к канату конец и вытравили оный также. Нам стало дрейфовать, хотя на битинге было 35 сажен канату, а глубина здесь не больше 12 сажен. Вынув якорь, увидели, что наш якорь лапой задел за канат шведского судна и что наш же канат трижды около нашего штока обернулся, отчего мы и не могли на нем держаться. Подняв оный, подтянули на прежнее место и бросили его».

Покидая Швецию, гардемарины увидели, как шведские суда «праздновали воспоминание крестовых походов».

От берегов Швеции путь «Феникса» лежал на Копенгаген. Шли переменными галсами, то есть зигзагами, лавировали, иначе против ветра парусное судно

передвигаться не может. После шестидневной лавировки подошли к Копенгагену. «Подойдя вблизи, пушечным выстрелом и гюйсом, поднятым на форбрам-стеннге, требовали лоцмана. К нам пристали рыбаки, которые согласились вести нас до самого входа, а там уже прислали лоцмана».

Даль никому не рассказывал о своих волнениях, но на душе у него было очень тревожно: «Когда я плыл к берегам Дании, меня волновало то, что я увижу отечество моих предков, мое отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество мое Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков. Немцев же я всегда считал народом для себя чуждым».

Сергей Александрович Шихматов, подружившись во время похода с Володей, часто говорил ему:

— Хороший ты человек, друг мой Даль, жаль только, что немец.

На что юноша с достоинством отвечал, что он никогда не был немцем, что он и внешне русский, и душой.

— Ну-ну, ведь я пошутил,— хохотал Сергей Александрович, и Володя сразу менялся в лице: у него были строгие глаза и неожиданная улыбка — доверчивая и располагающая.

Шихматов очень любил Володю, он понимал, как писал впоследствии Даль, «ту страшную, отчаянную пустоту, которую чувствует человек, когда в первый раз начинает постигать назначение свое, широко разведет сильные руки, чтоб обнять весь свет, и заплачет о своем одиночестве...»

От внимания Сергея Александровича не ускользнуло то, что Володя очень нервничал, когда «Феникс» приближался к Копенгагену. У Володи усилились приступы морской болезни, что Шихматов приписал его нервному состоянию.

11 августа стали на рейд. Не прошло и пятнадцати минут, как на борт «Феникса» поднялись два офицера и предложили свои услуги. «Они были посланы от директора здешнего морского корпуса г-на контр-адмирала Спидорфа.

12-го числа. Поехали мы на берег, чтобы представиться главным флотским чиновникам. Мы увидели, что

Копенгаген весьма хорошо и правильно выстроен, улицы широкие и дома довольно высокие, кои имеют хороший вид. Площадей весьма больших здесь нет, но две площади довольно величины мы видели, на каждой монумент.

14-го числа. Были в музее, где видели множество картин различных художников».

В этот день Сергей Александрович Шихматов представил их ко двору. Во время роскошного обеда кто-то сказал принцу, пишет в своем дневнике Даль, «что мой отец датчанин, и посему он меня спросил по-датски, говорю ли я на сем языке, но я по-французски отвечал ему, что я родился в России, а посему не знаю оного».

Русские гардемаринны сдружились с датскими кадетами, которых король отпустил на каникулы на все время пребывания в Копенгагене гостей из России. Каждое утро на «Феникс» являлось несколько человек, чтобы сопровождать своих новых друзей на экскурсии, в театр, на обеды, которые датчане устраивали по очереди, соперничая в гостеприимстве. Заметив, что гардемаринны очень интересуются искусством, особенно живописью, хозяева частных картинных галерей пригласили их осмотреть свои коллекции. Русские моряки по достоинству оценили это радушие. Для них каждая прогулка по городу была радостью, потому что вся столица знала об их приезде, и, едва увидев рослых, широкоплечих молодцов, каждый встречный начинал улыбаться гостям, словно видел старых друзей.

«18-го числа. После обеда поехали в приготовленных для нас каретах на бал, где нашли несколько кадет и директора корпуса адмирала Спидорфа. Вскоре стали съезжаться гости, в числе коих был и принц Фердинанд. Г-н Спидорф дал каждому из нас по даме, чтобы с нею танцевать и вести к ужину. Я с трудом мог отговориться, чтобы не танцевать. Продолжали оный бал до 5 часов утра, считая также время ужина, который был весьма богат и пышен. В саду стояли пушки, и как скоро пили за здоровье императора Александра и датского короля, то палили из оных», — записывает Даль.

«22-го числа. Сергей Александрович взял меня в город, старался отыскать кого-либо из моей родни, но

сие было тщетно. Ибо мы нашли некоего армейского офицера по фамилии Даль, но его не было дома, а супруга его не знала, имеет ли ее муж в России родню или нет».

Был ли копенгагенский офицер родственником русского Даля, осталось неизвестным, ибо он не пришел на «Феникс», хотя Сергей Александрович передал ему приглашение посетить корабль.

В этот же день прибыл в Копенгаген фрегат «Плюкс», на котором находился русский посланник в Дании барон Николай. Когда посланник сходил с фрегата по трапу, на «Фениксе» палили из пушек и кадет заставили кричать «ура!». 23 августа гардемарины во главе с князем Шихматовым явились к барону с визитом. Николай, известный своей скупостью, испугался, что прием, оказанный русским морякам в Копенгагене, может повлечь за собой какие-нибудь расходы для него лично. Сославшись на жестокие штормы, которые делают небезопасным плавание по Балтийскому морю в это время года, он рекомендовал Шихматову поторопиться с отъездом. Когда Сергей Александрович попытался ему объяснить, что противный ветер не допускает выхода из порта, барон спросил:

— А нельзя ли выйти этак бочком? Ведь вы как-то умеете плавать боком.

Гардемарины переглянулись: их очень удивило, что взрослый человек не знает слова «лавирировать».

Дипломат нарушил элементарные правила вежливости: он даже не пригласил гостей к обеду. Можно было только радоваться, что его раньше не было в Копенгагене.

«30-го числа. Сегодня утром Павел Афанасьевич послал меня за лоцманом, который хотя и приехал на бриг, но не согласился вести нас, по причине противного ветра.

1-го сентября. Сегодня утром или, лучше сказать, ночью ветер отошел к 0, и потому я в шесть часов опять поехал за лоцманом, который согласился нас вести, и потому в 9 часов мы снялись с якоря, салютовали крепости и получили ответ». С попутным ветром «Феникс» на всех парусах спешил в Кронштадт. Была только одна остановка — в Ревеле (Таллине).

«Сентября 7-го числа. Сегодня после полудня мы уже приближались к Ревелю, а по причине противного ветра при входе на рейд лавировали, и, по несчастью, при середине поворота грот-марса-бумень — отдай приткнулись к мели. Мы сели всем лагом на фут, а ахтерштевнем на полтора фута в жидкий ил». Подошел баркас, но не смог сдвинуть фрегат с места. Тут на помощь баркасу пришли десять шлюпок, свой якорь «Феникс» бросил на баркас, и тогда, как пишет Даль, «оним на канате с мели стянулись и, сбросив на баркас все ядра, под парусами приблизились к рейду».

Узкие, как ущелья, улицы, старинные дома, церкви, которым уже пять веков, — вот чем пленил Ревель путешественников. Володя подробно записывает в свой дневник все, что рассказывали кадетам служители музеев и церквей.

В королевской церкви мальчикам показали тело герцога Карла Круа, «который при Петре Великом был в российской службе фельдмаршалом, потеряв же сражение против шведов при Нарве, передался им, задолжал им же по его состоянию неоплатную сумму и скончался наконец на 51-м году от роду, не заплатив долгу, за что его и не похоронили, но в сей церкви для получения от зрителей денег показывали. Теперь показывают только любопытствующим и осматривающим сню церковь. Он лежит уже 115 лет и засох совершенно, платье его почти совсем не сгнило. Отсюда поехали мы прямо на бриг».

Наконец последняя запись — сентября 16-го числа, в воскресенье: «Вчерашнего числа при ветре SW снялись с якоря и легли в бакшпиль на N. 20 часов шли мы различными курсами при довольно свежем ветре и сегодня поутру пришли на малый кронштадтский рейд. Мы съездили в церковь, где, поблагодарив всевышнего за благополучное окончание плавания нашего, возвратились на бриг. Завтра на пассажир-боте вернемся в наш корпус».

Так закапчивается это первое литературное произведение Владимира Даля: пятьдесят семь страниц плотной голубой бумаги, исписанные четким, убористым почерком. У первенца Даля есть несомненное достоинство: благородная простога стиля.

Начался четвертый год обучения в корпусе. Друг Володи Дмитрий Завалишин, человек необыкновенных способностей и воинственной честности, впоследствии привлеченный Рылеевым к участию в «Северном обществе», писал в своих воспоминаниях, что Даль уже в Морском корпусе слыл сочинителем. И не только из-за стихов. В те годы Владимир составил свой первый словарь. Тридцать четыре слова кадетского жаргона. Не выразились ли в этой шутке пристрастия будущего лексикографа?

Лучшие воспитанники, по существовавшей в корпусе традиции, задавали друг другу сочинения на самые различные темы. Среди них особенно выделялись работы Павла Новосильского, Степана Лихонина, Дмитрия Завалишина, Павла Нахимова и Владимира Даля. Уже в этих сочинениях Даль избегал чрезмерного и, кстати, весьма модного тогда употребления иностранных слов.

...Последняя кампания летом 1818 года прошла быстро.

Настала осень, началась подготовка к экзаменам, очень продолжительным и изматывающим. У Володи и Степана Лихонина задолго до выпуска только и разговоров было, что о родных да о доме. Они мечтали, «как повезут друг друга знакомить у себя в родительском доме, как будут там веселиться, хозяйничать в саду, ездить верхом в поле, удить рыбу, пить молоко, есть творог и масло, как примут их родители того и другого».

Как ни медленно тянулось в корпусе время, пять лет — не вечность. В феврале 1819 года были проведены выпускные испытания. Экзамены были трехступенчатые: вначале сдавали офицерскому составу корпуса под председательством помощника директора, потом — назначенным министром адмиралам, капитанам и кораблестроителям и, наконец, главной экзаменационной комиссии в присутствии министров, сановников двора и публики.

2 марта 1819 года в актовом зале был выстроен весь корпус. Черно-белые фигуры кадет, шитые золотом воротники гардемарин и сверкающие офицерские

погоны на плечах у восьмидесяти шести вновь испеченных мичманов — это было красочное зрелище.

После торжественного акта и присяги мичманы начали лихорадочно собираться домой. На прощание прошли по Певскому, обменялись адресами, заверив друг друга, что непременно напишут, как только приедут на место, сложили свой нехитрый скарб, получили дорожные и, трогательно попрощавшись с внезапно подобрешшими бывшими наставниками своими, навсегда покинули Морской корпус «ненавистной памяти», где они «замертво убили время», как написал Владимир Иванович полвека спустя.

«Год тянулось дело...»

Не море топт, а лужа.

(Даль. Пословицы
русского народа)

Бесконечная, как ямщицкая песня, дорога, серые валуны, слепящий снег, дикий, суровый, прекрасный своей первозданной красотой край. Тишина, безлюдье. Лишь изредка набегают убогие деревеньки, до самых окон заваленные снегом. В белесой голубизне тает прозрачный дым из труб, а потом снова десятки верст ни жилья, ни живой души. От этого раздолья, от быстрой езды легко и радостно на душе у мичмана Владимира Даля, хотя он весь закоченел от холода. Офицерский мундир, первые эполеты, сабля с темляком и полная свобода после пятилетнего пребывания в казарме — это что-нибудь да значит для юноши семнадцати с половиной лет.

Дюжий ямщик все поглядывал на седока — не замерз ли, и очень обрадовался, въехав на пригорок: справа, из-за дальнего леса наплывали тучи.

— Замолаживает, — ободрил он мичмана.

Даль взглянул на ямщика с удивлением.

— Как замолаживает? — переспросил он.

— Замолаживает, — повторил ямщик. — Вишь, пасмурнеет. Знать, к теплу.

Владимир достал из кармана тетрадь в коричневом переплете и закоченевшими пальцами записал:

«Замолаживает — в Новгородской губернии значит: небо пасмурнест, заволакивается тучами».

Лошади бежали дружно. Стремительно мелькали версты. Даль спрятал тетрадь. Он не придавал особенного значения этому разговору и даже забыл, где, возле какой станции это было. И только впоследствии стало ясно, что тогда произошло чрезвычайное событие: было записано, по свидетельству самого автора, первое слово знаменитого словаря живого великорусского языка.

Длинен путь... Владимир так торопился домой, что даже Москва его не задержала.

С каждой верстой ехать было труднее и труднее. «Дороги разъезжены — сущее подобие хлябей морских! Едешь, как поперек гряд, и бережешь зубы, лошадь в гору лезет, как из земли, а раскаты знай переваливают возище с боку на бок, ломая не только оглобли, но и кости бедной лошади». Тула, Харьков, Валки, Полтава, Кременчуг и наконец предпоследняя остановка — Александрия. Девять дней ехал, но десятые сутки — длиннее всех.

Наконец он дома. Шум, суета, все столпились в передней, все целуют его, обнимают. Сын наклонился к матери, затем попал в крепкие отцовские объятия, потом братья повисли у него на руках и уже не оставляли ни Володю, ни его саблю до самого обеда. «Радостен был прием, особенно первая встреча. Там, как будто наперекор всему свету, ничего не изменилось, по крайней мере по наружности: почтенный старичок со старушкой немного постарели, но были еще свежи и бодры», — записал Даль.

Этот период жизни в Николаеве запомнился Далю степным привольем. С утра он брал ружье — и на охоту. Бескрайняя украинская степь — стэп, как произносят это слово хохлы, — завораживала своим снокойствием, навевала легкое, мечтательное настроение.

...Степь, как море — без конца, без края, и нигде ни души. Вдруг пруд, по-местному ставок, белые мазанки, спрятавшиеся среди деревьев, и — песня, чистая, прекрасная. Только у жизнерадостного, поэтичного народа могут быть такие мелодии. Володя неслышными шагами идет на голос, ближе, ближе, но вот певунья

замечает его. Песня обрывается. Девушка, метнув на чужака грозный взгляд, уходит.

Долго еще восемнадцатилетний парубок вспомнил черные очи.

Но, как ни сильно было впечатление от этой нечаянной встречи, юноша все-таки запомнил слова песни и записал их на маленьком листке бумаги:

«Ты думаешь, дурню,
Шо я тэбэ люблю,
А я тэбэ, дурня,
Словамы голублю».

Неизвестно, когда, в какой день это случилось, числа на листочке нет, но он хранится в архиве Даля до сих пор.

Дома посмеивались над охотником — опять вернулся с пустыми руками. Лев, такой же высокий, белокурый и голубоглазый, как старший брат, однажды подложил в Володину охотничью сумку двух вырезанных из бумаги зайцев, намекнув тем самым на его «бумажную охоту». Володя не обиделся, он шутку умел оценить и радовался словам да песням, которых становилось так много, что «охотник» перестал записывать украинские слова, решив собирать только неизвестные ему русские.

Отпуск промчался быстро. Началась служба. Владимир Даль получил назначение на сорокачетырехпушечный фрегат «Флора». Это оказалась та самая «Флора», которая через тридцать пять лет на рассвете 11 сентября 1854 года была затоплена на фарватере Севастопольской гавани, чтобы преградить в нее доступ неприятельскому флоту. А в автобиографической повести Даля «Мичман Поцелуев» фрегат «Флора» назван «Россиянкой». «Россиянки» уже нет, — пишет автор, — но она умерла геройской смертью, умерла, как некогда мать Москва наша, наш Феникс, кинувшись в яркое пламя».

Когда не было качки, «Флора», гонимая легким, как говорят моряки, «брамсельным» ветром, скользила по волнам. Владимир любил заступать на вахту с полуночи до шести утра. Весь белый свет засыпал, и во всей вселенной оставался только он да его фрегат.

...Вот в неверном предутреннем свете наплывает дальний берег в роскошных кипарисах, с крутыми склонами, с еле видимыми плоскими татарскими домишками. Потом небо становится бирюзовым, и ты напряженно вглядываешься в яркую полоску над морем. Владимир любил тот торжественный миг, когда над морем поднимался край солнца. Ему каждый раз было жаль тех, кто спал и не видел всего этого великолепия.

Однако, едва начиналась качка, Даль выбывал из строя. Он так и не избавился от морской болезни: пока фрегат болтало по волнам, Владимир был болен. Едва ступал на берег — забывал о недуге.

Он по-прежнему подробно ведет дневниковые записи: «Июля восемнадцатого числа 1820 года. Еще черти на кулачки не бились, как мы были уже в Анкермане. Мы провели день очень весело, ходили много, почти до Черной деревни, но охота наша была не весьма удачна: пара голубей диких, пара горлинок да полдюжины скворцов, на зайца же у меня ружье осеклось. Местоположение прекрасно: все горы, скалы, леса, башни, пещеры, речки; взору беспрестанно представляется что-нибудь новое...»

У кавказских берегов «Флора» попала в десятибалльный шторм. Даль мысленно прощался с родными. Никто уже не надеялся на спасение: без мачт, без парусов фрегат каждую минуту могла опрокинуть очередная гигантская волна. Но внезапно ураган прекратился.

После всего пережитого Даль с полным основанием мог сказать, что он сошел с фрегата не таким, каким был до этого. Он ступил на берег «старым, опытным, бывалым лейтенантом, который приобрел себе уже имя, славу отличного моряка, приобрел вес и значение между товарищами, общее уважение между младшими, старшими и равными, как человек умный, сведущий, добрый и вполне благоразумный. Он научился уважать себя самого; а без этого, хоть и выйдешь в люди, а человеком быть нельзя».

Если же выдавался свободный час, Владимир писал. Но это случалось редко. Зато, вернувшись из похода, он уже почти не выходил из своей комнаты: началось увлечение драматургией. Одноактные комедии

«Невеста в мешке, или Билет в Казань», написанная в 1821 году, и «Медведь в маскараде», созданная в следующем году, отличаются великолепным диалогом и полным отсутствием напряженного действия. Но в этих комедиях уже сказалось умение Даля несколькими штрихами очертить образ и дать неповторимую речевую характеристику каждому герою.

1821 год был для Владимира печальным: 21 октября умер отец.

Доктора Ивана Матвеевича Даля хоронил весь город. Мать держалась изо всех сил. Только вернувшись в опустевший свой дом, бросилась на кровать и разрыдалась. Сыновья молча стояли рядом и ни на минуту не оставляли ее одну.

Володе было двадцать лет, он впервые столкнулся со смертью и все время думал о бренности всего земного, писал мрачные стихи, рвал их, снова писал. Ему всегда казалось, что отец с его огромными талантами оставит после себя рукописи книг, записи или хотя бы дневники. Каково же было его удивление, когда он не нашел ровным счетом ничего. Это было страшно: человек с таким умом, знаниями, с такой любовью к родине... а умер — и ничего не осталось...

Единственный друг, с которым в это время Владимир мог отвести душу, был Карл Кнорре, астроном Николаевской обсерватории. Володе очень нравилась эта профессия, он жаждал знаний, «душа требовала постоянных, полезных занятий — а между тем он носил ее с собою в караул, на знаменитую гауптвахту в молдаванском доме, иногда на переключку в казармы у вольного дока, и сам видел, что этой пищи для него было недостаточно».

Друзья засиживались допоздна в обсерватории, а потом долго гуляли по городу. Они любили ходить по бульвару вдоль Ингула или по главной улице. Теплыми летними вечерами здесь собиралось все местное общество. Знакомые и незнакомые барышни заглядывались на красавца мичмана.

— Вашему брату, моряку, и старость нипочем, — сказал однажды Карл. — Грейг — ходячие мощи, а туда же, завел красотку.

— Так это правда? — удивился Володя. — Наш Алексей Самуилович?

— Он самый. Командующий Черноморским флотом, николаевский и севастопольский военный губернатор Алексей Самуилович Грейг.

— Оно, конечно, это его личное дело, да зачем же тогда разыгрывать из себя такого святошу? — возмутился Даль.

— Да. Домик ей купил на главной улице.

В этот вечер они больше не говорили об адмирале, а наутро Владимир принес Карлу сатирическое послание Грейгу. Карл расхохотался.

— Здорово, брат! Дай-ка я перепишу.

Через три дня стихотворение повторял весь город. Встречаясь на улице, люди спрашивали друг друга: «Слыхали?»

Дошли стихи и до Грейга. Адмирал рассвирепел, его чуть не хватил удар. Он приказал немедленно выяснить имя автора.

Кому же писать стихи, как не «сочинителю»? К Далю пришли с обыском, но ничего не нашли. Мать, провожая полицмейстера, который перерыл у нее весь дом, чтобы унижить его, ткнула ногой в ящик комода, где лежала старая обувь, и сказала:

— Тут еще не искали.

— Что ж, поищем, — ответил полицмейстер.

И можно себе представить ужас бедной женщины, когда он вытащил из ящика случайно завалившийся туда черновик злополучной эпиграммы, написанный рукой ее сына.

В сентябре 1823 года по приказанию Грейга Даля арестовали. Адмирал Грейг предал Даля военному суду. Год тянулось дело Владимира Ивановича. Его замучили бесконечными допросами, а затем разжаловали в матросы «за сочинение пасквилей».

Дело принимало скверный оборот. Даль подал апелляцию. В «Деле мичмана Даля» обвинения, выдвинутые против «сочинителя», были столь абсурдны и так нелепо выглядел старый адмирал, ополчившийся на молодого мичмана, что петербургское начальство отменило решение николаевского военного суда. 12 апреля 1824 года Даль был оправдан и выпущен на свободу. А летом перевелся в Кронштадт. И хотя дело свое знал и служил неплохо, вскоре вынужден был с морской службой расстаться. У Грейга в Кронштадте

было немало влиятельных друзей, которые сделали пребывание Даля во флоте невозможным.

Положение молодого мичмана осложнилось еще тем, что он не был помещиком и не мог в трудную минуту уехать в деревню. Ему надо было зарабатывать себе на жизнь. Вначале Даль был настроен оптимистически и не сомневался, что быстро устроится. Однако время шло, а у него ничего не получалось. Попытался перейти в инженерное ведомство — инженерные науки всегда его интересовали, но, сколько ни ходил, добиться ничего не мог. Сунулся было в Артиллерийское управление — он готов был даже стать армейским офицером, положение у него сложилось безвыходное, — но везде волокита, туманные, ничего не значащие обещания... «Удивительные люди чиновники, — думал Владимир Иванович. — Ну ладно бы отказали, все было бы ясно. Так нет ведь. Вымотают всю душу: «Надо подождать, зайдите через недельку, дело ваше сложное, в нем только начальник департамента может разобраться».

Даль понял, что самому, своими силами невозможно пробиться. Во всяком деле требовалась протекция, все делалось по принципу: сегодня я оказываю услугу вам, а завтра вы — мне. Молодой человек, шесть лет назад блестяще окончивший Морской корпус, знающий русский, немецкий, французский, английский и польский языки, воспитанный, талантливый. в расцвете сил, стремящийся не к «служению», а к полезной деятельности, устроиться в Петербурге не мог. «Высоки пороги на мои ноги», — заключил Даль.

Пишущему человеку легче, чем другим: он может излить душу на бумаге. Владимир начал сочинять роман в письмах.

Он так никогда и не был опубликован. Его художественные достоинства не велики, но ценность этого произведения несомненна.

Место действия романа — Санкт-Петербург. Время — 1825 год. Честные люди мучительно ищут выхода и... не всегда находят его. В самом характере русского человека заложена отзывчивость, он не может спокойно взирать на несчастья окружающих. А как же им помочь, когда нет ни свободы, ни гласности. Даль как-то услышал пословицу: «Без правды житье — вставши,

да за вытье»; она не нуждается в комментариях. Даль пишет о том, что в ту пору волновало всех: «На днях где-то здесь вблизи молодой человек застрелился, оставив престарелой матери своей коротенькое письмо во трех словах: я не могу больше жить».

Автор с последовательностью ученого разбирает причины отсталости России. О каком прогрессе может идти речь, утверждает он, если в стране начисто отсутствует интеллигенция. «Здесь или солдат, или коллежский регистратор, или мужик — ибо большую часть мелкопомещиков наших можно без большого греха причислить к сим последним, — кому же у нас быть ученым? От мужика и солдата и требовать сего нельзя, а ведь основная половина гонится за 11-м классом, а оттуда норовит как бы попасть в 8-й — вот тебе и дворянин!» — заключает молодой исследователь.

Подобные критические взгляды были очень характерны для мыслящих людей того времени: назревал бунт, какого еще не знала династия Романовых. Атмосфера накалялась. Дмитрий Завалишин, еще год назад вступивший в «Северное тайное общество», уехал по делам Общества в провинцию. Нахимов готовился к кругосветному плаванию. Даль собирался в Дерптский университет. 1825 год был на исходе.

Александр Сергеевич Пушкин наводнил страну стихами, которые накаляли политические страсти. Дерзкого поэта можно было под предлогом служебной командировки сослать в Кишинев, Одессу или упрятать на долгие месяцы в псковскую деревню, но со стихами его ничего нельзя было сделать: они разлетались по всей империи, они были злободневны и непримиримы.

19 ноября 1825 года умер Александр I.

«Всю жизнь провел в дороге
И умер в Таганроге», —

отозвался на кончину императора Пушкин.

Много лет спустя Даль напишет в одном из своих рассказов: «Согласитесь, пора была замечательная во многих отношениях. Сколько проснулось тут юных сил! Сколько воспрянуло истинно родных чувств, горячих, благородных... И где же все это? Все опошло, все замерло в самом зачатии».

О разгроме восстания 14 декабря на кораблях узнали сразу. Начались аресты. По делу тайных обществ, подготовлявших государственный переворот, было привлечено пятьсот семьдесят девять человек. Друг Володи Дмитрий Завалишин шел в уголовном процессе двадцать шестым, как особо опасного преступника его присудили к повешению, но накануне казни смерть заменили пожизненной каторгой.

Даль и Завалишин вновь встретились через несколько десятилетий, когда оба уже были стариками. И тогда Дмитрий Иринархович рассказал старому другу о событиях, происходивших в ночь на 11 июля 1826 года. Моряков-декабристов вывели из Петропавловской крепости, посадили на корабль и повезли в Кронштадт. Флот под командованием адмирала Крона стоял на большом рейде. Когда их везли, матросы на иностранных судах взобрались на мачты, чтобы взглянуть на арестованных.

Декабристов выстроили на палубе адмиральского корабля. Началось чтение приговора. Тишина стояла такая, что слышно было тяжелое, отрывистое дыхание старика адмирала. Наконец он не выдержал и зарыдал. Плакали офицеры. Матросы не в силах были держать ружья на караул и утирали кулаком слезы.

Приговор требовал, чтобы мундиры осужденных были утоплены в морской пучине, но матросы взяли их себе на память, и никто этому не препятствовал.

В этот час на адмиральском корабле одни только осужденные сохраняли спокойствие, никто из них не проронил ни слезы, кроме молоденького мичмана Бориса Бодиско, лишенного чести разделить участь своих товарищей — каторгу и ссылку, ибо его приговорили к разжалованию в матросы.

Дерпт

От души желаю молодому поколению всего лучшего — правды и свободы.

(И. И. Пирогов)

20 января 1826 года Владимир Даль поступил в императорский Дерптский университет. Его мать тоже рассчитывала поселиться в Дерпте, чтобы дать обра-

зование своему младшему сыну, Павлу, болезненному и хилму юноше. Для этого надо было распродать небольшое имущество, оставшееся после мужа, и тут вдове Иоганна Далья ожидало большое разочарование. В Николаеве начались волнения, вызванные слухами о предстоящем выселении евреев. Дело доходило до открытого выражения недовольства властями, и вдове хотелось поскорее уехать из этого города. Цены на дома упали, на мебель — тоже. Мария Далья спешила, и она оказалась права: впоследствии беспорядки достигли таких размеров, что правительство вынуждено было дать указание «производить это дело без потрясения». Однако все, что было связано с именем адмирала Грейга, так или иначе приводило к «появлениям».

После отъезда из Николаева Мария Далья и ее младший сын никогда не возвращались в эти края, хотя здесь остался Карл, тот самый Карл, которого отец отдал в Морской корпус вместе с Владимиром. Карл Далья проучился в корпусе на год больше Володи, был, как и старший брат, выпущен в Черноморский флот и до конца жизни оставался моряком; он жил и умер в Николаеве. Братья постоянно переписывались. Карл иногда гостил у Владимира, но они не были особенно дружны, из всей своей родни Владимир любил больше всего Льва, убитого в 1831 году.

Мы не располагаем авторитетными сведениями о дальнейшей судьбе Павла Ивановича, известно только, что Павел Далья умер в ранней молодости от чахотки и похоронен в Риме, куда ездил лечиться. Можно предположить, что возила его туда мать. Тогда становится ясно, почему Владимир Иванович был на первых курсах так плохо устроен в Дерпте. Одно время ему даже пришлось поселиться в доме своего учителя. Вряд ли ему пришлось бы это делать, если бы в Дерпте в это время жила Мария Христофоровна.

Вначале Владимиру было очень трудно учиться: он страшно нуждался. По через два года, когда один из казенных воспитанников оставил университет, он был зачислен в «казеннокоштные» студенты. Тем самым Далья лишился права свободного выбора места службы по окончании образования, но другого выхода не было: он был беден.

Студенческие годы навсегда остались для Даля лучшей порой его жизни. Он наконец узнал, что такое свобода. В эти годы Владимир подружился с Николаем Ивановичем Пироговым. Талантливый русский хирург, окончив медицинский факультет Московского университета, был направлен в Дерпт для усовершенствования в науках. Сохранились воспоминания Пирогова о его знакомстве с Далем. Вот как это произошло.

Николай сидел у раскрытого окна, разложив перед собой книги. У двери звякнул колокольчик, послышались торопливые шаги хозяйки, вдовы Ребер, и через минуту на пороге появился сияющий, завитой и самодовольный Федор Иноземцев.

— Пирогов, полно тебе корпеть над твоими атласами, ну кто в такую погоду занимается?

Он был так заразительно весел, что Николай, хотя вначале и поморщился, услышав звонок своего товарища по комнате, оглянувшись на Федора, встал из-за стола:

— Твоя правда. Перерыв в работе нужен.

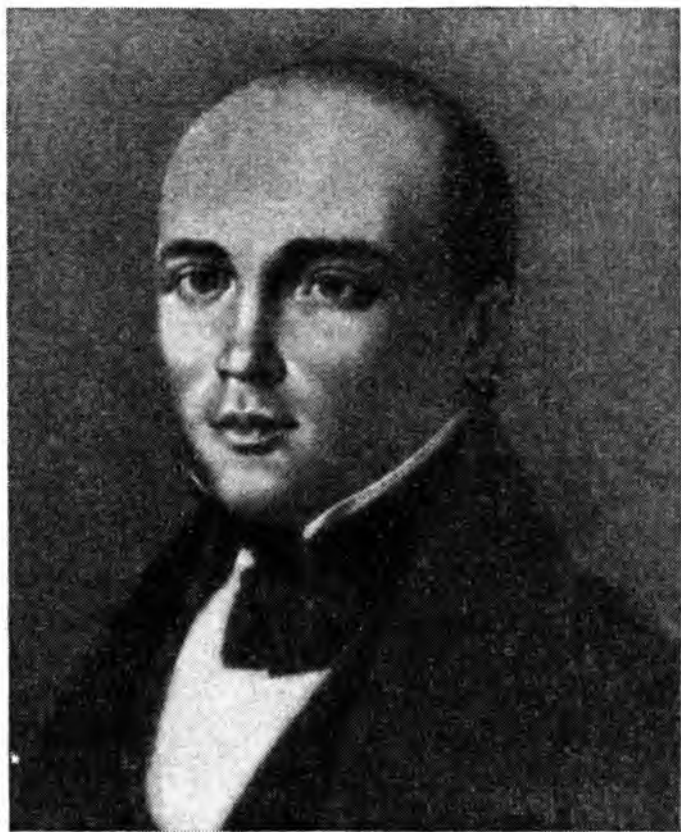
— Он настолько необходим,— улыбнулся Федор,— что у многих на перерывы уходит больше времени, чем на саму работу.

Вдруг в окно с улицы просунулась чья-то голова. У незнакомца были большие голубые глаза и вьющиеся светлые волосы. Одет он был в форменный студенческий сюртук. Пи слова не говоря, студент поднес ко рту органчик и заиграл: «Здравствуй, милая, хорошая моя». Песня была совершенно необычная для здешних мест, и исполнил он ее превосходно.

Пирогов и Иноземцев пригласили музыканта к себе.

— Честь имею представиться, студент-медик Владимир Даль,— отрекомендовался гость.

Вначале Даль очень не понравился Николаю. «Экая жердь!» — подумал Пирогов, угрюмо, исподлобья разглядывая своего нового знакомого. Николая раздражала его добродушная насмешливость, и первое время он сторонился Владимира. Но они оба были учениками профессора Мойера и в анатомическом театре то и дело работали бок о бок, причем, если другие студенты-медицины никогда не задерживались



Н. И. Пирогов.

сверх положенного времени, эти двое часто заснивались допоздна. Совместные занятия сблизили и сдружили их. Причем Даль, человек в высшей степени общительный, со многими был в приятельских отношениях, а нелюдимый и недоверчивый Пирогов выбрал себе одного друга на всю жизнь. Не будь Даля, мы бы, возможно, и не узнали, на какую дружбу он способен.

Занимались приятели много. Никто лучше Даля не решал задач по физике, а физику читал профессор

Паррот. Студенты любили лекции Паррота. Он до того увлекался, что от чрезмерного возбуждения иной раз оказывался в комической ситуации.

...Начинается опыт. Аудитория не спускает с Паррота глаз. Он достает часы, торжественно поднимает руку:

— Господа, минуточку внимания! Смотрите сюда. Сейчас из этой трубочки ударит вода. Внимание, господа!

Все ждут. Тишина такая, что слышен каждый шорох. Профессор начинает нервничать.

— Сейчас, сейчас, господа. Прошу вас, следите внимательно. Да что это такое в самом деле?! Христиан, почему не идет вода?

— Вы забыли ее налить, ваше благородие,— спокойно отвечает служитель.

Даль и сам не знал: физику он больше любил или медицину. Ему дважды присуждали серебряные медали «за написанные решения задач» по физике: первый раз — 12 декабря 1827 года, второй — ровно два года спустя. Но нельзя забывать, что медицина имела для Владимира особый смысл: сын врача, он с детства понимал ее благородные цели.

Далю повезло: он стал учеником профессора хирургии Иоганна Христиана Мойера. Споры нет, Пирогов затмил Мойера. Есть основания полагать, что Даль как хирург тоже превзошел своего учителя. Но все-таки они многим обязаны Мойеру, хотя Пирогов писал, что это они расшевелили «талантливую ленивца». В его «Посмертных записках» сказано буквально следующее: «По-видимому, появление на сцену нескольких молодых людей, ревностно занимавшихся хирургией и анатомией, к числу которых принадлежали кроме меня Иноземцев, Даль, Лингардт, несколько оживили научный интерес Мойера. Он, к удивлению знавших его прежде, дошел в своем интересе до того, что занимался вместе с нами по целым часам препарированием над трупами в анатомическом театре».

В этих же «Записках» Пирогов то и дело вспоминает и Даля: «Это был замечательный человек. За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить. Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея ме-

жду многими способностями необыкновенною ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором».

Даль учился на врача на год меньше, чем полагалось, но получил отличную подготовку. В Дерпте бывали и такие, которые числились в университете в два раза дольше Владимира, а курса так и не кончили. Даль был одним из лучших студентов, занимался он очень много. Например, он положил за правило ежедневно, будь то праздник или напряженный день в клинике, запоминать двадцать латинских слов. Четыре дня — запоминание, пятый — повторение. И очень скоро стал неплохим латинистом. Даль узнавал у профессоров, какие книги они считали лучшими по своему предмету, и отправлялся к толстому библиотекарю Карлу Петерсону. Это был лодырь, каких не видел белый свет. Встать и взять с полки книгу для него уже работа. Чтобы избежать ее, Карл начинал убеждать студента не тратить зря времени на чтение «плохих», по его мнению, книг. Многие уходили, но Даль был неумолим. Увидев его, толстяк кряхтя вставал и лез на трехступенчатую лестницу.

Впоследствии Даль писал, как много работали в Дерпте студенты. Они проводили время «в трудах, во всегдашней борьбе, в стремлении и рвении к познаниям, которые тогда еще являлись пылкому воображению чем-то целым, стройным и полным, чем-то святым и возвышенным. Нас не секли, не привязывали к ножке стола... Это не школа, здесь нет розог, нет неволи, а каждый сам располагает собою и временем своим как ему лучше, удобнее, наконец, как хочется».

По всей вероятности, этой относительной свободой объясняется слабый интерес дерптских студентов к политическим событиям. Друг Даля и Пирогова Николай Языков сказал о Дерпте тех лет:

«Здесь мы творим свою судьбу,
Здесь гений жаться не обязан
И Христа ради не привязан
К самодержавному столбу».

О том же говорит Владимир Даль. Будь они в Петербурге или в Москве, тогда другое дело. А дерптская свобода уводила молодежь в сторону от величайших

политических событий века. Оно и понятно: там, где студентов притесняли, зрело недовольство, и они объединялись, а там, где была свобода, они учились.

И, конечно, первое, что вспоминал Даль о своих студенческих годах, это неоценимое благо — возможность учиться. Могут ли это в полной мере ощутить те, кому отцовское богатство предоставило средства поступить на свой счет в любой университет, сказать трудно. Но человеку, у которого стремление к знаниям было, а денег — ни гроша, университет представлялся раем.

Дерпт был необычным городом. Почти в каждой семье — студент, если не сын или родственник, то квартирант: весь город жил интересами студентов. Вот на углу узеньких средневековых улочек встретились две почтенные женщины, и сразу же возник разговор о последних университетских новостях.

— Слыхали, профессор Перевошиков объявлен студентами отверженным.

— Да что вы! За что?

— Студент его не заметил и заговорил с товарищем, повернувшись к профессору спиной. Перевошиков на него и налетел: кричит, топает ногами, будто это ему Петербург. Вот они теперь не здороваются с ним, и ни один человек не ходит на его лекции.

Похвалив лекции одного профессора, поругав другого, знакомые расходятся: это будни Дерпта.

Одно время Даль жил у профессора Иоганна Мойера. Его дом был одним из лучших в Дерпте. Здесь Владимир познакомился со знаменитым Жуковским.

В конце 20-х годов Василий Андреевич уже не был первым поэтом России. Он выглядел значительно старше своих сорока пяти лет, держался просто и чрезвычайно скромно. Далю это особенно пришлось по душе.

В ту пору в Дерпте много было разговоров о трагической любви поэта к Маше Протасовой. Василий Андреевич полюбил Машеньку, когда он был еще беден и безвестен. Жуковский просил ее руки. Мать Маши, Екатерина Афанасьевна Протасова, отказала ему самым решительным образом. Молодые люди любили друг друга, а мать и слышать не хотела о же-



Н. М. Языков.

нитьбе, объясняя свой отказ «греховным» родством (Жуковский был незаконнорожденным сыном помещика Афанасия Ивановича Бунина, отца Екатерины Афанасьевны). Время шло. Поэт стал богат и знаменит. Но он был глубоко несчастным человеком: любил без памяти Машеньку, она тоже только о нем и думала, и оба страдали. Горе влюбленных усугублялось тем, что родство, их связывающее, было действительно близкое, и мысли о грехе терзали Машу Протасову даже после того, как Жуковский добился разрешения на брак у митрополита Филарета. Однако

Екатерина Афанасьевна согласия не дала; она хотела выдать дочь за профессора Мойера. Маша сочла нужным сообщить Мойеру, что она всю жизнь любила другого. Мойер и Жуковский встретились и, движимые желанием облегчить участь Маши, которую тиранили в родной семье, пришли к мысли, что Мойер должен просить ее руки. Маша стала его женой, но вскоре она умерла, оставив маленькую дочь.

В доме Мойера Даль очень скоро сделался всеобщим любимцем. Особенно привязалась к нему восьмилетняя дочь Мойера Катя, которой он рассказывал сказки. Затем его слушательницей стала Катина бабушка, после чего Володя выступил и перед гостями: его сказки имели успех. Именно в доме Мойера впервые проявились его способности рассказчика. Он был наделен даром перевоплощения: подражал голосу, походке, манерам того или иного человека так мастерски, что знакомые сразу узнавали, кого он изображает. Особенно ему удавался «дамский угодник» Федор Иноземцев.

Растворяется дверь, и появляется вытянутая, как у балетного танцора, нога. Осторожно ступая и поминутно строя глазки, Даль — Иноземцев входит в гостиную. Вот он улыбается знакомым дамам, вот подсаживается к «красотке». Вообще-то Николай Пирогов меньше всего похож на провинциальную барышню, но Даль великолепно изображает мужшину-кокотку, и у зрителей создается полное впечатление, что он обращается к даме. Пирогов, сдерживая смех, наклоняет голову, а Даль — Иноземцев бросает нескромные взгляды за корсаж своей «собеседницы». Он очаровывает, обольщает, он того и гляди преклонит колени перед «гордой красавицей». Однако «прекрасная» неумолима. Нетерпеливым движением обуреваемый страстью поклонник достает дорогие часы на золотой цепочке. Что?! Потеряно столько времени, и все зря? Его чело мрачнеет. Он вскидывает голову и — преображается. Там, в другом конце зала, есть еще одна прекрасная особа, и он со всех ног бросается к незнакомке.

Зрители покатываются со смеху, а актер-импровизатор смущенно улыбается, и эта улыбка делает его самим собой: перед ними уже не Иноземцев, а Даль.



В. А. Жуковский.

Студенческий город — веселый город. В праздники Дерпт лихорадило от буйных выходок студентов.

...В самом центре Дерпта — строгое белое трехэтажное здание с колоннами. Это главный корпус университета. Он ярко освещен: по случаю праздника университет предоставил горожанам огромный актовый зал. Здесь маскарад. Вход только в костюмах. Гремит оркестр, пары вальсируют по местной моде — вирипрыжку. Вид у обывателей уморительно-важный, все чинно и благородно. Но чего только не придумают

бесшабашные студенческие головы! Вот к скромной компании пастушек с букетиками незабудок подходит юноша в костюме «домино». Вдруг он сбрасывает свое одеяние и предстает перед ними в виде обнаженной античной статуи. Дамы с визгом бросаются врассыпную, а распорядители гоняются по всему залу за новоявленным Адамом. На проказнике маска, и с помощью своих дружков ему удается скрыться. В другой раз, едва заиграли мазурку, в дверях показался «скелет» с горящими угольями в глазницах. Потом на званом обеде, где студенты помогали официантам, к столу подали живую рыбу, да еще такую сильную, что она соскочила с блюда и попала на колени разодетой барышне, которая начала кричать нечеловеческим голосом.

Фантазия студентов была неисчерпаема: по ночам они иногда меняли вывески сапожника и портного или перетаскивали к бедному дому солидное крыльцо с резьбой, а ветхое крылечко ставили у нового здания.

По воскресеньям студенты, как правило, отправлялись на прогулки. Они неплохо знали окрестности, любили подниматься на Домскую гору, к поэтическим развалинам древнего собора. Их очень интересовали древние храмы Дерпта.

Город был заложен в 1030 году новгородским князем Ярославом и назван Юрьев (христианское имя Ярослава — Юрий). Немцы, захватившие русский город Юрьев, переименовали его в Дерпт. Что им было до истории, история никогда не интересует варваров и ничему не может их научить, на то они и варвары. Надо сказать, что Даль предпочитал говорить не Дерпт, а Юрьев. Возможно, ему было неизвестно, что еще до прихода русских эсты называли эту местность Тарту.

Студенты любили Юрьев-городок. И Дерпт любил студентов, потому что, хотя они временами готовы были все перевернуть вверх дном, это были истинные патриоты приютившего их средневекового города. Они жили его интересами и всегда были готовы их защитить, как это случилось, например, в нашумевшей расправе над Булгариним.

Не было в Дерпте более ненавистного человека, чем третьеразрядный писака, издатель газеты «Север-

ная нчела» Фаддей Булгарин, владелец роскошной виллы «Карлово» в окрестностях Дерпта. Булгарина ненавидела вся прогрессивная Россия. Ходили слухи — впоследствии это подтвердилось документами архива жандармского управления, — что основным источником доходов Фаддея были доносы в полицию. Видок Фиглярин — как окрестил Булгарина Пушкин — часто бывал в Дерпте. Тайный агент во всем оставался верен себе. Приехав в город, он среди белого дня навевался в купеческие лавки и под угрозой «пропечатать» купчишку в своей газете вымогал товары за полцены.

Студенты давно искали случая высказать Фаддею Булгарину свое презрение. Однажды один из них присутствовал на обеде у дерптского помещика Липгардта, где издатель высокомерно и презрительно отозвался о Дерптском университете и его профессорах. Этого было достаточно, чтобы прочить негодяя. Шестьсот юношей, вооруженных сковородками, кастрюльками, тазами и трубами, направились к вилле Булгарина. Когда к дому тайного агента подошли последние студенты, толпа заполнила всю лужайку. Они трижды прокричали: «Pereat calumniator!» («Да погибнет клеветник!»). На пороге показался слуга. Вид у него был испуганный. Срывающимся голосом он спросил, что случилось. Раздались крики: «Хозяина!» На балкон вышел Фаддей Булгарин в халате. «Оденьтесь!» — потребовала толпа. Через несколько минут Булгарин появился во фраке. Поднял трясущуюся руку, прося слова.

— Что вам угодно, господа? — спросил тайный агент.

Студенты напомнили ему, о чем он говорил на обеде у Липгардта.

— Н-но я не имел намерения унижить достоинство уважаемого мной университета и студенчества. Вероятно, там подали слишком крепкое вино...

— Да погибнет клеветник! — крикнул кто-то из толпы.

— Погибнет! Погибнет! Погибнет! — прокричали шестьсот мощных глоток.

Начался «кошачий концерт»: загремели кастрюли, тазы и сковородки, раздалось немыслимое завывание

какой-то трубы и дикое мяукание. Внезапно все смолкло. В торжественной тишине студенты построились. Побросав «музыкальные инструменты» у особняка нуды, продавшегося за сребреники, победители, в скромных студенческих сюртуках, вернулись в Дерпт. «А помните ли, друзья, как счастливы мы были в этих фризовых сюртуках? Как мы смело и бодро входили во всякое общество, надев к тому же изношенному сюртуку чищенные сапоги и белый воротничок да пропустив грабли рук своих раза два взад и вперед по волосам? И помните ли, что нас всюду в этом виде принимали и никогда и нигде не ставили и не сажали ниже тех, которых судьба и портной ссудили голубым фраком со светлыми пуговками и чесаным вихром в полторы пяди с припядками?» — вспоминает счастливые студенческие годы Даль.

Для него они кончились раньше срока: Владимир прошел университетский курс в четыре года и ушел на войну. 18 марта 1829 года он был экзаменован на докторское достоинство и возведен в звание лекаря.

Ему и трем его товарищам, отъезжающим на театр военных действий, были устроены замечательные проводы. На центральной площади города, Маркт-плац, собралась толпа студентов. Запылал костер, от него зажгли факелы, зазвенела тихая и грустная прощальная песня. Это была чудесная песня о дружбе. Даль долго помнил ее слова:

«В последний раз
Приволье жизни братской,
Друзья мои, вкушаю среди вас!
Сей говор наш, разлив души бурсацкой,
Сей крик и шум, свободный дружбы глас —
Приветствуют меня в последний раз!»

Николай Пирогов и Николай Языков взяли под руки Даля, следом Зейдлиц со своими друзьями и еще два молодых лекаря. Прощальное шествие медленно двигалось по прямым улочкам Дерпта. Впереди шли студенты с факелами, и изо всех окон выглядывали горожане, чтобы посмотреть на тех, кто уходит на войну.

Дошли до заставы. Студенты со слезами на глазах обнимали Даля, целовали его, желали счастья. Это

искреннее прощание осталось в его памяти на всю жизнь. Пирогов, Языков, Иноземцев, Липгардт сели рядом с отъезжающими, чтобы проводить их до первой станции.

Армейский лекарь

«Кончив или почти кончив курс врачебных наук в укромном и заветном приюте — в Юрьеве-городке, сел я и поскакал в поход на чуму, как там поговаривали», — пишет Даль.

В пути он провел долгих два месяца. Миновали пограничные псковские земли, потом Белоруссию. Повсюду одна и та же мрачная картина: крестьяне — «мастера земляной работы, на которую выгоняют их добрые помещики, между тем как хозяйство мужика в это время гибнет». Под Шкловом Даль пересел в лодку и продолжал путь по широкому Днепру: двигался «прямым и спорым путем через Днепр, через Прут, через Дунай — и бог весть куда дальше, куда полетит двуглавый орел». Затем пошли противочумные карантинные пункты, в каждый город въезжали «очищенные сквозь огонь и воду».

Наконец 21 мая 1829 года Даль прибыл в действующую армию. Чиновник не принял его подорожной, велел ее сначала «окурить», потому что «чума шла по пятам нашей армии», и послал лекаря на главную квартиру. Владимир Иванович в изумлении записывает: «Целый город красивых шатров и палаток, рядами, улицами, кварталами, огромный базар, гостиница, сапожники, портные и даже часовщики; пушечная пальба день и ночь раздается за горою, а всякий занят своим делом, не оглянется, не прислушается, хоть земля расступись. Всюду мирные занятия, гостинные разговоры, как будто майдан военных действий в тысяче верст; а о войне ни слова! О, привычка!»

Даль осмотрел крепость Силистрию. Черепичные крыши, пирамидальные тополя, два минарета. Осажденную турецкую крепость обстреливали со всех сторон, и каждое ядро, попадавшее в город, поднимало

облако пыли, которое медленно таяло в раскаленном бронзовом воздухе. В битве под Кулевчами турки были разбиты, Силистрия пала, тысячи две раненых осталось на поле боя. Лекарь Владимир Даль склонялся то над одним солдатом, то над другим. Он тут же на месте «резал, перевязывал, вынимал пули».

Вскоре после прибытия Даля в действующую армию русская армия двинулась в наступление. С вершин Балканского хребта открылась благословенная страна: справа — цветущие долины, розовые рощи и красивые селения, а слева — голубое море, колышущее белокрылый русский флот. После Кулевчинского боя турки уже не могли собраться с силами. А русские, наоборот, воспрянули духом. Даль не поверил глазам своим, когда под Сливно увидел казака, взявшего в плен двенадцать турок. Он оставил их в седлах, но скрутил им руки, а каждую лошадь крепко привязал поводком к хвосту впереди идущей. Сам же обвешался саблями, ружьями, пистолетами и ятаганами своих пленников. Этот невысказанный караван привлек внимание штабных офицеров, из которых один чуть не свалился с седла от хохота.

Русские подошли к Сливно. Через два часа город был взят. У Даля дух захватило, когда он увидел лихо мчавшихся казаков. Он, конечно, помчался за ними. Отряд ворвался прямо в неприятельский стан, и перепуганные насмерть турки пустились удирать. За ними, как смерч, пронеслись казаки. Потом наступила странная тишина. Даль разъезжал по безлюдному городу, и ему стало как-то не по себе. Затем подошла русская пехота и сразу же начала тушить пожар. Убедившись, что солдаты дома не грабят, болгары начали выходить из укрытий. Они увидели приветливые лица, слышали полногласную славянскую речь, и их обуяла, как свидетельствует Даль, необузданная радость. «Обоюдная дружба жителей и победителей утвердилась с первой встречи, и первые объявили, что если русские не оставят завоеванных мест за собою, то слияние с женами, детьми и скарбом своим последуют за ними и сожгут при выступлении дома свои».

Наступила короткая передышка. Раненых не было, потому что не было боя. Даль, как всегда, когда вы-



В. И. Даль (20-е годы XIX века).

давался «мирный» вечерок, подсаживался к солдатскому костру. Надо считать солдата таким же человеком, как ты сам, чтобы тебе было с ним хорошо и уютно, чтобы вот так, часами, слушать историю его жизни. Порой лекарь доставал тетрадь, что-то записывал, переспрашивал поговорку или слово, а то и сам рассказывал бывальщину. Тогда у костра собиралось много служивого люда, и тишина стояла такая, что

шенот и тот был слышен. Однажды Даль от имени «старого, обстрелянного суворовского солдата» спросил рядовых:

«За что у нас столько солдат пропадает, под суд идет и под разные наказания? Не знаете? Так я вам скажу, как в старину говорили: «Купи вина, коли хочешь куить горе на свои деньги».

И тогда его слушатели стали вспоминать, кто что знал о «зеленом змие». Даль никогда не расставался с тетрадью в переплете, он и тут ее достал. Владимир Иванович писал все подряд: «Сапожник настукался, портной настегался, музыкант наканифолился, немец насвистался, лакей нализался, барин налимонился, солдат употребил»; «За дело — не мы, за работу — не мы, а поесть, поплясать — против нас не сыскать»; «Выпьем? — Выпьем. А деньги где? — А шапка-то у тебя на что?»; «Кто винцо любит, тот сам себя губит»; «Хорошо ремесло, да хмелем заросло».

Солдаты полюбили лекаря. Узнав его страсть записывать слова и пословицы, то сказочника ему приводили, то песенника. Были среди них и сибиряки, и костромичи, и волжане, и новгородцы — жигели всей земли Русской. Скоро Даль научился отличать поговору выходцев из разных губерний. Собранные записи незнакомых, впервые им услышанных слов разговорного языка занимали уже большой тюк, который приходилось возить на верблюде.

Необычен был отход наших войск из Сливно. Сливяне сдержали слово: собрали пожитки, усадили детей на огромные арбы и, получив разрешение, выступили следом за русской армией и поселились потом в небольшом бессарабском селе.

Не удивительно, что в сумятице этого перехода верблюд, везший бесценный груз — тетради лексикографа, пропал. Весть о пропаже разнеслась по всему полку: врача ведь знают все — кто на перевязке у него был, кто раненый или в лихорадке лежал. Солдаты — народ отзывчивый, охотников отыскать бумаги нашлось немало. Через одиннадцать дней казаки отбили у турок верблюда. Лица у них были такие сияющие, когда они подошли к палатке Даля, что Владимир Иванович понял: для них это тоже радость. Следом за извещением об утрате своих бумаг Даль написал в

Дерпт радостное письмо, которое начиналось словами: «Дорогой друг! Верблюды нашлись».

Владимир, как обещал, регулярно посылал с театра военных действий подробные письма своему другу Николаю Пирогову. Николай Иванович говорил, что о последних событиях он узнавал сначала из Володиных писем, а потом уже из газет.

Периодические издания не баловали русскую публику свежими новостями: для напечатания особо важных сообщений требовалось чуть ли не высочайшее повеление.

Многое, что было рассказано в письмах родным и друзьям, вошло впоследствии в произведения Даля. Тут и красавица хохлушка, которая все тоскует о родном селе на Херсонщине («Беглянка»), и сцена после боя, написанная с потрясающей силой. К пленному турку с рассеченной скулой подходит добродушный русский паренек, придерживающий раненую руку здоровой, и с виноватой улыбкой говорит: «Ты на меня не сердись, что я тебя так. Война, брат...» А турок в ответ кивает, улыбается, ласково глядя на красное от загара лицо северянина («Милосердный воин»).

От внимания Даля не ускользнула особенность этой войны: болгары все, как один, видели в русских друзей и избавителей. Надо ли говорить, какое настроение было у солдат?

Велики были победы русских. Наши войска взяли турецкие крепости Анапу, Сухум-кале, Потю. В 1829 году пал Бургас, в августе того же года — Адрианополь. Со дня на день ждали сообщения о взятии Константинополя, до него оставалось несколько верст, как вдруг под нажимом Англии и Франции, боявшихся укрепления России на Балканах, был заключен мир.

Россия получила устье реки Дуная и восточное побережье Черного моря от Кубани до порта Святого Николая, южнее Поти. Кроме того, русским судам было разрешено плавание через Босфор и Дарданеллы.

Пока решались дипломатические вопросы, армия залечивала раны. «Мы были при самом окончании турецкой войны и во время довольно продолжительных переговоров о мире в Адрианополе. Огромная ка-

зарма, выстроенная за городом четырехугольником, о двух ярусах, с широкими навесами кругом на двор, занята была под госпиталь. Здание было так велико, что в нем помещалось под конец десять тысяч больных. Но как они помещались и в каком положении находились — это другой вопрос. Несколько сот палат, с кирпичными полами, без кроватей, разумеется, и без нар, и притом с красивыми деревянными решетками вместо стеклянных окон... Сперва принялась душить нас перемежающая лихорадка; не дождавшись еще и чумы, половина врачей вымерла, фельдшеров не было вовсе, то есть при нескольких тысячах больных не было буквально ни одного. Когда бы можно было накормить каждый день больных досыта горячим да подать им вволю воды напиться, то мы бы перекрестились. Между тем снежок порошил в окна и ветер подувал», — говорит Даль от имени старого лекаря в рассказе «Мнимоумершие».

Владимиру Ивановичу повезло — мало кто из врачей выжил в этой кампании: «Почти все товарищи мои сложили побежденные, усталые кости свои в этом походе». Он видел умирающих от чумы и не заболел. А чума вспыхивала то в одном месте, то в другом. В конце октября Далю пришлось сопровождать генерал-лейтенанта Ридигера в Бухарест: без врача путешествовать было небезопасно. Затем он попал в Яссы.

Город утопал в грязи. В бесчисленных лавчонках множество ремесленников. Горожане живут больше на улице, чем дома. Повсюду навесы, галереи, подпорки; кареты и кибитки, разъезжаясь, порой отрывают распахнутые настежь двери или ставни. Много русских солдат, много молдаван, греков, армян, албанцев, которые одеты по-турецки и всегда при полном вооружении. Повсюду продается шербет, его фонтанчики бьют на деревянных выкрашенных станках, струя поворачивает укрепленные на шпильках жестяные куклы, к ногам которых еще привешены побрякушки, ударяющие в расставленные вокруг стаканы. Оборванные мальчишки в красных фесках бегают по улицам.

Везде шум, гвалт, словно это огромный базар, все что-то продают и покупают.

Даль стал на постой к богатой молдаванке и заболел: почти месяц его трепала жесточайшая лихорадка. Немного оправившись, начал присматриваться к обитателям дома, в котором поселился. Внимание его привлекла цыганка, совсем молоденькая, с любопытным детским личиком и необыкновенной грацией. Звали ее Кассандра или Касатка. Она была очень хороша собой: черные шелковистые волосы, темно-карие глаза, смуглый румянец, полные томные губки, маленький тупой нос и беспечная улыбка. Но главное — необыкновенная чистота, которая так и светила в ее глазах. Однако она дичилась людей, убегала от них, потому что пользовалась успехом у господ офицеров, а они, как известно, с крепостными цыганками не церемонились. Вначале Владимир Иванович только ласково здоровался с нею, не вкладывая, однако, слишком большого смысла в свое приветствие. Девушка сделалась доверчивой, внимательной и необыкновенно смелой. «Голос, взоры, улыбка ее — все выражало доверие, чувство привязанности и благодарности». Она видела единственного заступника в этом сильном, молодом и красивом мужчине. Далю очень нравилась цыганочка, но он и виду не подавал. Вот он сидит, как всегда, в одиночестве и наигрывает тирольку. Вдруг в дверях появляется «смуглое румяное личико и два глаза, светлее дня, темнее ночи». Она повинувалась только своим порывам и пришла на музыку. Когда ей особенно понравилась его песенка, она поцеловала Владимира, но при его попытке обнять ее выскользнула из его рук и, расхохотавшись, убежала. Это была истинная женщина, основной чертой ее характера была страстная преданность: у маленькой Касатки был жених, и она его ждала. Поэтому, хотя молодой доктор ей тоже нравился, она не могла обмануть своего суженого.

Даль не мог уехать, оставив это беззащитное создание у глупой и своевольной хозяйки. Он выкупил ее за сто шестьдесят левов и вручил Касатке купчую крепость, написанную на клочке бумажки с приложением печатей. Прошел год, и Даль встретил Касатку на дороге. Она узнала Владимира и бросилась бежать за его коляской, но он сопровождал командующего армией, а у нее в руках было двое близнецов.

Больше они не встретились ни разу. Но Даль ее не забыл. Касатке посвящен один из лучших его рассказов — «Цыганка».

В этих краях состоялось еще одно знакомство, о котором Даль тоже часто вспоминал, но уже не с грустью, а с улыбкой. У Александра Вельтмана, друга своего дерптского товарища по университету Карла Зейдлица, ему представили неуклюжего длинноносого человека.

— Худобашев,— представился тот, взял Владимира под локоть и, уведя от гостей, огорошил неожиданным вопросом:— Молодой человек, вы слышали о Пушкине?

— Разумеется.

— Это великий поэт. Но ко мне он был несправедлив.— Худобашев сделал паузу.— Там, где замешана красивая женщина, мужская дружба не может быть прочной.

Даль с любопытством глянул вниз: его собеседник был так мал ростом, что Владимиру было неудобно с ним разговаривать. Но Худобашев этого не замечал. Задрав голову, он держал Даля за пуговицу мундира и так разгорячил себя воспоминаниями, что даже подпрыгивал от возбуждения.

— Помните, в «Черной шали»: «Неверную деву лобзал армянин»? Этот армянин — я! — Худобашев ткнул себя пальцем в грудь и расхохотался.

Далее он рассказал, что при встрече Пушкин всегда бросал его на диван и со словами: «Ты зачем отбивал у меня гречанок?» — начинал душить.

— Но гречанка была действительно хороша! — вздохнул «соперник» Пушкина.— Как она меня любила!

Дороги войны увели Даля из этих мест, и больше он здесь не бывал ни разу. В последних числах марта 1830 года его определили заведующим временным госпиталем в Умани. Даль погрузил на телегу тюки с бумагами и поехал.

Опытному хирургу в уманском госпитале было много работы. Один завистливый эскулап сказал о Дале: «Еще бы ему медленно оперировать, когда у него две правые руки». Владимир Иванович, действи-

тельно, левой рукой работал так же, как и правой. Но не меньшее значение имел и тот огромный опыт, который он приобрел.

Даль написал матери о скорой встрече, как вдруг в Каменец-Подольске вспыхнула холера, и его направили на борьбу с эпидемией. Он снова погрузил на телегу свои «запасы слов» и снова отправился в путь.

Пожалуй, именно в это время двадцатидевятилетний армейский лекарь понял ценность своего багажа. Со времени военных походов количество записанных слов постоянно росло. Пропажа верблюда заставила Даля быть осторожнее и предусмотрительнее со своим бесценным грузом. Он прибыл на новое место службы в Каменец-Подольск, старинную крепость на неприступном острове, омываемом чистыми водами реки Смотрич.

Холера так и косила жителей крепости. Иной раз Даль входил в дом, где не осталось ни одной живой души и некому было похоронить мертвых.

Город разбили на несколько районов, и 24 января 1831 года Владимира Ивановича назначили заведовать первым районом.

На постой его определили к супружеской чете, которая принадлежала к известному на Подоле роду бельмоцелителей. Однако хозяин его, гуляка, разбитной малый, был признан своим цехом недостойным познать тайны светодарного искусства. Зато и он и супруга его стали водить к Владимиру Ивановичу слепых со всей округи. Даль многим вернул зрение, и, разумеется, бесплатно. Хозяева не могли нахвалиться его искусством и бескорыстием, давали больным кров и пищу, и лишь случайно открылось, что они не только обирали от имени Даля «слепых постояльцев своих», но бесстыдно сами себя прославляли в целом околотке целителями слепоты и успели в этом, потому что слепой не видит руки, дарующей ему свет». Даль был изумлен. Ему и в голову не приходило, что можно так бессовестно лгать.

Эпидемия пошла на убыль, можно было подумать о заслуженном отдыхе, но тут по городу поползли тревожные слухи о новой войне, на этот раз с Польшей.

Так Даль с одной войны попал на другую. Здесь произошло событие, о котором много говорили в ту пору. Действительно, в армии столько разговоров было о лекаре, спасшем целый русский корпус!

...Где-то в сумятице движущихся армий шел скромный дивизионный лекарь Владимир Даль, на попечении которого был обоз раненых, длинной лентой растянувшийся в хвосте 3-го пехотного корпуса Ридигера. Раненых прикрывал усиленный арьергард, потому что легкая польская кавалерия то и дело налетала на медленный поезд русских.

Ридигер пытался как можно скорее соединиться с князем Паскевичем и вдруг, подойдя к Висле, увидел разрушенный мост. Это была западня. Встревоженный генерал собрал военный совет в местечке Юзефов. Положение было катастрофическое. Русские части все подходили и подходили.

Подошел и обоз раненых. Даль разместил их на бывшем винокуренном заводе и пошел вниз к реке. Широкая полноводная Висла отделяла русских от небольшого польского отряда на противоположном берегу. «Это конец, всем нам пришел конец», — ни к кому не обращаясь, проговорил пожилой майор.

Владимир Иванович пошел вдоль берега, потом вернулся: ему хотелось осмотреть местность. Он не хуже других понимал серьезность ситуации, но сидеть сложа руки не мог. Дойдя до складских помещений завода, Даль, к великой своей радости, вдруг обнаружил огромный склад отличных бочек. «Мост на плотках!» — пронеслось в его голове. Он моментально направился к генералу Ридигеру и изложил суть дела.

— Однако в корпусе ни одного инженерного офицера, — сказал Ридигер. — Возьметесь завести постройкой моста на плотках?

— Возьмусь, — ответил Даль.

Закипела работа. Вначале Даль построил на своем берегу мостовое укрепление. Одновременно отряды солдат мастерили плоты: к наглухо заколоченным двадцати большим бочкам привязывался дощатый настил — п плот готов.

Для наведения переправы надо было сначала занять левый берег Вислы. Высадка десанта была также

поручена дивизионному лекарю Далю. Десант был высажен 17 июля 1831 года без потерь: поляки, увидев внезапно появившихся русских, скрылись — их было слишком мало. Даль вернулся на правый берег.

Чтобы проверить мост, сооруженный на плотках, бочках и лодках, по нему пустили тяжело нагруженную телегу. Испытание прошло отлично. «С богом!» — сказал генерал, и началась переправа. Наконец последний русский отряд благополучно высадился на левый берег.

И тут Даль заметил польскую конницу. Поляков было много, они сразу поняли, в чем дело, и бросились к мосту. Уже весь правый берег был занят поляками: кавалерией и пехотой. И тут Даль, оставленный Ридигером для уничтожения моста, прыгнул в бочку, схватил лежащий на дне топор и двумя ударами перерубил основной узел, соединяющий главные поперечные канаты моста. Все дело в том, что инженер-самоучка предусмотрел моментальное разрушение своего сооружения. Когда поляки пришли в себя, было уже поздно: мост разъехался, сильное течение подхватило плоты и понесло их вниз. Два выстрела прозвучали почти одновременно, но, к счастью, поляки промахнулись. Даль нырнул и появился на поверхности совсем не там, где его ожидали увидеть. Какой-то офицер еще долго стрелял в пловца, но плот относилось течением, а Даль все время нырял, так что попасть в него было почти невозможно. На берегу с тревогой ждали развязки. Когда Владимир Иванович вышел из воды, его ждало такое громогласное «ура!», какого он никогда раньше не слышал.

За этот подвиг Даль был награжден Владимирским крестом с бантом и грамотой генерала Ридигера с подробным описанием постройки невиданного моста и «разрушением оного на виду у неприятеля, начавшего переправу».

В эти дни на Дале обрушилось несчастье: в бою был убит пулей в сердце его любимый брат Лев. После окончания войны однополчане Льва поставили ему памятник.

Владимир стремился уйти из армии, как только кончились военные действия.

Сказки Казака Луганского

Истина нахальна и бесстыдна: ходит, как мать на свет родила; в наше время как-то срамно с нею брататься.
(Даль. Русские сказки. Пятюк первый)

21 марта 1832 года Владимир Даль был определен ординатором Санкт-Петербургского военно-сухопутного госпиталя.

Госпиталь на Васильевском острове большой, на две тысячи коек — целый город со своими улицами, переулками и тупиками. В коридорах грязь, шум, толпы каких-то подозрительных личностей в грязных халатах. Служители с утра до ночи заняты бесконечными махинациями, продают даже использованные бинты и корпию. Огромные палаты на шестьдесят — восемьдесят человек никогда не проветриваются, в них нечем дышать. Солдаты голодают, в госпитале свирепствует цинга. Опытных врачей нет, и хирургу работы непочатый край.

Первые недели Даль оперировал с утра до вечера. Операции проводились тут же в палатах, в присутствии больных. Наркоза тогда не было: больного во время операции держали несколько фельдшеров и служителей. Из палат порой неслись такие истошные вопли, что народ, постоянно толпившийся в коридорах, испуганно крестился и бежал во двор. Операция была сущей пыткой, и очень часто человек погибал от болевого шока. Единственное спасение для больных — быстрота хирурга. Даль оперировал молниеносно. И невольные свидетели его операций — солдаты души в нем не чаяли, называли не «ваше благородие», а по имени-отчеству.

Раннее утро. Кто-нибудь из выздоравливающих, увидев в коридоре высокую, тонкую фигуру Даля, спешит в палату:

— Идет!

Кто идет — ясно. Идет тот, кого все они ждут. Вот Даль появляется в дверях. Широкая улыбка, почти неожиданная, потому что глаза у лекаря очень строгие. Войдет человек, приветливо поздоровается, и на душе у всех становится легче.

Больные скоро заметили интерес Владимира Ивановича к пословицам. Однажды об одном особенно ненавистном слугителе старый безрукий солдат сказал: «Из тех же господ, только самый испод». Владимир Иванович, к великой радости солдата, тут же записал поговорку. С тех пор больные наперебой старались угодить Дально, и он сделал в своей палате немало ценных записей.

Вначале солдаты решили, что их лекарь больше всего интересуется изречениями о больных да о хвори. Но таких набралось не очень много: «И медведь костоправ, да самоучка», «Не тот болен, кто лежит, а тот, кто над болью сидит», «Живи просто, доживешь лет до ста», «Угорела барыня в нетопленной горнице». А потом пошли в ход и другие поговорки. Владимир Иванович записывал все подряд, даже такие, которые, по мнению человека, их сообщающего, ничего особенного собой и не представляли.

«Хорошо пахать на печи, да заворачивать круто», — читает Даль новую запись и улыбается.

И все-таки работать в госпитале Дально было очень трудно.

С одной стороны, солдаты, которые верят в тебя, как в бога, с другой — целая шайка грабителей, обкрадывающая больных. Гривенники, отпускаясь казной на лечение, оборачивались в умелых руках госпитальных дельцов солидными капиталами. Жаловаться некому: воровство являлось почти узаконенным делом — о нем было известно высшему начальству. Достаточно было один раз взглянуть на старшего врача военно-сухопутного госпиталя Флорио, чтобы понять бесполезность любых попыток навести порядок.

Чего стоили хотя бы обходы, которые время от времени устраивал старший врач! Вот он идет по палатам, во всю глотку горланит какие-то фривольные песенки, отбивает такт ногой и вертит на толстой суковатой палке свою форменную фуражку. В перерывах между руладами выкрикивает грязные ругательства и на ломаном русском языке делает назначения: «Этому пустить кровь!», «Этому поставьте пиявки!».

У паясничавшего невежды подобрался соответствующий персонал: чиновники от медицины. Владимир

Иванович так ни с кем из них и не подружился: в карты он не играл, а они встречались только за картами. Жизненный опыт подсказывал Далею, что придется оставить и эту работу. Нельзя же делать вид, что ты не замечашь, как вверенных тебе больных морят голодом. «В конце концов в таком положении станешь соучастником преступления»,— думал хирург. На первой странице дневника он написал слова Демосфена: «Легче всего — предаваться самообману». «А вот поди попробуй жить так, чтобы ни в чем не давать себе поблажек»,— мечтал Владимир Иванович.

Рабочий день Даля делился на две половины: утром — обход, операции, перевязки, а в четыре часа он идет домой. Отдохнет и начинает разбор бумаг, что три года кочевали со своим хозяином по военным дорогам.

Впервые за много лет они были сложены не во временном жилище. «Имел я покойную квартиру — а этим благом никто не умеет так наслаждаться, как люди, коим оно достается в удел после долговременной кочевой и бивуачной жизни». Вот когда Даль стал домоседом. Лишь изредка кому-нибудь из старых друзей удавалось вытащить его из дому.

Разбор бумаг, по существу, является уже вторым этапом работы над словарем, и можно только удивляться, что Владимир Иванович еще не догадывался об этом. Но он понимал, что держать все это под спудом нельзя, и решил написать сказки.

«Не сказки были для меня важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода». И сказка послужила предлогом. Писатель задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком, с говором, которому открывался такой вольный разгул и широкий простор в народной сказке. «Если бы тот же самый писатель вздумал когда-нибудь издать собрание русских сказок, то, конечно, написал бы их гораздо проще и незатейливее... Сказочник никогда не ставил сказки свои в пример слога и языка, не говорил и не говорит, что так именно должно писать по-русски,— нет; он хотел только, на первый случай, показать небольшой образчик — и право не с казового конца — образчик запасов, о которых

мы мало или вовсе не заботились, между тем как, рано или поздно, без них не обойтись!..» — писал о себе Даля в третьем лице много лет спустя.

Первая книга Даля была напечатана в типографии Плюшара в 1832 году. Владимир Иванович взял псевдоним Казак Луганский (казак — вольный житель земли Русской, Луганский — уроженец города Лугани). Полный заголовок книги в двести страниц гласил:

«Русские сказки,
из предания народного изустного на грамоту
гражданскую переложенные, к быту житей-
скому приуроченные и поговорками ходя-
чими разукрашенные казаком Владимиром
Луганским. Пяток первый».

Как было сказано выше, автор не считал эту книгу художественным произведением. Он лишь искал предлог поделиться с соотечественниками своими запасами слов и поговорок разговорного языка. Однако публика судила иначе: первая книга Даля понравилась, ее заметили, о ней говорили. В сказках Даля поражал свежий, меткий, живой язык, без фальши, без сермяжных псевдонародных словечек, неуклюжих, раскоряченных и грубых, привлекали истинно русские, чистые и благородные мотивы, потому что эти сказки были глубоко национальны по духу своему, по завораживающей мелодичности речи. Надо иметь необыкновенное чутье к языку, чтобы поставить слово в полногласную напевную строчку, где уж ни изменить его, ни переставить невозможно.

Что же представляет собой первый далевский сборник сказок? Автор написал к нему следующее предисловие: «Люди добрые! Старые и малые, ребяташки на деревянных кониках, старички с клюками и подпорками, девушки, невесты русские! Идите, стар и мал, слушать сказки чудные и прихотливые, слушать были-небылицы русские! А кто знает грамоте скорописной великороссийской, садись пиши, записывай, набело семь раз переписывай, знай помалкивай, словечка не роняй! Из каждого листа выходит тридцать две обертки на завитки нашим барышням-красавицам: ополчитесь, доблестные сыны отечества, да не посрамям земли своя! Полно девицам — невестам нашим

ходить-носить кудри вязаные-сырцовые, плетеные-шелковые; у нас на Руси и собачка каждая в своей шерсти ходит, а косы русские мягче шелку шемаханского, чище стекла богемского! Пишите, молодцы задорные, пишите и печатайте вирши в альбомы, в альманахи, пишите по-заморскому, так скоро из матушки-России пойдет вывоз черновой бумаги за море, в чужие края!

А вы, вычуры заморские, переводня семени русского, вы, хваты голосистые, с брызгами да жаботами, с бадинками да с витыми тросточками, вы садитесь в дилижансы да поезжайте за море, в модные магазины; поезжайте туда, отколе к нам возит напоказ ваша братия ученых обезьян; изыдите; не про лукавого молитва читается, а от лукавого. Аминь».

Сборник с этими сказками был вскоре после выхода в свет конфискован и теперь является библиографической редкостью. Взять хотя бы первую сказку сборника: «О Иване, молодом сержанте, удалой голове, без роду, без племени, спроста без прозвища». Здесь вся мудрость жизни — живи, трудись и знай, что, даже если ты вдруг все потеряешь, надо иметь мужество начать все сначала. Не впадай в отчаяние: все будет хорошо, будь только сам хорош. Главное, как ты относишься к людям, как ты работаешь. «Мало славы служить из одной корысти; нет, Иван, послужи-ка ты... под оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести».

Надо ли говорить, что Иван здесь — собирательный образ. Работы Иван, то есть русский мужик, не боится, да одолели молодца «блюдолизы придворные». Сказочник с невинным видом повествует: «Ивану нашему велено службу служить, а сами за сказки да за пляски, за обеды да за беседы — народ деловой». И до слушателя вдруг доходит: да ведь это извечное ярмо работающего, доброго и щедрого народа, что стоном стонет от царских супостатов. Откуда только берется вся эта нечисть, что живет трудами народа: «...кто взят из грязи да посажен в князи; кто и велик телом, да мал делом; иной с высокоу, да без намеку; тот с виду орел, да умом тетерев, личиком беленок, да умом простенок, хоть и не книжен, да хорошо ост-

рижен; а которые посмышленее, так все плуты наголо, кто кого сможет, тот того и гложет, ну, словом, живут — только хлеб жуют, едят — небо копят!» Извели они Ивана, «и то сказать, человек не скотина; терпит напраслину до поры до времени, а пошла брага через край, так и не стоворишь!» Долго они измывались над Иваном и просто из кожи лезли вон, чтобы придумать ему работу потруднее.

У сказки пророческий конец: «Иван... истребил Дадона, Золотого Кошеля, и всех сыщиков, блюдолизов и потакал его... И поделом: они все по владыке своему, на один лад, на тот же покрой — все наголо бездельники».

Никого так не ненавидел Казак Луганский, как дармоедов и бездельников, и уже в своих первых сказках Даль развивает мысль, особенно ему близкую: главное в жизни — борьба за правду и свободу. Это относится ко всем далевским сказкам.

Сборник, завоевавший имя Далу в литературных кругах столицы, натолкнул ректора Дерптского университета академика Паррота на мысль пригласить своего бывшего ученика на кафедру русской словесности, недавно оставленную Воейковым. Даль согласился. Он любил Дерпт, и предложение вернуться в свой университет профессором несказанно его обрадовало.

Паррот обратился к министру народного просвещения Ливену с необычной просьбой: разрешить Далу, имеющему ученую степень доктора медицины, занять кафедру русского языка и словесности. Ливен дал разрешение. Только что вышедшая книга Даля «Русские сказки» была принята в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора филологии.

Но удача оставила Даля так же неожиданно, как и пришла. Полоса невезений началась с доноса.

Фаддей Венедиктович Булгарин не зря получал жалованье в тайной полиции: он следил за всем, что выходило из печати. Булгарин был достаточно опытен, чтобы понять подоплеку далевских сказок, не разгаданную цензором. Он сообщил свои соображения начальнику Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии статс-секретарю

Мордвинову. Доносчик не поленился выписать пространную цитату из сказки об Иване: «В некотором царстве за тридесатым государством жил был царь Дадон, Золотой Кошель. У этого царя было великое множество подвластных князей: князь Панкратий, князь Клим, князь Кондратий, князь Трофим, князь Игнатий, князь Евдоким, много других таких же и сверх того правдолюбивые, сердобольные министры; фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь — Пяташная Голова, да строевого боевого войска Иван, молодой сержант, удалая голова, без роду, без племени, спроста без прозвища... Царь этот царствовал, как медведь в лесу дуги гнет: гнет — не парит, переломит — не тужит. Он послушал правдолюбивых и сердобольных своих советников, приказал немедленно отобрать от Ивана, молодого сержанта, удалой головы, без роду, без племени, спроста без прозвища, все документы царские, чины, ордена, золоточеканные медали, и пошло ему опять жалованье солдатское, простое, житье плохое, и стали со дня на день налегать на него более вельможи, бояре царские, стали клеветать, обносить, оговаривать...» К слову сказать, доказательством того, что читатели прошлого века видели в далевских сказках совершенно определенные намеки на власть имущих, служит дневник современника Даля. Спустя чуть ли не четверть века со времени выхода в свет сказок Казака Луганского он сделал такую запись: «Все радуются свержению Бибикова. Это был один из наших государственных мужей школы прошедшего. Это ум, по силе и образованию своему способный управлять пожарною командою. Никто не понимал лучше него системы решительных мер, сущность которой превосходно определена словами одной сказки: «а наш богатырь, что медведь в лесу — гнет дуги, не парит, сломит — не тужит».

Третье отделение, созданное по высочайшему повелению через семь месяцев после восстания декабристов, осуществляло контроль за общественными настроениями в империи. Неофициально его называли департаментом допросов и сыска. Это заведение наводило ужас на всю Россию. Получив донесение Булгарина, начальник Третьего отделения Мордвинов не-

медленно начал действовать. События развивались по всем правилам классической драматургии: спектакль, разыгранный Булгариным, Бенкендорфом и Мордвиновым при участии самодержца всея Руси, занял всего лишь сутки.

«А. Н. Мордвинов — графу Бенкендорфу. 7 октября 1832 года.

Затем наделала у нас шуму книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу. Заглавие ее: «Русские сказки Казака Луганского». Книжка напечатана самым простым слогом, приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалоба на горестное положение солдат и пр. Я принял смелость поднести ее его величеству, который приказал арестовать сочинителя и взять его бумаги для расследования. Я теперь занимаюсь этими бумагами».

В этот день, 7 октября, хирургу Дально не удалось закончить обход. Он не осмотрел еще и половины больных, как раздался топот кованых сапог, звякнули шпоры, и в наступившей тишине прозвучал резкий и грубый голос:

— Господин Даль?

— Так точно.

— Вам приказано явиться к его превосходительству статс-секретарю господину Мордвинову.

— Простите, у меня обход...

— У нас предписание доставить вас к его превосходительству без промедления.

Владимиру Ивановичу стало не по себе. Он знал, что статс-секретарь Мордвинов был помощником шефа жандармов Бенкендорфа.

В жандармской карете Даль все ломал голову, что бы это значило. Вспомнил, как в Инколаеве его судил военный суд за эпиграмму. Почти год тянулось дело. А теперь за что? И до чего ж некстати. Именно сейчас, когда он только-только получил казенную квартиру, разобрал собранные за тринадцать лет записи, выпустил свою первую книгу, вошел в писательские круги столицы.

Владимир Иванович приготовил в уме первую фразу для разговора с Мордвиновым, но беседа не со-

стоялась. Была площадная брань, которая звучала дико в кабинете, обставленном мебелью красного дерева. Мордвинов топал ногами, орал, потом ткнул Далию в лицо его книжку:

— Тоже мне — писатель выискался! Да если каждый, кому не лень, станет такое городить, так у меня казематов не хватит для господ сочинителей. Сказочки написал! А в сказочках что? Насмешки над царем? Да ты у меня морду не ворота, я к тебе обращаюсь, слышишь ты! Молчишь?! Или забыл? Так я тебе помогу собраться с мыслями! — Мордвинов позвонил. — Уведите арестованного!

Владимир Иванович очутился в грязной комнате, где стояли лишь койка да стул.

Тем временем слух об аресте Даля разнесся по всему городу. Дошел он и до Василия Андреевича Жуковского. Жуковский, назначенный наставником к наследнику, великому князю Александру Николаевичу, пользовался особым расположением своего воспитанника. Василий Андреевич взял далевские сказки и поехал во дворец. Он положил на стол перед великим князем книгу и рассказал, что за такую вот безделицу автора среди бела дня, на глазах у всего госпиталя схватили жандармы. В изложении Жуковского происшествие выглядело анекдотически.

Наследник повертел в руках сказки и удивленно взглянул на Василия Андреевича:

— Он вам знаком, этот лекарь... Даль?

— Я знал его еще в Дерпте. Молодой человек примерной скромности и больших способностей. Дворянин. Имеет два ордена и медаль за усердную службу на войне.

— А-а, это хорошо. Василий Андреевич, подождите меня, пожалуйста, я пойду расскажу отцу.

Вряд ли Николай I успел забыть доклад Мордвинова о недвусмысленных намеках в сказках Казака Луганского, тем более, что он сам распорядился арестовать автора вместе с его бумагами. Но пришел сын, передал просьбу Жуковского, и царь, хотя и был «коронованным фельдфебелем», моментально понял, что от скандала будет больше вреда, чем от сказок. Николай сделал вид, что впервые слышит об авторе и о его книжке.

— Скажи Жуковскому, что Даль сегодня же будет освобожден,— пообещал царь, и сын, поблагодарив отца, поспешил к Василию Андреевичу с радостным известием.

Не прошло и часу, как в комнату, где находился Владимир Иванович, вошел жандарм. Даль уныло сидел у окна, забранного решеткой, когда его снова попросили к его превосходительству. Он нехотя направился за конвойным. Войдя в кабинет, Даль остановился. Улыбающийся Мордвинов шел к нему на встречу.

— Поздравляю, молодой человек, поздравляю! — И протянул лекарю руку.— Вы свободны!

Даль с удивлением взглянул на улыбающуюся физиономию статс-секретаря и отвернулся. Тот так и остался стоять с протянутой рукой. «Самое омерзительное в этот тяжелый день,— говорил Даль,— была перемена, происшедшая в поведении статс-секретаря».

За удовольствие сказать негодяю, что ты о нем думаешь, приходится расплачиваться. Владимир Иванович убедился в этом довольно скоро. В южных губерниях среди кантонистов — детей военных поселен — началась эпидемия трахомы. Надо было послать опытного врача, и лейб-медик Вилье, желая угодить Мордвинову, предложил кандидатуру Даля. Владимиру Ивановичу ехать не хотелось, однако отказаться не было никакой возможности. Избавление пришло с той стороны, с какой его меньше всего можно было ожидать. Придворный медик Арендт, свидетель всего происшедшего, рассказал Владимиру Ивановичу, что, когда Вилье предложил послать в командировку Даля, император ответил:

— Даля нельзя. Назначь другого, а то он подумает, что его усылают за сказки.

Однако донос Булгарина все-таки повлиял на судьбу автора сказок. Как ни доказывал академик Паррот министру, что арест был сделан по недоразумению, князь Ливен отвечал, что книгу, вызвавшую скандал, неудобно принимать в качестве диссертации. Возможно, министру донесли, что книга вовсе не такая безобидная, как это может показаться на первый взгляд, ибо русская публика прекрасно понимала эзопов язык.

Было бы несправедливо рассматривать лишь первый сборник Даля, включающий пять сказок. Вскоре одна за другой начали появляться все новые и новые сказки — до начала 40-х годов Даль опубликовал двадцать одну сказку.

До сих пор нет ни одного серьезного исследования о сатирической подоплеке далевских сказок, более того, сатира писателя, как правило, вообще ускользала из поля зрения литературоведов. В 1966 году автору этих строк посчастливилось найти неопубликованную сказку Даля, которая называется «Сила Калиныч, душа горемычная, или Русский солдат ни в аду, ни в раю».

«Сила Калиныч, душа горемычная, или Русский солдат ни в аду, ни в раю» — двадцать вторая по счету сказка Даля, хотя правильнее было бы поставить ее под номером шестым, как сказку, не вошедшую в «пятток первый». Кстати, перечисляя сказки Даля, мы не считаем тех, которые он написал в старости для своих любимых внучат. Они вошли в сборники «Полуграмотной внуке» и «Внуке-грамотейке с неграмотной братней». Великолепно иллюстрированные, они и в наши дни выходят двухсоттысячными тиражами. Особое место среди сказок Даля занимает та, что осталась неопубликованной. Владимир Иванович прекрасно понимал, что напечатать эту сказку ему не удастся, оттого, надо полагать, и переплел ее в дорогой переплет: фактически, это книга тиражом в один экземпляр. Расчет Владимира Ивановича Даля оказался правильным: оформленной в виде книги рукописи не грозит опасность затеряться в бумагах. Надо сказать, что Даль отнюдь не был настолько богат и расточителен, чтобы переплел в сафьяновые переплеты все свои рукописи. (В его архивах другой такой рукописной книги нет.) Судя по тому, что в конце рукописной книги имеется много чистых страниц, можно предположить, что листы сначала были сброшюрованы, а потом уже заполнены. Характер виньеток позволяет установить дату создания книги: не позднее 50-х годов XIX столетия. Поскольку Даль опубликовал первый сборник сказок в 1832 году, неизвестная сказка была создана в 30-х и 40-х годах

прошлого века. Если сопоставить текст данной сказки с известными сказками Даля, время написания «Силы Калиныча» можно с большой вероятностью отнести к 1832 году, и вот почему. Язык «Силы Калиныча» более всего походит на язык сказок, вошедших в «Пяток первый», сказка перенасыщена пословицами, на ней, как и на пяти других произведениях первой книги Даля, особенно сказалось стремление автора дать образец «запасов слов». Даль нанизывает пословицы одну к другой, порой он пишет две-три пословицы подряд, разделяя их только запятыми, что несвойственно более поздним сказкам писателя. «Сила Калиныч» — его самая резкая и непримиримая сказка. И, пожалуй, самая по тем временам злободневная.

Герой сказки — суворовский солдат. Оттого-то он и говорит, «что по службе нет отговорок; что Измаила и Очакова нельзя было взять, а велели, так взяли!» Сила Калиныч отходил немало походов за тридцать три года службы, он такое видывал на своем веку, что нет ничего ни на этом свете, ни на том, что бы могло его испугать или удивить.

Солдатская сказка не случайна для Даля: он ведь сам только что вернулся из военных походов. Сюжет сказки «Сила Калиныч, душа горемычная» тоже близок Казаку Луганскому, он перекликается с сюжетами двух других солдатских сказок писателя: «О Иване, молодом сержанте» и «О похождениях черта-послушника, Сидора Поликарповича, на море и на суше, о неудачных соблазнительных попытках его и об окончательной пристройке его по части письменной». В этих трех сказках солдаты — умные, работающие, удалые молодцы, но «царские потакалы» не дают им житья. Как все сказки Даля, «Сила Калиныч» — произведение народное по духу своему, по сатирической подоплеке и, конечно, по языку.

Упоминаний об этой сказке, равно как и фрагментов или вариантов, в архивах Даля не обнаружено. Начав ее читать, оторваться невозможно. Тридцать три года прослужил солдатом русский мужик Сила Калиныч. Позвольте, как же так тридцать три, когда царь положил служить двадцать пять? В том-то и дело. Автор не упускает случая, чтобы не проехаться по адресу ненавистных народу чинуш: «...нас много, а

царедворцев мало, докладывать, знать, об нас и некому». Казалось бы, все просто: человек прослужил лишних восемь лет — награду ему за это. Не тут-то было. «Ну, словом, срок Калинычу вышел давным-давно, у отцов командиров все идет да идет переписка, а у меня седой волос из головы лезет! Стали все меня обижать: ты, говорят, срок выслужил, нет на тебя постройки, тебе и пай из милости идет, ты чужой век служишь, чужой доживаешь, уже за тебя на том свете провиант получают». Русский человек работы не боится, лишнее отслужить — это он может, но несправедливость терпеть свыше его сил. Он терпелив и покладист, да только до поры до времени. А как выведут его из терпения, то нет такой силы ни в аду, ни в раю, чтобы его остановила. Прожужжали солдату все уши. Надоело ему терпеть, и пошел он на тот свет. О том, как он два года кряду спасал людей земли от смерти, рассказывать не будем, отметим только, что это свидетельство его доброты. Интереснее другое. Попал русский солдат в рай, к святошам и ангелам. Бог тут назван: «...седовласый, маститый старец, окруженный блеском необыкновенным; он не родился и не умирает; для него — нет века, нет времени, нет прошедшего, нет будущего». И только в одном месте Даль проговорился. По ходу действия Смерть упрекает Силу Калиныча: «...тебе должно быть тем стыднее, с умыслу обманывать бога и морить честных людей, как я». Речь идет о том, что русский солдат перетолковывал приказания «седовласого, маститого старца», то есть бога, так, что Смерть потеряла возможность морить людей. Вот солдат явился к богу в походной боевой амуниции с жалобой на своих начальников и просил переместить его в лучший мир. «Старец выслушал его благосклонно и сказал: останься здесь; не ходи к своим начальникам; у каменного попа не вымолишь и железной просвиры». Так господь бог назвал вконец забюрократившихся царских чиновников. Бог послал солдата в рай, но в раю народ чванливый, они и духу солдатского не выносят. Среди всего сонма праведников нашелся лишь один, который не отворачивался от солдата. Сила Калиныч, говорится в сказке, встретил «старика-чудака с косою, с которым он знался в походах в Туретчине да на горах швейцарских, этот,

даром, что в лентах да в звездах, так что пальцем ткнуть негде, с ним запанибрата, в шашки играют, вприсядку пляшут, кричат, курят, кутят, пьют...» Ну как не узнать Александра Васильевича Суворова! Если вспомнить, что Владимир Иванович Даль относился к великому русскому полководцу с огромным уважением, что он взял для своей книги «Описание моста, наведенного через Вислу» в качестве эпиграфа любимое изречение Суворова: «Сегодня — счастье, завтра — счастье, помилуй бог, а ум когда?», и что, кроме того, Даль адресовал одно свое произведение «бывалому суворовскому солдату» («Солдатские досуги»), — сомнений в том, что герой сказки повстречал в раю легендарного боевого генералиссимуса, не остается.

Очень праведников оскорбляло присутствие солдата в «пречистом обиталище». Собрались они, стали бить челом перед богом, чтобы убрали от них солдата. Отправили его в ад, но что такое преисподняя для русского служивого человека, вынесшего царскую службу! Черти встретили солдата с великой радостью, они давно уже до него добирались. Солдат увидел там множество народа, русских и иностранцев, «между ними увидел он и земляка, покойного творца «Телемахида»; его здесь лучше нашего умели пристроить по достоинству, по таланту: он пек пирожки с луком, и черти не могли нахвалиться. Дело мастера боится, подумал безграмотный Сила, а ему и на ум не пришло пожелать, чтобы зазорные рифмодеи наши принялись бы также за это ремесло. Он их и понаслышке не знал, не только не читал: а то-то (было) бы пирожников!»

Известно, что выпренные вирши «Телемахида» Третьяковского так же мало похожи на народную речь, как выхолощенный язык тех, кого Даль называл «петербургскими борзописцами». И то и другое было одинаково ненавистно борцу за исконно русский язык Владимиру Далю, поэтому он так безжалостно разделался с Третьяковским. Впрочем, сама идея заставить бездарных поэтов заниматься полезным делом остроумна. Надо было любить русский язык так, как его любил Владимир Иванович Даль, чтобы высмеять покойного создателя неудобопроизносимых виршей.

Калиныч попытался было завести в аду те же порядки, что и на земле, да только чертям солдатская служба оказалась не под силу. Это только русский солдат мог четверть века тянуть ляжку, больше никто не вытянет. Вот Сила Калиныч решил стать над чертями начальником. «Я вас буду ружью учить, бить, а вы меня водкой поить, табаком кормить», — заявил им Сила. Ни дать ни взять — капрал. Сатира на солдатское житье-бытье была бы не столь жизненна, не придумай Даль этого кратковременного возвышения своего героя до капрала.

У «Силы Калиныча» традиционный счастливый конец. Он вполне закономерен для данного произведения: сказка есть сказка. Но до чего же убедительны все эти рассуждения о несправедливости «царя белого» после страшной своей будничностью фразы солдата: «пусть берут, судят, да и расстреливают». Счастливый сказочный конец не помог: «Силу Калиныча» напечатать было невозможно. Справедливость «царя белого», которой в сказке отведено полторы странички, свидетельствует о том, что Даль писал сказку не для себя и для друзей, а для того, чтобы она была напечатана. Он слишком счастливый, этот конец, чтобы быть правдивым, он воспринимается как обыкновенная концовка, вроде фразы: «Я же сам там был, к Калинычу на Тигул в гости ходил, царский мед и пиво пил, по усам текло, а в рот не попало, а на душе пьяно и сыто стало». Этой фразой заканчивается неопубликованная сказка Владимира Даля.

«Времена шатки — береги шапки»

Когда б вместо фонаря,
Который гаснет от погоды,
Повесить нового царя,
То просиял бы луч свободы.

(Куплеты, приписываемые
А. Полежаеву)

Успех «Русских сказок» был, как мы видели, совершенно неожиданным для их автора. Когда Даль осознал, что его книга пользуется успехом, она была

уже изъята из продажи и превратилась в библиографическую редкость. Один из немногих сохранившихся экземпляров Владимир Иванович решил подарить Александру Сергеевичу Пушкину. Он уже давно мечтал познакомиться со своим любимым поэтом, и Василий Андреевич Жуковский, находившийся с ним в большой дружбе, все обещал устроить это знакомство, да никак не удавалось выкроить время: то один уезжал из столицы, то другой. А Далю не терпелось поговорить с Пушкиным, увидеть его вблизи, послушать. Теперь появился предлог — книга сказок, и Владимир Иванович отправился на Большую Морскую, где, как ему было известно, после женитьбы поселился поэт.

День выдался теплый, солнечный. Владимир Иванович решил не брать извозчика, пошел пешком. Не прошло и получаса, как он уже стоял перед домом Пушкина. Затем медленно поднялся на третий этаж, хотел собраться с мыслями перед разговором с поэтом. Он немного волновался: не знал, как Пушкин его встретит, но все его сомнения исчезли, едва он взглянул на Александра Сергеевича. В глазах у Пушкина было столько приветливости и участия, любопытства и доброты, что сразу становилось ясно: он очень рад гостю. После первых же фраз они заговорили, как старые приятели. Александр Сергеевич взял в руки томик сказок и, наугад раскрывая страницы, начал читать громко, весело. Книжка привела его в совершенный восторг. Глаза у поэта блеснули, и он показался Далю очень красивым.

— Сказка сказкой,— сказал Пушкин,— а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать,— надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке. Да нет, трудно, нельзя еще!

Даль слушал, пораженный ясностью мыслей, которые давно приходили ему на ум.

— А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!

Пушкин спросил гостя, над чем он сейчас работает. Владимир Иванович рассказал о первом слове, услышанном от новгородского ямщика, о вечерах у

солдатского кофра, о работе над «запасами слов», которых уже тысяч двадцать.

— Так сделайте словарь! — перебил его Пушкин, который до сих пор внимательно слушал гостя.

— Словарь? — переспросил Даль.

— Ну да! Нам позарез нужен словарь живого разговорного языка! Да вы уже сделали треть словаря. Не бросать же вам свои «запасы»!

Даль радостно улыбнулся:

— Конечно. Как это я сразу не догадался.

— Мы словно забыли, что творец языка — народ, — продолжал Александр Сергеевич. — Есть же у нас свой язык...

— Которого мы не знаем...

— Вот именно. Так смелее же, смелее! Обычай, история, песни, сказки. Письменный язык от этого очень выиграет. Вам никак нельзя бросать словарь неизданным. Надобно довести его до конца.

— Непременно доведу, — согласился Даль. — Мне сейчас самому удивительно, как это мысль о словаре не приходила мне ни разу в голову.

— Ну, рано или поздно вы бы это все равно увидели. Скажите, Владимир Иванович, это ваша первая книга? — спросил Пушкин, листая сказки.

Даль ответил утвердительно и добавил, что в типографии Греча скоро выйдет книжка «Описание моста, наведенного через Вислу» с приложением чертежей. Владимир Иванович поднялся: пора было уходить.

Они расстались друзьями.

Вскоре Владимир Иванович вошел в кружок Пушкина. Однако надо сказать, что близким его другом стал лишь один Одоевский. Владимир Федорович Одоевский был на три года моложе Даля, но опыта в литературе у него было несравненно больше. Живя в Москве, князь Одоевский вместе с Вильгельмом Кюхельбекером, Дмитрием Веневитиновым, Иваном и Петром Киреевскими организовал кружок «Любомудров». Они много писали, даже начали издавать альманах «Мнемозина», но после разгрома декабристов и кружок и альманах прекратили свое существование. Однако Владимир Федорович писать не бросил. У него были большие планы, он уже вполне осознал



П. А. Вяземский.

свое призвание, вращался в писательских кругах обеих столиц, дружил со многими писателями и поэтами.

Далю дружба с Одоевским дала именно то, чего ему не хватало: он вошел в литературную среду. Великое дело — пример, дружеские советы, споры. Конечно, Даль не успел коротко сойтись с Пушкиным, потому что через полгода после своего первого визита к поэту он уехал из Петербурга. Но встреча с поэтом оказалась важнейшим событием в жизни Даля: она

определила масштабы его дальнейшей работы, он увидел конечную цель своих трудов — словарь, которому и посвятил свою жизнь.

Об описываемом периоде газета «Всемирная иллюстрация» впоследствии писала: «Кто бы мог подумать, что в невинных сказках клевета успеет отыскать какие-то намеки и внушить против автора подозрения, в результате имевшие арест книжки и автора. Эту бессовестную штуку приписывали Ф. В. Булгарину, наклеветавшему графу А. Хр. Бенкендорфу, из ненависти на противодействие кружка Пушкина с братьей (кн. Вяземского, кн. Одоевского и пр.), к которому пристал талантливый Даль. Его спасло ходатайство Жуковского, связь с которым и с Пушкиным никогда не прерывалась у Даля, до смерти их обоих».

Однако наша пространная цитата опередила события. И так, поздняя осень 1832 года. Даль стал писателем. Друзья советовали Владимиру Ивановичу бросить службу у Флорно и заниматься только литературным трудом. Но Владимир Иванович на собственном опыте и на опыте своих знакомых мог убедиться, что литература — дело ненадежное. И все-таки, при всей своей любви к хирургии, он решил уйти из медицины. Возможно, не получив Даль приглашения на кафедру русской словесности в Дерптский университет, он бы так и не удосужился заниматься переводом на другую службу. Судить трудно. Не менее важно и то, что в медицине в те годы творческая деятельность была невозможна, а Даль мечтал об интересном, живом деле, независимости и душевном спокойствии. Разумеется, у него не изгладились из памяти безуспешные поиски места шесть лет назад, и он даже и не пытался ничего предпринимать сам на этот раз. Даль решил попросить помощи у Жуковского, тем более, что ему все равно надо было идти к Василию Андреевичу, чтобы поблагодарить за счастливое избавление. Владимир Иванович всегда повторял, что он спасся чудом. Надо сказать, что критика прошлого века отмечала, что освобождение молодого Даля «еще одна заслуга Жуковского перед русской литературой». Сам Даль считал себя вдвойне обязанным Жуковскому: Василий Андреевич не только вызволил его

из Третьего отделения, но еще и устроил чиновником к своему другу, причем сделано все это было быстро, без волокиты, без унижительного ожидания в приемных важных вельмож.

Жуковский и встретил Владимира Ивановича как дорогого друга, обнял, поздравил с благополучным выяснением «недоразумения», хотя по глазам его Даль понял, что тот великолепно отдает себе отчет, сколь серьезной опасности подвергнулся его подопечный. Василий Андреевич усадил гостя, просил рассказать подробности всего происшедшего. Слушал он хмуро, и его располневшее, но все еще не лишенное привлекательности лицо стало бледным. Обычно Даль видел Жуковского оживленным, светски любезным человеком, теперь перед ним сидел совершенно разбитый пожилой мужчина.

— Здешняя жизнь меня давит и душит! Для писателя главное — свобода, а ее-то у нас и нет. Проклятый Петербург, со своими мелкими, убийственными рассеяниями! Здесь, право, нельзя иметь души. Бросить бы все и убежать... за жизнью. На вашем бы месте я бы уехал, непременно бы уехал.

— Я бы с превеликой радостью, — встрепенулся Даль. — Да нешто можно устроиться. Да еще человеку, у которого на первую же книжку наложили арест. «Времена шатки — береги шапки».

Василий Андреевич поморщился: пословица показала ему грубоватой. Но он продолжал:

— Я, кажется, сумею быть вам полезным. Есть у меня старинный приятель, он ныне назначен оренбургским генерал-губернатором. Да что там толковать, приходите сегодня ввечеру, я вас с ним и познакомлю, если у вас есть свободный часок.

— Был бы друг, а время будет, — ответил Даль.

Василий Андреевич улыбнулся: эта поговорка пришла ему по душе.

Владимир Иванович подумал, что ему повезло: не отправил бы Бенкендорф Перовского в «почетную ссылку», нелегко было бы ему устроиться.

Мы далеки от мысли идеализировать Перовского. Нельзя забывать, что это был один из «столпов отечества», на которых опиралось самодержавие. Но, поскольку о нем зашла речь, надо постараться дать вер-

ный его портрет. Многие в характере этого человека представляется нам сложным и противоречивым, однако, по свидетельству современников, это была незаурядная личность. Недаром именно он был поставлен Л. Н. Толстым центральной фигурой задуманного писателем романа «Декабристы». В письмах к А. А. Тслстой, близко знавшей Перовского, Лев Николаевич сообщал: «...у меня давно бродит в голове план сочинения, местом действия которого должен быть Оренбургский край, а время — Перовского. Теперь я привез из Москвы целую кучу материалов для этого. Я сам не знаю, возможно ли описывать В. А. Перовского, и, если бы и было возможно, стали бы я описывать его; но все, что касается его, мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо как историческое лицо и как характер мне очень симпатично».

Как известно, Толстой не написал романа о декабристах, сохранились лишь небольшие отрывки этого произведения, но место, которое писатель отводил Перовскому, подтверждает предыдущий отзыв о нем Льва Николаевича.

Не прошло и двух недель со дня знакомства Даля с его будущим начальником, как Владимир Иванович был уволен из военно-медицинского ведомства. Ровно через два дня старший врач госпиталя подписал формуляр Даля. Однако черновик, написанный Далем, в одном пункте не совпадает с текстом, подписанным Флорио. У Флорио под литерой «и» значится: «В штрафах по суду или без суда не бывал». А в черновике Владимир Иванович написал иначе: «Был за сочинение пасквилей. По решению морского аудиторского департамента вменено в штраф бытие под судом и долговременный арест под коим состоял с сентября месяца 1823 по 12 апреля 1824». Вероятно, Даль боялся, как бы «дело», раздутое в свое время адмиралом Грейгом, не помешало его переводу.

От перевода зависело многое. Получив должность чиновника особых поручений, Даль решил жениться. Если в госпитале ему платили семьсот рублей в год, то у Перовского назначили жалованье в полторы тысячи. С такими деньгами уже не страшно было обзаводиться семьей.

Мысль о женитьбе не выходила у него из головы с тех пор, как он познакомился на вечере у Языкова с Юленькой Андре. Юлия пришла с подругой Катей Воейковой, которую Даль знал еще по Дерпту, потому что она часто гостила у своего дяди профессора Мойера. Юленька понравилась Владимиру Ивановичу сразу: у нее было какое-то сходство с Касаткой, цыганочкой, бывшей, по мнению Даля, идеалом женской красоты. Когда однажды Юля спросила у него, что значит это слово, Владимир без запинки ответил: «Красавица».

Вскоре все друзья знали о любви Даля. Это не было секретом и для самой девушки. Тоненькая, изящная, темноволосая певунья и хохотушка, она сама влюбилась в голубоглазого лекаря. Незаметно для самого себя Даль стал женихом Юленьки. Он прекрасно понимал, что, почти ежедневно бывая в доме, где есть семнадцатилетняя девушка, надо просить ее руки, иначе она будет скомпрометирована. Понимал, но медлил: ему было неловко, что он беден. Но время шло, Юленька ему нравилась все больше и больше, и, как только появилась надежда на приличный заработок, Владимир Иванович решил сделать предложение.

Через месяц Даль и Юлия Андре обвенчались. Это было в последних числах июня, ибо точно известно, что через несколько дней после свадьбы Даль с молодой женой отправился к новому месту службы. Они выехали из Петербурга 3 июля 1833 года. Путешествие в столицу степей было их свадебным путешествием.

«Чем дальше от столиц наших на юг и на восток, тем простор становится шире, и еще много, много видится тут умственного впереди... Катись по природному хрящу полотна, не устлана дорога золотом. Оглядываешься на частые дубравы, на пологие зеленые скаты, на крутые берега, на дальние темные горы, на седой придорожный ковыль, на стерлитамацкие меловые горы, на синее плёсо Белой, мелькнувшее внезапно с темени взлобка...

Так и я скакал когда-то, и коренной обитатель этой дикой, обильной стороны, башкир, поматывал кнутиком и тянул, уныло завывая, тоскливую песню

свою»,— писал Даль и радостно приветствовал Оренбург: «Здравствуй, трижды зачатая, единожды рожденная твердыня, русский город: век стоять тебе покровом и оплотом и ширить могучие крылья свои!»

Оренбург

...бедный Оренбург, перенесенный с места на место до трех раз, судьбы своей не миновал: он наконец-таки расположился в безлесой и голой пустыне.

(Даль. Бикей и Мауляна)

В Оренбурге все дышало историей. Далю показали Георгиевскую колокольню, на которую Пугачев поднимал пушку, чтобы обстреливать город. В ту пору еще были живы люди, которые своими глазами видели бунтаря, и Даля захватила старина. Если учесть, что он, как чиновник особых поручений при военном губернаторе, был наделен большими полномочиями, можно понять, какие благоприятные условия для изучения этих мест получил писатель.

Служба у Перовского была уже тем хороша, что Даль имел дело с умным и блестяще образованным человеком. Близкий друг Василия Андреевича Жуковского, Перовский хорошо знал Пушкина. В Оренбург он прибыл тридцативосьмилетним генерал-майором, о котором ходили легенды. В какой-то степени это объяснялось его «романтическим» происхождением (он был одним из четырех «незаконнорожденных» сыновей графа Разумовского) и, главным образом, необыкновенными приключениями, выпавшими на его долю. Отлично закончив Московский университет, Перовский был выпущен кандидатом в семнадцать лет от роду и, едва началась Отечественная война 1812 года, вступил в действующую армию. В Бородинском сражении юноша получил ранение: ему оторвало палец на левой руке. Затем он попал в плен, по приказу маршала Даву чуть не был расстрелян на Девичьем поле, прошел с колонной русских пленных пешком до самой Франции, видел, как конвойные убивали

отставших, наконец, бежал из плена и вернулся в армию.

Много лет спустя Перовский описал вступление французов в Москву, пожар и плен. Этими документами воспользовался Лев Николаевич Толстой для романа «Война и мир».

Однако герой Бородина через тринадцать лет получил еще одно ранение. Это была контузия от удара поленом в день восстания декабристов. Но об этом ранении Перовский не любил вспоминать, потому что 14 декабря он не был на стороне восставших. Затем снова рана, полученная в честном бою, в турецкую войну 1828 года, генеральский чин, служба при дворе, ненависть могущественной «немецкой партии», настоявшей на назначении Перовского в Оренбург.

Здесь тоже не обошлось без интриг. Начальник расположенной в столице степей дивизии был чином старше Перовского, поэтому он ждал, что вновь прибывший явится к нему с визитом. Однако генерал-губернатор, обладавший характером весьма независимым, этого не сделал. Тогда в Петербург пошел донос военному министру, имевший печальные последствия для того, кто его написал: доносчику предлагалось немедленно отправиться к своему начальнику генерал-майору Перовскому и доложить, что за нарушение правил воинской подчиненности он получил предписание подать в отставку.

Лето 1833 года было в Оренбургской губернии неспокойное: опасались казачьих бунтов. Военный губернатор выехал в столицу уральского войска Уральск. 17 августа он направил чиновнику особых поручений коллежскому асессору Далю следующее предписание:

«Предполагая употребить вас по разным делам внутри вверенного мне края и желая, чтобы вы не упускали случая ознакомиться со всеми подробностями его, предлагаю вам, по поводу отбытия моего на линию, отправиться на первый раз в землю уральских казаков, где имеете, по соображениям личного моего с вами объяснения, обратить внимание на все, относящееся до земли сей и ее управления, а особенно в отношении тех обстоятельств, на кои я уже имел случай обратить внимание ваше».

Что же это за «обстоятельства», о которых Перовский говорит намеками даже в секретном предписании? Речь шла о волнениях казаков Урала. «Сначала дело было очень серьезное», — признался военный губернатор несколько позже.

В 1833 году нижнеуральская линия шла от Чернореченской до Нижне-Озерной крепости. Чтобы изобразить эту местность на картине, говорил Даль, надо провести прямую линию — горизонт. Ниже этой прямой — выжженная солнцем степь, выше — жаркое небо.

Как он любил мчаться по степи, пригнувшись к шес коня! Даль вообще был превосходный наездник, а тут такая ширь. Он был молод, ему не сиделось на одном месте, он всегда с радостью приближался к незнакомому селению. Что там за люди? Как они живут? Иногда один взгляд, случайное слово открывают писателю глубоко запрятанные чувства. Даль все замечал и все запоминал: «Молодой народ на Урале крепок и дюж», это «ребята нынешнего склада: высокие, стройные и крепкие», «казачки одеваются по-русски богато и даже роскошно». Вот Даль попросил напиться, дородная черноглазая красавица подала ему воды, угостила, накормила, рассказала про свое житье-бытье.

Но сколько бедняков встречалось на пути Даля! До чего же больно было смотреть на худых, темнокожих кочевников, испуганно выглядывавших из своих юрт! Они страшно боялись ненавистных царских сатрапов. Прошло немало времени, прежде чем в степи узнали Даля и нарекли его — «Справедливый Даль». Он и в самом деле был не похож на остальных чиновников особых поручений его величества: входил в жилища, присматривался к хозяйству, к обычаям, мог объясняться с кочевниками на их родном языке. И самое главное — всегда старался помочь людям. Там выслушает враждующих братьев и помирит их, к великой радости целого племени, там разберется, кому получить калым, если нареченная невеста умерла, а вместо нее отдали замуж девушку из другой семьи. Даля полюбили за доброту, за приветливость. У него был неиссякаемый интерес к людям, быть может, это отчасти писательский интерес: многое из того, что он видел и разбирал, вошло в рассказы — правдивые, до-



В. И. Даль (30-е годы XIX века).

стоверные и простые. «Степные дикари эти нищают целыми аулами, поколениями и гибнут голодом и стужей без всякой надежды на помощь. На целое семейство одна дойная коза» («Бикей и Мауляна»).

Больше месяца ездил чиновник особых поручений Даль по нижнеуральской линии. Из его рассказа «Уральский казак» видно, как близки к восстанию были казаки летом этого года. В этом произведении сказано: «...войско, вытянутое станицами своими лентой по течению реки Урала, верст на 800, ожило после кратковременного отдыха; по городкам, форпостам и крепостям стали бегать и суетиться, словно земля под

народом накалилась и не даст никому ни стать, ни сесть».

Даль довольно скоро установил определенный порядок: приезжая в какую-нибудь станцию, первым делом справлялся, нет ли больных. Одних операций на глазах во время своих разъездов Владимир Иванович сделал более полусотни, вернув зрение беднякам в такой глуши, где, без преувеличения, до него не бывало ни одного опытного хирурга.

Ну и, кроме того, как всегда в разъездах, Даль не забывал собирать слова. Он говорил, что не проходило дня, чтобы он не записал нового слова или поговорки.

Уже эта первая в новой должности командировка показала, что чин коллежского асессора ничего не изменил в привычках Даля. Его внимание, энергия, интеллект служили в основном призванию писателя. Даль проделал путь в две с половиной тысячи верст, побывал в Уральске, Гурьеве, потом свернул в Калмыковскую крепость, затем к Внутренней Букеевской киргизской орде, которая в ту пору кочевала между землей уральских казаков, левобережьем Волги и Астраханью, обратно вернулся на Александров Гай, по рекам Чижи, Деркул в Уральск, а оттуда степной дорогой через Илецкий городок в Оренбург.

Юленька отворила дверь, ахнула и на секунду потеряла сознание. Даль подхватил жену, усадил ее и внимательно посмотрел на худенькое, бледное личико.

— Ты нездорова?

— Здорова, только плохо мне без тебя...— всхлипывая, ответила она.

Насилу успокоил. Не успели кончить обеда, как явился вестовой от генерал-губернатора. Перовский сообщал, что у него находится Пушкин.

В Петербурге Даль виделся с поэтом несколько раз, но встреча в чужом краю, где Александр Сергеевич почти никого не знал, обрадовала Владимира Ивановича еще больше. Даль обнял жену и помчался к Пушкину на загородную дачу Перовского вблизи Оренбурга.

Пушкин приехал 18 сентября 1833 года. Он начал писать «Историю Пугачевского бунта» и не поленился проехать тысячи верст в тряских кибитках, чтобы осмотреть место действия событий, которые предпола-

гал описать. «Пушкин прибыл неожиданный и нечаянный и остановился в загородном доме у военного губернатора В. А. Перовского, а на другой день перевезя его оттуда, ездил с ним в историческую Бердянскую станицу», — вспоминает Владимир Иванович.

Поскольку Даль хорошо знал историю Оренбурга, лучшего проводника Пушкину невозможно было и желать. Когда они появились в Бердах, ни одного казака дома не было: все ушли в поле. Приезжим повезло: они разыскали старуху, которая знала, видела и помнила Пугачева. Для Пушкина было очень важно, как эта женщина описала Пугачева: его внешность, походку.

Она стояла на паперти, когда Пугачев с важным видом прошел прямо на алтарь, сел на церковный престол и громко сказал: «Как я давно не сидел на престоле!» Пушкин расхохотался. Он не отходил от старой казачки — фамилия ее была Бунтова — все утро. Дрожащим старческим голосом она напевала поэту песни тех лет, потом повела показать холм, где, по преданию, зарыты были несметные сокровища Пугачева. Чтобы обмануть кладонискателей, поверх золота был положен труп: дорывшись до него, каждый подумает, что это простая могила, гласило предание.

На прощание Пушкин дал старой казачке червонец, однако этот подарок наделал много шума. Никто не мог понять, для чего незнакомец с таким жаром расспрашивал о Пугачеве, ну а то, что он дал денег, было настолько подозрительным, что на другой день Бунтову вместе с ее червонцем посадили на подводу и привезли в Оренбург. Казаки доносили: «Вчера приезжал какой-то чужой господин, приметам: собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под «пугачевщину», и дарил золотом; должен быть, антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти».

Утром 20 сентября Пушкин проснулся от громкого хохота Перовского и Даля. Оказывается, они только что получили секретное донесение нижегородского губернатора Бутурлина: «У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но, должен признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о пугачевском бунте; должно быть, ему

дано тайное поручение собрать сведения о неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом посоветовать, чтобы вы были осторожнее».

Некоторые биографы Пушкина считают, что это письмо Бутурлина натолкнуло поэта на сюжет «Ревизора», который, как известно, он подсказал Гоголю.

Поэт состоял под надзором полиции, и для него было очень хорошо, что он остановился на даче, а потом на городской квартире военного губернатора. Пять дней, проведенные Пушкиным в Оренбурге, Уральске и казачьих крепостях, Даль с ним не расставался. Они никогда так много не говорили, как в этот раз. Пушкин сказал: «Я на вашем месте сейчас бы написал роман. Вы не поверите, как мне хочется написать роман, но нет, не могу... У меня начато их три,— начну прекрасно, а там недостает терпения, не слажу».

Семь лет спустя, через три года после трагической гибели поэта, Даль одним из первых откликнулся на призыв его друзей написать воспоминания о Пушкине. Приведя вышеупомянутые слова Александра Сергеевича, он отметил, что они согласуются с пылким воображением поэта и вдумчивым долготерпением художника. Эти два редкие качества сливались в Пушкине, составляли одно целое. «Он носился во сне и наяву целые годы с каким-нибудь созданием, и когда оно созревало в нем, являлось перед духом его уже созданным вполне, то изливалось пламенным потоком в слова и речь: металл мгновенно стынет в воздухе, и создание готово».

Пушкин много говорил Владимиру Ивановичу о своих планах написать о Петре I. «Не надобно торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься»,— утверждал он.

Они вместе охотились, охота была удачна, поэт радовался, как ребенок, а Даль был счастлив, что доставил ему удовольствие.

С охотой связан еще один эпизод. Даль повел Александра Сергеевича в лучшую во всем Оренбурге баню, принадлежавшую инженер-капитану Артюхову, страстному охотнику. Артюхов был весельчак, балагур, умница и радушнейший хозяин. Пушкину он был рад сердечно, угощал и развлекал его всеми си-

лами. Предбанник капитана был весь расписан картинами охоты, и, когда Пушкин вошел туда после бани, Артюхов начал потчевать его закуской. Глядя на расписанные стены, Александр Сергеевич спросил:

— Вы охотитесь, стреляете?

— Как же-с, понемножку занимаемся и этим.

— Что же вы стреляете, уток? — продолжал любезно расспрашивать гость.

— Уток-с? — воскликнул хозяин и даже вскочил от удивления.

— Разве уток не стреляете?

— Помилуйте, кто будет стрелять эту падаль!

— Что же вы стреляете? — допытывался гость.

— Нет-с, не уток. Вот как выйдешь в рощу, как запустишь своего Фингала, а он как вытянется в стойку, и птица загорится, как свечка, столбом взовьется...

— Кто, кто? — нетерпеливо перебил поэт.

— Кто-с? Разумеется, кто: вальдшнеп. Тут царап его по сарафану, а он раскинет крыльями и замрет в воздухе, умирая, как Брут!

Этого охотника Александр Сергеевич не забыл, он прислал ему книгу с надписью: «Тому офицеру, который сравнивает вальдшнепа с Валленштейном».

Пушкин не хотел долго задерживаться в Оренбурге, он встретился только с интересующими его людьми. Один вечер поэт провел у Даля. Юленька сообщила своим знакомым, что они ждут к себе Пушкина, и, когда Александр Сергеевич подъехал к крыльцу далевского дома, две юные девицы прошмыгнули в палисадник. Однако окно кабинета Владимира Ивановича было высоко, и они ничего не могли рассмотреть. Тогда барышни влезли на дерево. Было холодно, в окна уже вставили вторые рамы, и не было слышно, о чем говорили хозяин и гость. Но они видели, что Пушкин был весел и возбужден, много смеялся и говорил.

Это совпадает и с воспоминаниями Владимира Ивановича. Есть основания полагать, что в этот вечер он рассказал поэту о своем желании написать статью о русском языке. Даль вспоминал впоследствии: «Повод к этой статейке подал разговор с одним из самых уважаемых и заслуженных писателей наших, которому, однако же, не менее того переданное здесь по-

казалось было сначала довольно странным; между тем под конец довольно продолжительной вечерней беседы думное чело его просветлилось, доступное всему изящному и истинному, сердце перешло вполне на сторону убеждающего, и несколько раз повторенное: «Напишите-ка это, напишите это, выйдет хорошая, дельная статья» — подало повод к изложению мыслей этих на бумаге».

По-видимому, Даль счел неудобным называть имя Пушкина, это выглядело бы саморекламой. Но здесь так явственно чувствуется Пушкин, что только отсутствие прямых доказательств вынуждает нас избегать категорических утверждений.

А перед глазами возникает картина: радостное лицо поэта, которому так же не терпится начать «драку» за русское слово, как и его собеседнику. Они понимают друг друга, как самые близкие единомышленники. Как показать силу, богатство и роскошь родного языка, как очистить его от нелепых вычурных подражаний, слов, в которых русского разве что буквы, отчего у нас не ученые, не словесники говорят лучше, чем пишут.

Сидят долго. За окном темным-темно. Две продрогшие девушки не могут расслышать ни слова, но не слезают с дерева, пока знаменитый поэт не уходит из кабинета.

20 сентября Пушкин уехал из Оренбурга. По пути он хотел побывать в крепостях Оренбургской линии, тех самых, которые только что осматривал Даль. Поэтому Владимир Иванович снова выехал на линию и еще двое суток пробыл с поэтом. Они опять много говорили. Пушкин был полон сил и новых замыслов:

— Ведь даром, что товарищи мои все поседели да оплели, вы увидите, я еще много сделаю!

Они рассказали друг другу сюжеты сказок, оба знали их много. Через три года в журнале «Библиотека для чтения» Даль напечатал сказку, услышанную от Пушкина, — «О Георгии Храбром и о волке». Впоследствии он написал примечание: «Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станцию, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга».

Судя по надписи, которую сделал Пушкин на рукописном экземпляре «Сказки о рыбаке и рыбке», можно предположить, что сюжет ее был подарен поэту Далем. Однако некоторые исследователи это отрицают. Как бы то ни было, Владимир Иванович получил драгоценную рукопись Пушкина. Надпись на ней гласила: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин». По-видимому, вопрос о том, кто рассказал гениальному поэту России эту сказку, требует дальнейшего исследования, равно как и утверждение П. И. Бартенева, что в Оренбурге Пушкин останавливался не у Перовского, а у Даля: «С Перовским Пушкин был на «ты» и приехал прямо к нему, но в доме генерал-губернатора поэту было не совсем ловко, и он перешел к Далю, обедать они ходили вместе к Перовскому».

Праздник — пребывание Пушкина в Оренбурге — кончился. Утром, как прежде, Юленька провожала мужа на службу, в час ждала к обеду, вечером обычно заходил кто-нибудь из друзей. Постепенно у Даля образовался круг знакомых, дружбой которых он очень дорожил. Надо сказать, что Владимир Иванович отличался большой смелостью в выборе друзей. Занимая в Оренбурге высокий пост, он близко сошелся с группой политических ссыльных, особенно после того, как ему удалось спасти от расстрела трех руководителей подготавливаемого поляками заговора.

26 октября 1833 года коменданту Оренбурга генерал-майору Глазенапу стало известно, со слов рядового Людвика Мейера, о подготовке вооруженного восстания ссыльных польских революционеров под предводительством Тадеуша Зана, магистра философии Виленского университета и близкого друга Адама Мицкевича. Комендант немедленно доложил о случившемся военному губернатору Перовскому, тот создал специальную комиссию, в которую входил чиновник особых поручений Даль. Поскольку Владимир Иванович великолепно владел польским языком, ему было поручено подготовить материалы.

В докладе Мейера говорилось, что Тадеуш Зан и его сообщники «положили между собою непоколебимое

намерение сделать как в Оренбурге, так и по всей линии мятеж». Даль много говорил с арестованными, и хотя мы не располагаем документальными данными о том, что показания поляков написаны по совету Владимира Ивановича, простое сопоставление показаний арестованных наводит на мысль, что они принадлежат одному лицу, вернее, отредактированы одним лицом.

С уверенностью можно сказать, что здесь налицо была группа поляков-революционеров и провокаторы. В таких случаях все зависит от здравого смысла и порядочности судей, иными словами, процесс можно было повернуть и так и этак: оправдать революционно настроенных поляков, вся вина которых заключалась в «крамольных» речах, или отправить их на виселицу.

Исход процесса зависел от военного губернатора Перовского. Как умный человек, он не хотел скандала, поэтому не препятствовал Далу вести следствие так, что в этом деле были наказаны только... доносчики. В докладе по следствию говорилось: «По исследованию комиссии, не открылось никаких обстоятельств, относящихся к обвинению, почему всех, содержащихся по сему делу, кроме доносителя рядового Кживицкого, из-под караула освободить и употребить по-прежнему на службу». Первый доносчик — Мейер находился под судом, к его делу было присоединено обвинение в ложном доносе.

Процесс этот имел еще и то следствие, что Даль подружился с Тадеушем Заном. У Даля был один из самых гостеприимных домов в городе. «Мадам Даль мила как нельзя более», — пишет некая Е. Воронина, познакомившаяся с местным обществом осенью 1833 года. По ее словам, Владимир Иванович читал на вечерах свои рассказы: «Его надо расшевелить, чтобы он заговорил, а очень приятно слушать его, когда он разговорится».

Именно в этот период начинается активная писательская деятельность Даля. Его «первая попытка» — рассказ «Цыганка» появился еще три года назад в «Московском телеграфе», но прошел почти незамеченным. Повести же и рассказы, написанные в Оренбурге, определили место Даля в современной ему литера-

туре. «Лучшие журналы того времени дорожили честью украшать свои страницы произведениями Даля», — сообщает историк, член Оренбургской ученой архивной комиссии Н. Н. Модестов.

Возможно, что необыкновенная творческая активность писателя была вызвана встречей с Пушкиным. И несомненно, что совет поэта создать словарь помог Владимиру Ивановичу упорядочить свой труд. Даль при каждом удобном случае записывает слова: на улице, на вечеринках и уж, конечно, в служебных командировках.

Работал Даль много, вставал в шесть. Утренние часы были у него самые ценные для работы.

Юленька в то время чувствовала себя очень плохо — она должна была в середине лета родить, и Владимир Иванович, боясь за жену, попросил мать, чтобы та приехала. Мария Христофоровна согласилась и к моменту рождения первенца была уже в Оренбурге. 11 июля 1834 года у Даля родился сын. В честь своего любимого брата он назвал его Львом, прибавив к этому имени второе: Арслан, что по-башкирски также означает «лев». Мальчик был крупный, здоровый, он едва не стоил жизни своей матери. Говорили, сын похож на отца. Владимир Иванович очень любил возиться с ним, особенно, когда тот немного подрос. Юленька даже вздумала было ревновать, но умная свекровь как-то при случае объяснила ей, что если устраивать мужу сцены, то он постарается как можно реже бывать дома.

В рабочее время Даль был занят постройкой пешеходного моста на понтонах через реку Урал. Строительство моста не было для него в новинку и внесло некоторое разнообразие в унылые канцелярские будни. Но для настоящего писателя жизнь чиновников тоже материал. В этом отношении можно только радоваться, что Владимир Иванович познакомился с бытом чиновного люда; он оставил их портреты потрясающей художественной силы. Здесь все правда, и ни в чем нет натяжки или преувеличения.

Вот губернский секретарь, служащий по счетной части, «бедняк, убитый судьбою», в рассказе «Подкидыш». Вся жизнь этот человек либо переводил дух после недавнего несчастья, либо ожидал нового удара.

Лицо его раз и навсегда приняло испуганное и недоуменное выражение, которое не изменялось ни в праздники, ни в будни. Ежедневно в восемь он приходил в присутствие. После работы, «поужинав в углу тюрьки, то есть хлеба с кваском, и приправляя трапезу свою отрывочным рассказом о том, какую он хорошую редьку видел сегодня на базаре, когда шел от должности», Семен Иванович ни о чем больше не мечтал, как лечь поскорее спать. Добро бы так всю жизнь, да нет, чем дальше, тем хуже. Вицмундир рвется, до четырнадцатого класса не дослужишься, а тут еще бог дал двойню. Когда Семен Иванович услышал эту новость, у него задрожали руки и пепельного цвета губы, а лицо еще больше вытянулось. Он почувствовал пустоту, холод, страх, он был похож на человека, которому предстояло утопиться или удавиться.

Сколько их сидело по присутственным местам, этих полунищих-получиновников, вечно голодных, забитых и безликих! У героя рассказа «Подкидыш» тоже был свой прототип. Проходя по канцелярии, Даль не раз встречал угодливый, заискивающий взгляд нестарого еще секретаря. Как-то разговорился с ним и узнал, что у него трое детей да еще перед пасхой родились близнецы, что самая что ни на есть большая его мечта стать чиновником четырнадцатого класса. Все остальное писатель дорисовал. Он показал одну из «жертв письменного порядка, у которых вся совокупность умственных способностей вместо того, чтобы выходить из головы раструбом наружу, для объема всего, что человека окружает, всего, что доступно уму и чувствам его, принимает вид обратный, с обращением раструба внутрь. Весь мир усюх для них в один комочек, и во время вдохновения и самого смелого полета воображения он развивается на пространстве графленого листа бумаги».

Этот социальный портрет мелкого чиновника стоит в одном ряду с образом Акакия Акакиевича Башмакина, только гоголевский обладатель шинели по сравнению с ним просто богач.

В Оренбурге Владимир Иванович Даль прожил лучшие годы своей жизни. Он приехал сюда тридцатидвухлетним начинающим писателем, уехал через восемь лет известным автором повестей и рассказов,

которыми зачитывалась вся Россия, которые так высоко оценил строжайший из критиков — Виссарион Григорьевич Белинский.

Здесь же значительно пополнились «запасы слов» для словаря. Население станиц — старообрядцы, бежавшие от преследований за религиозные убеждения, сохранили в своей речи особенности произношения и лексикона тех мест, откуда они пришли. Для Даля это был сущий клад, потому что тут оказались выходцы из различных губерний.

Но в Оренбурге у Даля, по совету Пушкина, строго разграничившего работу над словарем и литературную деятельность, преобладал писательский труд.

Неизученный далекий край предстал перед русской публикой без прикрас, со своими нищими кочевниками, беспокойными казаками и колоссальными неиспользованными богатствами. «Бикей и Мауляна», «Майна», «Башкирская русалка», «Уральский казак», «Рассказ об осаде крепости Герата», «Осколок льду», «Домик на Водяной улице» — это яркие картины жизни отдаленной окраины Российской империи. Если читатель никогда не бывал в Оренбурге, он легко мог представить себе город, в котором «с каждого перекрестка во все четыре стороны виден крепостной вал», а вокруг — бесконечные степи. А климат, хотите знать, какой в Оренбурге климат? «Пришло жаркое, знойное лето, которое длится в полуденных степях наших ровно четыре месяца: май, июнь, июль и август,— пришло и налегло, чтоб поверстаться за суровую пятимесячную зиму... Серо наше зимнее небо, мороком заволочено поднебесье, но иногда зимою, в ясную звездную ночь, бывает оно и густо-синего цвета или кажется таким перед белизною блестящего снежного савана земли».

В Оренбурге Даль написал автобиографические повести «Мичман Поцелуев» и «Вакх Сидоров Чайкин». Основное достоинство этих произведений в том, что в них рассказано о становлении личности. Недостатки воспитания и образования приводят к тяжелым нравственным переживаниям, которые для человека с душой неизбежны, утверждает писатель.

«Всякая несправедливость казалась мне дневным

разбоем,— писал Даль о себе,— и я выступал против нее». А в России в те годы «требовали, чтобы вы проходили спокойно своим путем и не мешались не в свое дело».

Один из героев Даля признается: «Я мечтал принести столько пользы человечеству, а вместо этого сидел над срочными донесениями всех родов». Это уже трагедия. И писатель сравнивает мечту, прекрасный мир, возникающий в воображении человека, с добродушным, доверчивым щенком, а жизнь, реальную действительность — со «старым тертым котом». Они не растут бок о бок, и встреча их ужасна. «Мечта, которая поддерживается и развивается в нас воспитанием, и сущность, которую находят в свете вместо мечты своей,— это собака с кошкой: им ужиться нельзя. И кошка берет верх: не силою своею, а когтями, которые всегда держит про запас в пушистых своих рукавичках».

Но Даль упорно и настойчиво повторяет, что сдаваться все равно нельзя: «Не верьте, чтоб счастье было извне, оно в вас, внутри вас, это воля ваша, сила души»,— пишет он. В этой фразе — вера в огромные творческие возможности человека, любого человека, ибо каждому от природы дан известный запас душевных сил, чтобы создать себя и свой характер. Главное, чтобы каждый «научился быть человеком, научился уважать себя самого».

Уважающий себя человек не способен на низменный поступок, не изменит своим принципам: «Жизнь дана нам на радость», но ее надо уметь отстоять, поэтому истинное назначение человека — борьба за правду и справедливость, борьба со всем, что лишает людей радости.

Уважать самого себя — жизненный принцип Даля, которому он не изменил ни разу. Что говорить, были у него и ошибки и заблуждения, но он умел работать, как никто, с превеликой охотой. Для Даля радостен был всякий труд, и это главное.

Надо отдать должное Перовскому: генерал-губернатор не загружал своего подчиненного делами, с которыми успешно могли справиться другие служащие. Даль и без того вскоре приобрел известность как защитник всех несправедливо осужденных, и к нему по-

стоянно обращались за помощью забитые, бесправные люди, которых чиновники и слушать не желали. Далю поэтому случалось разбирать порой интереснейшие дела.

Однажды ему стало известно, что местный богач генерал Тимашев посадил в оренбургский острог дочь своего крепостного кузнеца, Агафью, только за то, что та, несмотря на порку розгами, отказалась стать любовницей барина. Даль приехал в острог. Он увидел семнадцатилетнюю девушку необыкновенной красоты и доложил о ней военному губернатору. Василий Алексеевич Перовский любил сенсации: он не только добился вольной для красавицы, но довел до сведения государя о поведении генерала Тимашева.

* * *

Наступил 1836 год. В далеком Оренбурге то и дело вспыхивали пограничные инциденты. Что ни день, можно было услышать: вышел за городской вал, зазевался, а его схватили и продали в рабство в Хиву. О женщинах и говорить не приходится, их иногда похищали среди бела дня.

Кочевники предложили однажды выкуп богатому помещику, приехавшему погостить к родственникам в Оренбург, за хорошенькую девушку, его дочь, когда все семейство ехало в своей карете на дачу к губернатору. Решив, что отец не доволен предложенной суммой, они несколько раз набавляли цену и в конце концов предложили огромный калым. Настойчивый поклонник скакал рядом с каретой. «Я не знал цены своему сокровищу», — шутил потом отец.

Население ждало освобождения своих родных, томящихся в неволе. Готовился военный поход в Хиву. В связи с приготовлениями к походу в конце года Перовский уехал в Санкт-Петербург. Его сопровождал Владимир Иванович Даль. И хотя ему не очень хотелось бросать жену, которая вот-вот должна была родить второго ребенка, он не мог остаться.

Перовский выбрал благоприятный момент. Позиции России на Балканах были ослаблены, турецкий министр иностранных дел Рашид-паша под влиянием английских дипломатов враждебно относился к сла-

вянам, и царское правительство, думал генерал-губернатор, захочет взять реванш на Среднем Востоке. Было известно, что англичане в Герате поддерживают дружеские отношения с хивинским ханом, который и раньше постоянно грабил русские караваны, а при такой поддержке осмелел до того, что превратил в рабов множество русских пленников. Богатейшие казахские степи и могущественные среднеазиатские ханства: Кокандское, Бухарское и Хивинское — были важны для России и как источники сырья, и как рынки сбыта; происки же англичан дают основание полагать, что, если эти земли не присоединить к России, они станут колонией Англии,— вот к чему сводился доклад Перовского. Он предлагал план завоевательной экспедиции, объяснив необходимость покорения Хивы спасением из неволи русских пленников. Василий Алексеевич был уверен в успехе своего доклада и не ошибся.

Смерть Пушкина

...И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег. Он знает—здесь конец...
Недаром в кровь его влетел крылатый,
Безжалостный и жалящий свинец.
...Наемника безжалостную руку
Наводит на поэта Николай!

(Э. Багрицкий)

Даль тоже готовился к поездке в столицу. Он внимательно пересмотрел свои записи, чтобы выбрать самые интересные из них: надо было показать друзьям лучшие образцы своих «запасов». Он взял готовые для печати рассказы и очерки, это надо было только занести в редакции журналов.

В Петербурге слава Даля-чтеца распространилась быстро: стоило собраться старым приятелям, как кто-нибудь непременно вспоминал о далевских сокровищах. Иногда он читал сказки, но заканчивалось все «игрой в слова». Даль знал множество прибауток, шуток, баек. Меняя голос, от имени двух действующих лиц разыгрывает Владимир Иванович уморительную сценку:

— Она бает — приходи, бает, он бает — мать узнает, она бает — давно знает.

Почесывая затылок, переминаясь с ноги на ногу, Даль с недоумением возводит очи к потолку:

— Пресвятая богородица, пошто рыба-то не ловится? — Либо невод худ, либо нет ее тут.

И потом, внезапно вскочив, рассказчик уставился на слушателей:

— Я молиться: что не спится? Гляжу — ан, не ужинавши лежу.

Даль умел раскрывать слушателям тайну слова и его красоту.

— Что такое «попал впросак» — каждый знает. А откуда это идет? Просак — пространство от прядильного колеса до саней, где снуется и крутится веревка. Если она зацепит пряжу за платье, то ей нелегко освободиться. О такой пряхе и говорят: попала впросак.

Еще один пример.

— Как называется шкурка, которую сбрасывают змен во время линьки? — спрашивает Даль.

Молчание.

— Выползина, — отвечает на собственный вопрос Владимир Иванович.

Как-то утром к нему зашел Александр Сергеевич Пушкин и, указывая на свой новый сюртук, спросил:

— Что, хороша выползина?

Это был тот самый сюртук, который он надел в роковой день 27 января, когда отправился на дуэль с Дантесом.

О ранении Пушкина Даль узнал лишь на следующий день. Владимир Иванович зашел к своему приятелю, писателю Башуцкому, а тот встретил его словами:

— Вы слышали?

— Что?

— Пушкин смертельно ранен. Вчера, в шесть часов вечера.

— Куда он ранен?

— В живот.

— Боже мой! Извините, я поеду. До свидания.

— На Мойку, дом Волконского! — крикнул Даль кучеру. — Да поживее!

У дома Пушкина толпились люди, по их напряженным лицам было видно, что случилось несчастье. Всех, кто выходил, встречали вопросом: «Ну, как он?» И в доме народу было так много, что пришлось запереть двери, ведущие в переднюю и кабинет. Владимир Иванович с трудом протиснулся в столовую. Тут были друзья и знакомые. Все обступили доктора Арендта, ожидая от него ответа, но Николай Федорович только пожимал плечами.

Даль увидел ближайших друзей Пушкина. Тут были Данзас, Плетнев, Вяземский, Виельгорский, Мещерский, Тургенев. Были знакомые: Валуев, Загряжская и Карамзина.

Возле ширм, которыми загородили проход из гостиной в кабинет, стоял Иван Тимофеевич Спасский, домашний врач Пушкина. Кивнув Далю, он ушел. Через несколько минут вернулся.

— Владимир Иванович, пойдете.

Пушкин лежал в своем кабинете на красном плюшевом диване головой к окну. С трех сторон диван обступали книжные полки, так что он не видел входящих. Даль подошел. Василий Андреевич Жуковский уступил ему кресло рядом с диваном.

Лицо Пушкина, обычно смуглое, приобрело мертвенно-белый оттенок, нос заострился, глаза и виски впали. Но к этому времени сказалось действие опиума: больной чувствовал себя немного лучше. Даль сел рядом с Пушкиным.

— Плохо, брат,— сказал ему Пушкин и улыбнулся.

Даль взял его руку: она была теплая, пульс явственно прощупывался, и врач подумал, что он надежен. Пушкин напряженно всматривался в лицо врача, стараясь угадать его мысли, он увидел, что Даль улыбнулся, и у больного тоже появилась надежда.

Александр Сергеевич, от которого первый осмотревший его лекарь Шольц и Арендт, по непонятным причинам, не сочли нужным скрыть безнадежность его состояния, не надеялся выжить. И тут впервые он увидел возле своей постели врача, который верил в его выздоровление. «Но, по-видимому, только однажды и обольстился он надеждой, ни прежде, ни

после этой минуты он ей не верил», — писал впоследствии Василий Андреевич Жуковский.

Пушкину легче всего было с Далем, остальные врачи его утомляли. Спасский и Арендт — великосветские врачи — то и дело спрашивали:

— Не угодно ли вам видеть кого-либо из друзей?
Или:

— Не угодно ли вам видеть жену?

— Я позову, — отвечал Пушкин, которому было не до разговоров.

После тяжелого утра Александру Сергеевичу стало легче; он лучше выглядел. Пушкин взял Даля за руку и спросил:

— Никого тут нет?

— Никого.

— Даль, скажи мне правду, скоро я умру?

— Мы за тебя надеемся. Право, надеемся.

— Ну, спасибо.

Но к шести часам вечера Даль заметил, что у больного начала повышаться температура, пульс участился до ста двадцати и стал более жестким. «Начало образовываться воспаление», — подумал Владимир Иванович.

Временами Александр Сергеевич засыпал, временами тихо и спокойно говорил:

— Нет, мне здесь не житье. Я умру, да, видно, так и надо.

Он был послушен, как ребенок, делал все, что хотели врачи, безропотно принимал лекарства, но очень неохотно позволял им притрагиваться к ране. Температура поднималась, и в семь часов Даль и Спасский поставили ему на живот двадцать пять пиявок. Температура снизилась, опухоль живота опала, пульс стал ровнее и гораздо мягче, лоб и щеки заблестели от пота. Приехал Николай Федорович Арендт, осмотрел больного.

К ночи знакомые, толпившиеся в столовой, разъехались, остались лишь Жуковский, Вяземский и Вильгорский. Они разместились в комнате рядом с кабинетом. У постели больного был Даль. Почти всю ночь Пушкин продержал его за руку. Временами он просил пить: брал в рот крупинку льда или ложечку воды. Все, что мог, Пушкин старался делать сам: до-

ставал стакан с ближайшей полки, тер себе льдом виски.

Тихо в доме... Не спят только два человека, которые никогда не были задушевными друзьями, а теперь стали самыми близкими людьми. Один из них умирает. Ему невыносимо тяжело, его давит предсмертная тоска, он места себе не находит и то и дело просит:

— Подними меня.

Высокий, сильный Даль осторожно подсовывает ему под плечи большие руки, но не успевает еще как следует уложить больного, как тот его останавливает:

— Довольно, довольно, теперь очень хорошо.

Пушкину становится все хуже.

— Ах, какая тоска! — говорит он, закидывая руки за голову. — Сердце изнывает! Даль, поправь мне, пожалуйста, подушку.

Даль снова пытается поудобнее уложить больного, и тот его снова останавливает:

— Постой, не надо, потяни меня только за руку, ну, вот и прекрасно.

Временами Пушкин впадает в забытие. Тогда врач боится шелохнуться, чтобы не скрипнуло старое кресло и не разбудило больного. Забывшись, больной тихонько стонет.

Лицо Пушкина изменилось. Пульс катастрофически падает.

— Какой час?

— Четыре, — отвечает Даль.

— Долго мне так мучиться?.. Пожалуйста, поскорее...

«В продолжение долгой, томительной ночи глядел я с душевным сокрушением на эту таинственную борьбу жизни и смерти — и не мог отбиться от трех слов из Онегина, трех страшных слов, которые неотвязно раздавались в ушах, в голове моей, — слова:

Ну что ж? — убит!

О! Сколько силы и красноречия в трех словах этих! Они стоят знаменитого шекспировского рокового вопроса: быть или не быть. Ужас невольно обдавал меня с головы до ног, я сидел, не смеядохнуть, и думал: вот где надо изучать опытную мудрость, философию жизни, здесь, где душа рвется в мертвое и безот-

ветное», — писал впоследствии Даль в своих воспоминаниях.

Тоска и боль одолевали Пушкина. Он крепился и лишь изредка отрывисто кряхтел, но так тихо, что в другой комнате его не было слышно.

— Пожалуйста, скорее... — шепотом говорил он.

— Терпеть надо, ничего не поделаешь, — отвечал Даль, — но ты стонай, не стыдись боли своей, тебе будет легче.

— Нет, нельзя, — отрывисто возразил Пушкин. — Жена услышит. Смешно же... чтоб этот вздор... меня одолел.

Утром Пушкину стало еще хуже. Ему было уже трудно говорить, он лежал с закрытыми глазами, дышал часто и отрывисто.

— Кто у жены моей? — спросил Пушкин Даля.

— Много людей принимают в тебе участие, зала и передняя полны.

— Ну, спасибо. Однако же, Даль, поди скажи жене, что все, слава богу, легко... а то ей там, пожалуй, наговорят.

Василий Андреевич Жуковский сел на место Даля, а тот пошел к Наталье Николаевне.

Она лежала в гостиной; увидев Даля, оправила платье и хотела сесть, но Владимир Иванович ее удержал.

— Как он? — спросила Наталья Николаевна.

— Велел передать, что все, слава богу, легко.

— Владимир Иванович, он выживет?

Даль взглянул в ее глаза. Можно ли лишать ее надежды, когда ей столько еще предстоит горя?

— Наталья Николаевна, мы надеемся. Бог милостив, может, и поправится...

Она посмотрела на врача с благодарностью.

— Спасибо...

Приехал Арендт, осмотрел больного, от пиявок решил воздержаться, велел дать каломель. В соседней комнате сказал Жуковскому и Тургеневу:

— Этот день он не переживет...

Лицо Пушкина потемнело. Он таял на глазах. Даль взял руку — пульс становился слабее, слабее и вскоре исчез совсем. Жизнь уходила. Владимир Иванович почувствовал, что руки больного холодеют.

Пробило два часа, «в Пушкине оставалось жизни только на три четверти часа». Иногда он на несколько секунд забывался, сжимая руку Даля, говорил:

— Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну пойдем!

Через минуту приходил в себя и объяснял:

— Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу по этим книгам и полкам высоко, и голова закружилась.

Раза два Пушкин удивленно и пристально вглядывался в лицо Даля.

— Кто это? Ты? — спрашивал он.

— Я, друг мой.

— Что это, я не могу тебя узнать.

Спустя несколько минут умирающий начал беспокойно искать руку Даля, схватил ее и опять сказал:

— Ну пойдем же, пожалуйста, да вместе!

Потом снова забылся. Даль тихо встал и сказал Жуковскому и Виельгорскому:

— Отходит.

Все трое подошли к умирающему. Он открыл глаза:

— Морошки хочу.

— Чего? — не понял Даль.

— Морошки.

Принесли моченой морошки, но Пушкин внятно и требовательно заявил:

— Позовите жену, пускай она меня покормит.

Она пришла, опустилась на колени, дала ему две-три ягодки. Он не сводил с нее глаз — прощался. Наталья Николаевна прижалась лицом к его щеке, он погладил ее по голове, она готова была разрыдаться, но он сказал:

— Ну, ну, ничего; слава богу, все хорошо! Поди.

Голос его был тверд, спокоен, она, улыбаясь, вышла из кабинета и, проходя мимо доктора Спасского, сказала ему:

— Вот увидите, он будет жив, он не умрет.

— Подними меня, — сказал Пушкин Далею.

Владимир Иванович взял его под мышки и подвинул. Вдруг Пушкин будто проснулся, широко раскрыл глаза и сказал:

— Кончена жизнь!

Даль не расслышал и переспросил:



А. С. Пушкин в гробу.

— Что кончено?

— Жизнь кончена,— отвечал он громко.— Тяжело дышать, давит.

Это были последние слова умирающего. Тело его оцепенело, руки остыли до самых плеч, колени тоже. Дыхание из отрывистого стало протяжным. «...Еще один слабый, едва заметный вздох,— писал потом Даль,— и пропасть необъятная, неизмеримая разделила живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его». Даль закрыл глаза покойного... Некоторое время друзья молча стояли у его изголовья...

Потом была душераздирающая сцена: Наталья Николаевна рыдала, ее сводило судорогами. Жуковский, Данзас и Даль не отходили от нее ни на минуту.

Далю предстояла еще одна нелегкая ночь: вскрытие тела покойного и составление медицинского протокола.

Вскрытие подтвердило, что ранение было смертельным. Дантес выстрелил на расстоянии одиннадцати

шагов свинцовой крупнокалиберной пулей. Даль так описал пулевой канал: «Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней передней оконечности подвздошной кости правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз и, встретив сопротивление в крестцовой кости, разбила ее и засела где-нибудь поблизости».

Пуля проскочила между тонкими и слепой кишкой; «в одном только месте, величиной с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей».

...Гроб стоял в соседней с кабинетом покойного комнате — столовой. За окнами несметная толпа народу терпеливо ждала, чтобы отдать последний долг гениальному русскому поэту. Это было великое народное горе. Люди все шли и шли, и казалось, им не будет конца. Их прошло более десяти тысяч...

Похороны были назначены в Исаакиевском соборе. Владимир Иванович машинально сунул приглашение в боковой карман сюртука и очень удивился, когда узнал, что, во избежание беспорядков, вынос тела произведут ночью. Это преподносилось как распоряжение полиции, но всем было ясно, что за спиной блюстителей порядка стоит царь.

В квартире находилось больше переодетых сыщиков, чем друзей поэта. Жандармский генерал Леонтий Васильевич Дуббельт, или, как его называл Даль, Бенкендорф-Дуббельт, с хозяйским видом прохаживался от опечатанного им кабинета до столовой. Кроме переодетых сотрудников он разместил в соседних дворах солдат.

Гроб накрыли крышкой. Было жутко, когда вколачивали гвозди: за окнами ночь, все говорят вполголоса. Резкие, отрывистые распоряжения, хмурые лица приятелей Пушкина, которые старались не смотреть друг другу в глаза. Наконец гроб на плечах самых близких друзей Александра Сергеевича вынесен, поставлен на сани. Все уселись. Странная ночная процессия двинулась. Но, к удивлению своему, Даль заметил, что прибыли они не к Исаакиевскому собору, а в какую-то другую церковь, которую он впотьмах не узнал.

— Что это? — спросил Даль.

— Церковь Конюшенного ведомства,— ответили в темноте.

Но упредить Пушкина не удалось: в день отпевания, 1 февраля, толпы народу осадили придворную церковь.

Восстановить страшную картину всего, что было проделано с телом поэта, помогают свидетельства очевидцев. Среди них особенно интересны письма Софьи Николаевны Карамзиной, близко знавшей Пушкиных. Она пишет: «В понедельник были похороны, то есть отпевание. Собралась огромная толпа, все хотели присутствовать, целые департаменты просили разрешения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на панихиду, пришла вся академия, артисты, студенты университета, все русские актеры. Церковь на Конюшенной невелика, поэтому впускали только тех, у кого были билеты, иными словами, исключительно высшее общество и дипломатический корпус, который явился в полном составе (один дипломат даже сказал: я только здесь первый раз узнаю, что такое был Пушкин для России. До этого мы его встречали, разговаривали с ним, и никто из вас (он обращался к даме) не сказал нам, что он ваша национальная гордость). Площадь перед церковью была запружена народом, и, когда открыли двери после службы, все толпой устремились в церковь: спорили, толкались, чтобы пробиться к гробу и нести его в подвал, где он должен оставаться, пока не отвезут его в деревню. Один молодой человек, очень хорошо одетый, умолял Пьера (Мещерского) разрешить ему только прикоснуться рукою к гробу; тогда Пьер уступил ему свое место, и юноша благодарил его со слезами на глазах. Как трогателен секундант Пушкина, его друг и товарищ по лицу полковник Данзас, которого прозвали в армии «храбрый Данзас», сам раненный, с рукою на перевязи, с мокрым от слез лицом, говорящий о Пушкине с чисто женской нежностью, не думая нисколько о наказании, которое его ожидает; он благословляет государя за данное ему милостивое позволение не покидать своего друга в последние минуты его жизни и его несчастную жену в первые дни ее тяжкого горя». Это свидетельство очевидца, ему нет цены. Письмо написано 3 февраля 1837 года.

Итак, гроб спустили в церковный подвал и задвинули засовом. Но надо было еще избежать похорон. На первый взгляд — дико, как же можно не похоронить человека? Но в ночь на 3 февраля к Староконюшенной церкви подошла телега, на нее взгромоздили останки поэта, и в сопровождении всемилостивейше назначенного Александра Ивановича Тургенева и четырех жандармов тело Пушкина отправили в его имение Михайловское. Василий Андреевич Жуковский, немного проводив тело друга, вернулся в столицу.

Дня через два профессор Петербургского университета Александр Васильевич Никитенко рассказал Далю, что его жена, возвращаясь в Петербург, встретила на почтовой станции телегу, в телеге на соломе — гроб, обернутый рогожей. «Что это такое?» — спросила она у крестьян, стоявших поодаль. «А бог его знает что. Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости господи, как собаку».

Так, с ведома царя, сводили счеты с величайшим гением России бенкендорфы и уваровы. Всеми силами старались они сломить и общественное движение, вызванное смертью поэта. Авторы некрологов, напечатанных в «Северной пчеле» и «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», получили строжайшие взыскания. Последний некролог принадлежит перу близкого друга Пушкина и Даля — Владимира Федоровича Одоевского. Вот он:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща! Более говорить о сем не имеем сил, да и не нужно; всякое русское сердце будет знать всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце растерзано. Пушкин наш поэт, наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!»

Через неделю после похорон появилось стихотворение «На смерть поэта». Оно молниеносно облетело всю столицу. Его читали, переписывали, учили наизусть от строчки до строчки. Новый гений России сумел высказать то, что было в каждом русском

сердце. До сих пор Даль и имени Лермонтова не знал, а сейчас произносил его с благодарностью: высказанная вслух правда была некоторым утешением...

Наталья Николаевна Пушкина, согласно воле покойного мужа, уезжала в деревню к брату. Владимир Иванович хотел вернуть вдове поэта перстень с изумрудом, который Александр Сергеевич считал своим талисманом и боялся снять с пальца, чтобы его не оставила муза поэзии, но Наталья Николаевна категорически запротестовала:

— Нет, Владимир Иванович, пусть это будет вам на память. И еще я хочу вам подарить пробитый пулей сюртук Александра Сергеевича.

Даль поблагодарил. Ему было искренне жаль двадцатипятилетнюю женщину, на которую обрушилось такое страшное горе, и он был далек от великосветских толков о ее виновности или невиновности. Для такого умного и наблюдательного человека, как Даль, причина трагедии была понятна: Пушкина погубила близость ко двору.

Софья Николаевна Карамзина с недоумением замечает, однако, что Наталья Николаевна «совсем не была тронута, когда прощалась с Жуковским, Данзасом и Далем, этими тремя ангелами-хранителями, которые окружали постель ее умирающего мужа и так много сделали, чтобы смягчить его последние минуты».

Как бы то ни было, Жуковский, Данзас и Даль сделали для вдовы поэта все, что было возможно. 15 февраля они проводили ее в деревню. Вскоре покинул столицу и Владимир Иванович Даль.

Он беспрестанно думал о Пушкине; и дружба, связавшая их на краю могилы поэта, представлялась теперь Далю неразрывными узами; так велико было чувство ответственности за все, что он видел и слышал в последние часы жизни гения.

Печальное это было возвращение. В памяти Пушкин остался приветливым, ласковым другом. Владимир Иванович вспомнил свой первый визит к поэту, его радость при известии о «запасах слов», споры о статье против употребления без надобности иностранных слов и, наконец, гениально простой совет составить словарь. Во всех деталях вспомнилась поездка

в Берды, охота, прогулки по Оренбургу и рассказ Пушкина о его планах. Какие это были огромные планы!

Только теперь Владимир Иванович понял, что для него значил этот человек. И такая нелепая смерть...

Даль то и дело возвращался к мучившему его вопросу: можно ли было спасти Пушкина? Не упустили ли они чего-нибудь, как это порой бывает у медиков? И отвечал: «Нет. Раны в живот смертельны, начинается пожар в животе — и через три дня человек погибает. Может быть, когда-нибудь врачи и научатся спасать раненных в живот, но до сих пор, — утешал себя Даль, — я не видел таких чудес».

Владимир Иванович набросал в своем дорожном блокноте план большой статьи «Смерть Пушкина». Он понимал, что его долг — сохранить для потомства каждое услышанное от поэта слово.

Улучшение края

Когда Даль был студентом-медиком Дерптского университета, у них снарядили экспедицию для исследования Урала и Сибири. Владимир Иванович очень тогда переживал, что не может отправиться в научную экспедицию: до окончания медицинского факультета оставалось еще более двух лет.

Прошло семь лет. Он попал в эти края влиятельным чиновником и, хотя это не входило в служебные обязанности Даля, стал изучать Оренбуржье с последовательностью ученого. Владимир Иванович был занят с утра до позднего вечера. Об этом говорит, например, в своих воспоминаниях чиновник К. А. Бух. «Жена Даля (первая) была молоденькая немочка, всецело посвятившая себя устройству на новом месте хозяйства своего, а его я заставлял постоянно за каким-нибудь занятием. Он был необыкновенно деятелен: от письменного стола переходил к верстаку, к слесарным и другим инструментам; нужен ли был винтик, требовалось ли сделать и приладить задвижку — все изготовлял и прилаживал он собственными руками».

Владимир Иванович везде попевал: от постройки пешеходного моста через реку Урал до создания местного музеума. Этот музеум был учрежден за два года до приезда Даля в Оренбург. «Составился оный из пожертвованных частных лиц и помещается в одной из зал Неплюевского военного училища»,— говорится в «Адрес-календаре Оренбургской губернии на 1833 год».

С приездом нового генерал-губернатора В. А. Перовского вокруг музеума разгорелись споры. Перовский затеял строительство училища лесоводства и земледелия, что было крайне необходимо в краю, где лесные массивы хищнически уничтожались. Даль пытался уговорить генерал-губернатора пристроить к зданию строящегося училища зал для музеума и помещение для зрителя. Но тогда бы музеум стал собственностью края. Исполняющий должность директора Неплюевского училища подполковник Марков упросил генерала Перовского оставить музеум при училище.

Но на строительство нового большого зала было израсходовано уже несколько тысяч рублей, поэтому Даль предложил разместить в нем музей естественных произведений Оренбургского края, сделав его главным смотрителем Тадеуша Зана.

Однако экспонатов для нового музея не было, и Перовский распорядился отправить в Санкт-Петербург четырех подростков для обучения «чучельному искусству» у знаменитого зоолога Брандта. 23 февраля 1837 года «казацкии малолетки» уехали в столицу: двум из них предстояло научиться «только снимать надлежащим образом и сберегать шкуры», а двух других предполагали обучить изготовлению чучел. Когда первые двое чучельников вернулись, их отправили в научную экспедицию с известным путешественником Александром Адольфовичем Леманом. Привезенные ими звериные шкурки и стали первыми экспонатами нового музея.

2 ноября 1838 года Даль обратился к генерал-губернатору с докладной о необходимости утвердить чучельников в постоянной должности. На этой докладной Перовский написал: «Поручить их В. И. Далю». Резолюция генерал-губернатора фактически делала Даля ответственным за новый музей.

Владимир Иванович принялся за дело. В Оренбургском архиве хранится составленная им смета, в которой предусмотрены все затраты на оборудование, инвентарь и жалование чучельникам. План Даля не встретил никаких возражений со стороны Перовского: генерал-губернатор распорядился «выдать из сумм на улучшение края» необходимые средства.

Трудно подыскать пример, чтобы канцелярский термин с такой точностью определил сущность производимой чиновником работы. Улучшение края — это одна из сторон деятельности Даля в Оренбурге. Человек дела, он сделал много полезного на своем посту, начиная со справедливого и беспристрастного решения сложных дел, когда к нему обращались за помощью бесправнейшие люди на земле — степные кочевники, называвшие Даля «Справедливый Даль», и кончая административной деятельностью.

В Оренбурге Даль написал учебник ботаники и зоологии «по вызову главного начальства над военно-учебными заведениями». Таких учебников русская школа еще не знала. В них все просто и понятно, но отнюдь не примитивно: эта простота — от ясности мысли и безупречности слога, такую простоту принято называть благородной. Книги эти были высоко оценены и естествоиспытателями и педагогами, они неоднократно переиздавались.

Работа по изучению края — этнографические и исторические изыскания Даля — производилась на столь высоком научном уровне, что 29 декабря 1838 года императорская Российская академия избрала коллежского асессора Даля своим членом-корреспондентом. Тридцатисемилетний ученый был польщен, а у его коллег чиновников это избрание не вызвало зависти: в те времена члены академии не получали денег за звание, этого было достаточно, чтобы «общество» ни в грош его не ставило.

Владимир Иванович оставил множество зарисовок быта, нравов, обычаев, одежды тех времен. Не только улицы города, по которым бродят козы, кормилицы бедных семейств, но даже отдельные дома описаны так, что у читателя создается впечатление, будто он их видел собственными глазами. «В Оренбурге есть и гостиный двор, но это огромное здание более походит

на арестантский двор или на монастырь; лавки все обращены внутрь, а снаружи видны одни только стены; все глухо, пусто, мертво, и покупщики неохотно туда заходят» («Бикей и Мауляна»). В этом же рассказе есть другая изумительная зарисовка — бесконечный степной караван, вступающий в город: «Караван-баши... здороваются с каждым по-братски, принимая руку его в обе ладони свои и кланяясь. С близкими и старыми знакомыми... взявшись за обе руки и прижимая, взаимно и поочередно, руку друг друга к сердцу своему... Верблюды идут в... сарай... по слову «чок!» припадают, ложатся».

В начале нынешнего века один из членов Оренбургской ученой комиссии, оценивая труды Даля, пришел к следующему выводу: «Таким образом, в Оренбурге Даль является перед нами не только... чиновником и плодовитым писателем, но еще филологом, этнографом, археологом, историком, статистиком, ботаником и натуралистом... Исследователи Оренбургского края до сих пор пользуются трудами Даля как первоисточником...»

Разумеется, после избрания членом-корреспондентом императорской Российской академии Даль не бросил своего любимого дела — писательского труда. В характере Владимира Ивановича сочетались любовь к людям и любознательность писателя, и это определяло его интересы. Немалую роль играла природная одаренность Даля. Там, где человеку средних способностей требовались месяцы, он мог быстро вникнуть в самую суть дела и, словно и не подозревая о трудностях, находил верное решение вопроса. Своих сослуживцев Даль поражал непостижимой для канцеляристов организованностью. Он любил повторять украинскую поговорку: «Скупой два раза платит, ленивый два раза делает».

Однажды в кабинет Даля вошла немолодая женщина с красивым, усталым лицом. Далю доложили, что это Анна Александровна Соколова, жена отставного майора, местного помещика.

— Чем могу служить? — вежливо осведомился Владимир Иванович.

— Муж мой... — начала несчастная женщина и умолкла. Слезы выступили у нее на глазах, она вы-

ждала минуту, достала из ридикуля бумажку, словно для того, чтобы прочесть ее, и продолжала: — Муж мой майор Лев Васильевич Соколов получил в Бородинском сражении неизлечимые раны, но оправился совсем... а теперь вот...

Ей было трудно говорить, она взглянула на Даля, увидела, что он внимательно слушает, и снова, взяв себя в руки, продолжала:

— Сделалась у Льва Васильевича, у мужа моего, опухоль под кожей у самой кисти руки, и никто из местных врачей не берется его оперировать. А до Петербурга он сейчас не доедет...— Она с мольбой посмотрела в глаза Владимиру Ивановичу.— Вот если бы вы прооперировали Льва Васильевича, он бы и выздоровел.

— Анна Александровна, я не практикую,— начал было Даль, но увидел такое отчаяние в лице несчастной женщины, что продолжал не столь категорическим тоном: — Заглазно ничего вам сказать не могу. Надо сначала осмотреть больного.

— Сделайте милость, Владимир Иванович,— попросила его Анна Александровна, почувствовав, что задела какую-то струнку в душе собеседника.

— Однако обещать ничего не могу,— пытался было вставить Даль.

— И не говорите, Владимир Иванович...— перебила его майорша,— на вас вся надежда. Христом-богом молю, не оставьте моего Льва Васильевича. Ведь он герой Бородина.

Даль навестил своего неожиданного пациента в тот же день. Он был весь изрублен, старый вояка: и грудь, и плечо, и руки. По этим шрамам, полученным в знаменитом Бородинском сражении почти четверть века назад, было видно, что Лев Васильевич был храбрейшим из храбрых. А тут вдруг разнервничался:

— Не хочу никаких операций, жена. Дай ты мне помереть спокойно, знать, пришел мой черед.

Анна Александровна в слезы. Всхлипывая и причитая, она умоляет мужа послушаться ее хоть раз в жизни.

— Обо мне не думаешь, о дочерях подумай! Что я без тебя буду с ними делать?

Тут вмешался Егор Петрович Евдокимов, дядя Льва Васильевича, который до того молча сидел в углу.

— Стыдился бы говорить, что насмерть стоял под Бородином, племянник! — в сердцах выпалил он. — Трус ты стал.

Майор покраснел от гнева:

— Это я трус?

— Ты.

— Я согласен на операцию, доктор. Только пусть вот этот господин штатский непременно присутствует. Если у него хватит храбрости, конечно.

— Хватит.

В гостиной — настороженный взгляд хозяйки, которая вышла проводить доктора.

— Как он, доктор?

— Бог милостив, Анна Александровна. Все, что в моих силах, я сделаю.

— Тяжелая будет операция?

— Он очень слаб. Но у меня нет оснований опасаться за его жизнь. Немножко подлечим больного и через неделю, в следующую субботу, прооперируем.

Как ни упрашивала Даля любезная хозяйка остаться отобедать, он ушел.

Владимир Иванович понимал, что его уверенность в исходе операции станет известна Льву Васильевичу. Настроение больного имело большое значение, это он знал по опыту. Но в душе-то врач понимал, что бедняга майор долго не протянет. Эти тающие на глазах больные перестают усваивать пищу и погибают в страшных мучениях: опухоль высасывает все соки. Отнять руку, даст бог, и поправится человек, и проживет год или два.

Операция прошла блестяще. Владимир Иванович боялся болевого шока, но, к счастью, все обошлось благополучно. Герой Бородина оказался мужественным до конца, ни стонов, ни криков, раза два только крикнул и смертельно побледнел.

— Ну что,— спросил больной Даля, когда тот начал накладывать швы,— хорошо я перенес операцию?

— Хорошо, Лев Васильевич.

— Вы скажите это вот ему,— с трудом проговорил майор, сделав ударение на последнем слове и покосившись в сторону Евдокимова.

Через неделю Владимир Иванович вывел своего пациента на прогулку. Старому майору не верилось, что он идет сам: только пустой рукав напоминал о тяжелой болезни.

Лев Васильевич был в затруднении: как отблагодарить доктора? Он знал, что денег Даль не берет. А тут кто-то сказал Соколову, что Владимир Иванович завзятый охотник, и тогда пациент отправил своему спасителю кровного жеребца.

Даль пришел в тот же день. Его трудно было узнать: злой, надменный.

— Милостивый государь,— сказал он Соколову,— я буду вам очень признателен, если вы впредь не станете себя утруждать подачками. Жеребца вашего я отправил обратно-с. Честь имею кланяться.— И вышел.

Лев Васильевич чуть не заплакал с досады.

— За что он меня так, Аннушка? Я к нему с чистым сердцем, а он...

— Успокойся, Лев Васильевич, бог с ним. Ну, нашло на него. Молодой еще, глупый.

— Обидел он меня, ох как обидел!..

Майор долго не мог успокоиться, помрачнел, осунулся. Дня через два сказал жене:

— Ничего, друг мой Аннушка, не будем этого помнить.

Даль всегда был очень резким, когда задевали его самолюбие. Вопрос лекарских доходов волновал его еще в годы учения в Дерпте. Он презирал и ненавидел врачей, обирающих больных. Было что-то фальшивое и в сочувствии такого доктора, и в его стремлении почаще навещать богатого пациента. «Вот бы лечить так, чтобы не брать у больного денег»,— мечтал Владимир Иванович. А несчастный майор, разумеется, ничего этого не знал.

Много лет спустя Даль рассказал эту историю своим дочерям. Стала она известна и дочери майора Кате, и та до самой смерти переживала, что не успела объяснить отцу истинной причины резкости Даля. Катя узнала обо всем случившемся, когда вернулась

из Петербурга, где воспитывалась в институте благородных девиц.

По письмам из Оренбурга она знала, что в семье появился спаситель. По ее просьбе ей описали чудесного доктора, и вот наконец настал день, когда она его впервые увидела. Катя сидела с бабушкой, Екатериной Семеновной, в гостиной, когда отворилась дверь, и в залитой солнцем комнате она увидела высокого человека.

— Вот, Катя, это Владимир Иванович Даль,— с любовью и нежностью проговорила бабушка.— Он спас твоего отца.

Катя полюбила его сразу и на всю жизнь. А Даль вначале не обратил на нее внимания. В это время Юлия родила второго сына, но он вскоре умер. Здоровье жены окончательно расстроилось, часто шла горлом кровь: обострился старый недуг, из-за которого ей в свое время врачи советовали покинуть Петербург.

Владимир Иванович брал сына и или уходил с ним на берег Урала, или отправлялся на крепостной вал, выложенный красноватым камнем. Мальчик особенно любил смотреть, как движутся по степи караваны. Медленно тянется бесконечная вереница верблюдов. Можно разглядеть погонщиков в островерхих киргизских шапках, вьюки на спинах животных и вьющееся за караваном облако пыли.

Понемногу жена успокоилась. 22 февраля 1838 года она родила девочку, но слегла совсем. Юлия говорила, что скоро умрет. Вскоре ее не стало.

Владимир Иванович был оглушен несчастьем. Это казалось чудовищным: двадцатидвухлетняя красавица в белом гробу, крик младенца и испуганные серые глаза трехлетнего сына...

Глядя на него, мать качала головой: никогда теперь не женится Володя, так и умрет вдовцом. С утра что-то пишет, потом — на службу, потом снова сидит до самой ночи.

Прошел год. Даль все тосковал о жене. И когда представилась возможность идти в поход, не отказывался. Рыцарь, поэт, путешественник, исследователь, как же ему было не стремиться к неизведанным странам?

Хивинский поход

Подготовка к походу заключалась в основном в строительстве двух укреплений на пути следования отряда. Одно из них было построено на реке Эмбе, в пятистах верстах от Оренбурга: теплые землянки, кухня, крепостная стена для защиты от врагов. Другое, Ак-Булак, в ста семидесяти верстах от первого. В обоих укреплениях находились гарнизоны для их охраны. Укрепления были построены весной 1839 года, а поход начался глубокой осенью.

На рассвете 14 ноября шеститысячное войско двинулось в путь. Выступали четырьмя колоннами, по одной в день. Даль выезжал с последней, четвертой колонной, в которой находился командующий походом генерал В. А. Перовский. Было еще совсем темно, когда Владимир Иванович, поцеловав спящих детей и попрощавшись с матерью, вышел на крыльцо. Унылый бесконечный дождь лил вторые сутки. Вдруг появилась мать — она вынесла оленью шубу, подбитую лисьим мехом.

— Володенька, это тебя спасет от мороза!

Отказать ей он не мог, скрепя сердце взял доху. Вскочил в седло и направился к караван-сараю.

Командующий и ученые, сопровождавшие экспедицию, выехали последними.

На третий день пути проливные дожди сменились тридцатиградусными морозами. Владимир Иванович кутался в доху и с благодарностью вспоминал мать. Вот он сидит на корточках в крошечной палатке — четыре шага в диаметре — и пишет. В поход Даль взял необычную снимочную тетрадь, дающую «два подлинника вдруг». В ней очень удобно писать письма: верхний лист он отсылает адресату, а нижний, на котором сухими чернилами отпечатан тот же текст, остается у него вместо дневника.

«Река Илек, в Зауральской степи, 1839 г. Ноября 25-го.

Не ждали вы от меня письма и всего менее, может, думали вечером 25-го ноября, что я сижу почти на открытом воздухе, в кошомной кибитке, при маленьком огоньке, в кругу шести добрых товарищей, на морозе,

и пишу к вам. Мы вышли в поход, идем войною и грозою на Хиву, эту дерзкую и вероломную соседку, как названа она была в приказе по корпусу. Путь далек, 1500 верст, идем зимою, и третьего дня было 29° морозу; весь отряд верхом, все на конях, выюки на верблюдах, их до 12 тысяч...»

Далее он рассказывает о своих друзьях, начав со Штернберга, который, пробыв в походе три дня, сбегал:

«Он едет в Питер и потом, вероятно, в Италию, где, говорят, несколько теплее... Позвольте отогреть пальцы на огне... Загляните — и вы увидите на решетке кибитки черкесскую шашку, испанский толеданский палаш, казачью саблю, персидский, индейский, турецкий кинжал... Позвольте мне теперь повернуться на другой бок: у меня спереди покров, а сзади рождество, т. е. тут огонь, а там мороз...»

Со страниц далеких писем не сходит и молодеватый Чихачев, изъездивший весь свет, но еще не побывавший в Хиве, и естествоиспытатель Леман, и доктор Мобиц, и путешественник Ханыков, и мулла, до того воинственный, что он, даже ложась спать, не снимает сабли своей...

Тихонько рычат верблюды, вдали перекликаются часовые, и по всей бесконечной степи виднеются круглые маленькие кибитки. Подъем в три часа ночи. Суматоха начинается невообразимая: шум, беготня, верблюды кричат, кони ржут, по цепи вызывают к начальству: передавай! — и вот уже весь лагерь оглашается именем того, кого ищут, с прибавлением, к кому явиться. Наспех похлебав жидкой кашицы и выпив чаю, выступают: в шесть часов барабан бьет сбор.

В первые дни похода Даль каждое утро наблюдал красочное зрелище: объезд Перовским всего войска, растянувшегося на восемь верст. Генерал на белой лошади в сопровождении казака лихо гарцевал вдоль линии, даря улыбки солдатам и офицерам.

Но армия двигалась с трудом. Солдат заблаговременно не обучили навьючивать верблюдов, и они перекалечили массу животных, потому что неправильно притороченные тюки до костей растирали спины верблюдам.

27 ноября поднялся невиданной силы буран при тридцатиградусном морозе. В эту ночь вышли из строя все часовые: у них были отморожены носы и ноги. «Отмороженные части пришлось ампутировать в холодных войлочных кибитках, на морозе», — не изменяя эпически спокойного тона, говорит участник Хивинского похода.

Верблюды увязали в глубоком снегу. Этот снег лишил их корма. Теперь приходилось разгребать его лопатами, чтобы дорыться до чахлой растительности.

Надо было как можно скорее добраться до Эмбенского укрепления, а тяжелый обоз еще более затруднял продвижение армии: везли осадные орудия, тараны и артиллерию, везли фейерверки, каких не видавала древняя Хива, понтонные лодки, уральские рыболовные челны, поставленные на колеса «для предполагаемого на обратном пути обозрения Аральского моря». Везли даже походную церковь, радуясь тому, что в этих диких степях благовест раздастся впервые от сотворения мира.

Оренбургские степи еще не видели войска столь многочисленного, как экспедиция генерала Перовского «Шесть часов. Бьют зорю. Снег хрустит за кибиткой. Буран стихает. Я выглянул за двери и велел ставить чай, и пожалел, что Штернберга нет с нами. Лунный свет сверху, зарево огней снизу, а в середине лаворевая тьма», — пишет Даль в своей снимочной тетради.

Ему приходилось нелегко, этому войску. Больных становилось все больше и больше. Цинга, дизентерия, сибирская язва, воспаление легких уносили сотни людей. Все медленнее и медленнее двигалась по степи колонна, все больше безымянных холмиков-могил оставалось на ее пути.

В первых числах декабря грянули сорокаградусные морозы. «Все поняли, что наступает гибель; но никто еще не имел малодушия высказать это вслух», — пишет один из участников похода. Так велико у русского солдата чувство долга и презрения к опасности.

Кончилось топливо, но в кибитке Даля потрескивает маленький костер: ученые жгут футляры от дорожных приборов, и при слабом свете костра Владимир Иванович по очереди обыгрывает в шахматы всех

желающих. Перовский разрешил жечь лодки, факелы и канаты, чтобы накормить всех горячей пищей. Даля пугало крайнее истощение солдат, им теперь труден был каждый шаг.

21 декабря, на тридцать четвертый день, добрались до Эмбы. Эмбенское укрепление было построено полгода назад специально для отдыха отряда, туда были завезены продукты.

Треть пути, пятьсот верст, была пройдена. Приятель Даля астроном Васильев определил широту и долготу Эмбенского укрепления: три с половиной градуса южнее Оренбурга и два с половиной градуса восточнее. Армия получила свежее испеченный душистый хлеб, горячий обед, и солдаты сразу повеселели.

Через два дня удалой уральский охотник Максим Назаров уговорил Даля ехать на рассвете на кабанов. Встав за полтора часа до восхода солнца, Владимир Иванович вышел с холоду на холод и направился с фонарем к термометру, висящему на палатке Перовского. «Ого! 26 градусов по Реомюру». Даль от охоты отказался, а упрямый уралец не отступил. По мнению Даля, охота была удачная: Назаров не видел кабана и вернулся цел и невредим.

Владимир Иванович по-прежнему шлет друзьям подробные письма. О небывалых снегопадах, каких отродясь не видывали местные кочевники, о расстреле часового уснувшего на посту, о болезнях и операциях, обо всем, что происходило в затеряншемся среди бескрайних степей отряде.

Пробыв в Эмбенском укреплении две недели, отправились на Ак-Булак, в ста семидесяти верстах от Эмбы. Это было второе построенное для отдыха отряда укрепление, значительно меньше первого. Вперед был послан небольшой отряд в двести пятьдесят человек. Не успел он пройти и двадцати верст, как налетел буран. В крошечной мгле двигаться было невозможно. Отряд стал. Еще не стих снежный ураган, как внезапно откуда ни возьмись две тысячи всадников на крепких степных лошадях. Они мчались, как туча, и от маленького русского отряда не осталось бы и следа, если бы не барабанщик. Заметив врага, он ударил тревогу. От этого неслыханного треска лошади кочевников на всем скаку круто свернули в сторону.

Однако враги все-таки отбили тридцать верблюдов с продовольствием. Кочевники были так голодны, что принялись за еду тут же, на виду у русских. Пять раз атаковали они русский отряд, и пять раз были отбиты с большими для себя потерями. Наконец враги отступили, и героический отряд продолжал свой путь. За ним тянулось войско.

На пятнадцатый день заметили невысокую заснеженную стену и за нею бугры и холмики: укрепление Ак-Булак. Армия вступила в крепость, «похожую на развернутую могилу». В Ак-Булаке были больны все, место для укрепления было выбрано неудачно: вода оказалась непригодной для питья.

Стоянка в Ак-Булаке была непродолжительна, но очень интересна для Даля: он услышал народную кайсацкую поэму о Чур-батыре. Владимира Ивановича, неплохо знавшего язык кайсаков, поразило сходство этой поэмы с русскими богатырскими сказками. Даль записал в своей тетради: «Что такое народная поэзия? Откуда берется это безотчетное стремление нескольких поколений к одному призраку, и каким образом, наконец, то, что думали и чувствовали в продолжение десятков или сотен лет целые народы, племена и поколения, оживает в слове, воплощается в слове одного и снова развивается в толпе и делается общим достоянием народа... Для меня это первый залог нашего бессмертия». Даль решил непременно записать поэму и перевести ее, если удастся добраться домой подобру-поздорову.

1 февраля 1840 года Перовский подписал приказ о возвращении в Оренбург, от которого отошли на шестьсот семьдесят верст. Обратный путь был еще труднее. Первый теплый день выдался 9 февраля. Измученные люди увидели солнце, которое грело по-весеннему, было всего восемь градусов мороза. Но часа через два вдруг поднялся резкий, порывистый ветер, он сбивал с ног. Даль не успел добраться до верблюдов и достать из тюков палатку, его спасла кожа на лисьем меху. Весь день и всю ночь ветер выл с такой силой, что нельзя было поднять головы. Мороз упал до тридцати пяти градусов. К утру ураган стих. Даль обошел стоянку и, к ужасу своему, увидел много замерзших людей. Никогда еще не приходилось отряду

хоронить такое количество солдат. Все понимали: продержись буран еще день, и от экспедиции не осталось бы ни единой живой души.

17 февраля жалкие остатки колонны вернулись на Эмбу. Помощь к ним не дошла, ибо новая партия верблюдов досталась врагам вскоре после выхода из Оренбурга, а десять парусных судов, вышедших из Астрахани на Ново-Александровск, из-за сильного встречного ветра вернулись обратно. Страшно было смотреть на эту армию, разбитую морозами и болезнями.

Началась весна. Глубокой ночью 13 апреля тарантас Перовского въехал в Оренбург. Через несколько дней начали возвращаться войска. «Уцелевшие радостно встретились с семьями и друзьями своими, а перенесшие в себе неисцелимую немочь цинги отправились помирать по больницам...» Этими словами заканчиваются письма Даля из Хивинского похода.

Экспедиция потерпела полный крах: более половины отряда погибло. Однако слух о ней помог четверемстам шестнадцати русским пленникам хивинского хана вернуться в Оренбург. Правитель Хивы отпустил их по настоянию живших в Герате англичан, которых настолько волновали русско-хивинские отношения, что они даже не поскупились взять на себя расходы по отправке русских пленных.

У Владимира Ивановича сжалось сердце, когда он подошел к своему дому. Постучал. Дверь открыла незнакомая ему нянька, поздоровалась с барином. Он угрюмо сбросил шинель. И вдруг — частый топот маленьких ног и радостный крик:

— Папа! Папа!

Высокий худенький мальчик бросился ему на шею, а следом за ним в сенях появилась — господи, неужели это Юля? — неповоротливая, неуклюжая девочка лет двух. Владимир Иванович опустил Арслана на пол и протянул руки к дочери:

— Иди ко мне, Юленька!

Она отрицательно покачала головой и уткнулась няньке в колени. Та попыталась передать ее отцу, но девочка отчаянно вцепилась в ее одежду. Вошла бабушка и сразу захлопотала, засуетилась. Арслан по пятам ходил за отцом, а маленькая упряmica сначала

все пыталась увести его от «дяди», но к концу дня оба они уже сидели на коленях у Владимира Ивановича.

Начались ежедневные служебные дела, все пошло своим чередом. Василий Алексеевич Перовский собирался оставить Оренбург, он понимал, что придворные интриганы воспользуются неудачным походом, чтобы отстранить его от должности военного губернатора. Кроме того, гибель солдат так подействовала на Перовского, что он едва не слез с горя, по ему предстояла поездка в столицу и неминуемое столкновение с враждебной ему могущественной группой Бенкендорфа — Нессельроде — Клейнмихеля, к которым примыкал не скрывающий своей ненависти к Перовскому всемогущий военный министр Чернышов.

Василий Алексеевич приехал в столицу и, как положено, доложил о себе министру. Со дня на день он ждал вызова к царю. Прошло более двух месяцев, как Перовский находился в Петербурге, похоже было, что его так и не допустят к императору. Оставалось разве что обратиться на себя внимание государя каким-нибудь экстраординарным поступком. Перовский был старым боевым генералом. И он решился. На смотре, когда генералам полагалось стоять навтыжку, он отошел от них на несколько шагов и скрестил руки на груди.

Император нахмурился:

— Кто это?

— Генерал Перовский, ваше величество,— ответил кто-то из свиты.

Они ожидали грозы, но у царя все зависело от настроения. Государь был в отличном расположении духа. Он с улыбкой подошел к Перовскому и обнял его, как старого знакомого.

К вечеру о монаршей милости стало известно в придворных кругах, и перед Василием Алексеевичем расшаркивались люди, накануне совсем его не замечавшие. Они занскивающе заглядывали ему в глаза, спрашивались о здоровье и этим лицемерным участием окончательно его доконали: у Перовского начались нервные припадки, следствие контузии. Рассказав царю о причине неудачи похода — небывало ранней и суровой зиме, генерал просил наград для своих солдат и офицеров. Эта его просьба была удовлетворена. Но

когда он представил проект нового похода на Хиву, ему пришлось выслушать отказ. И прошло долгих тринадцать лет, прежде чем Перовскому удалось реабилитировать себя как полководца: в 1853 году он вновь предпринял поход на Хиву и присоединил к владениям России крепость Ак-Мечеть, названную в его честь форт Перовский.

Но мы забежали вперед. Итак, 1840 год. Перовский добился наград для всех участников похода. Владимиру Ивановичу Далю, в числе других, была пожалована тысяча десятин земли. Но он собирался навсегда распрощаться с Оренбургом.

Перед самым его отъездом из Оренбурга в жизни Даля произошло еще одно серьезное событие. 12 июля 1840 года в селе Никольском Оренбургского уезда коллежский асессор Даль обвенчался с девицей Екатериной Соколовой. Владимиру Ивановичу было тридцать девять лет, он был по-прежнему высок, строен и широкоплеч, а густые светло-русые волосы молодили его красивое, умное лицо. Катя была на восемнадцать лет моложе своего жениха.

Вскоре после свадьбы Даль с женой, матерью и двумя детьми уехал в столицу, даже не удосужившись оформить в установленном порядке пожалованную ему тысячу десятин земли в Оренбургской губернии. «Какой из меня помещик, — отмахивался он. — Лишние заботы старят. Есть и поинтереснее дела».

«Живая статистика России»

Одна только гласность может исцелить нас от гнусных пороков лжи, обмана и взяточничества и от обычая зажимать обиженному рот и доносить, что все благополучно.

*(Даль. Письмо к издателю
А. П. Кошелеву)*

В журнале «Отечественные записки» за 1839 год была напечатана первая большая повесть Даля, носящая недвусмысленный заголовок «Бедовик». Герой повести славный, скромный, трудолюбивый человек, но его всю жизнь преследовала «какая-то невидимая

вражья сила... Есть же такие бедовики-неудахи на свете!» О таких бедолагах в народе говорят: «Одна корка, и той подавился». Повесть эта вызвала восторженный отзыв Белинского: она содержит «так много человечности, доброты, юмора, знания человеческого и, преимущественно, русского сердца... Характер героя ее — чудо».

Ко времени отъезда из Оренбурга у Владимира Ивановича были начаты две автобиографические повести и закончена целая серия очерков и рассказов об этом крае. Несомненно, Даль влекло в столицу желание быть ближе к литературному миру. Устроиться в Петербурге ему помог Василий Алексеевич Перовский, он попросил своего брата Льва дать место Далю в его министерстве (Лев Алексеевич Перовский незадолго до описываемых событий был назначен министром внутренних дел).

Владимир Иванович Даль вернулся в Петербург летом 1841 года, а уже 21 сентября он был определен начальником особой канцелярии министерства внутренних дел и получил казенную квартиру рядом с Александринским театром, в большом сером доме, который стоит до сих пор.

По свидетельству современника, близко знакомого с министерскими порядками, «Даль был, бесспорно, первый человек в министерстве (товарища своего, Ивана Григорьевича Снявина, Перовский не жаловал) и по безусловному доверию министра, и по безупречной нравственности, и по хорошей известности в мире общественности, науки, литературы».

Медицинское образование очень пригодилось Владимиру Ивановичу на его новом посту: он знал нужды больниц и, можно без преувеличения сказать, сделал все, что в те времена можно было сделать, для улучшения их работы. То же можно сказать обо всей его административной деятельности, принесшей немалую пользу городу. Не надо и повторять, что в те годы это было трудно сделать. Все это не было забыто; спустя более четверти века петербургская газета «Голос» писала: «Петербург должен быть особенно благодарен Далю, который так много сделал для больниц и учебных заведений столицы».

Незаметно для себя Даль в начале сороковых го-

дов стал уже настолько знаменит, что к нему часто обращались совершенно незнакомые люди. Василий Матвеевич Лазаревский, литератор прошлого века, пишет в своих воспоминаниях, что в ранней молодости, очутившись один в столице, без работы, без средств и без связей, он обратился к Далю. Молодой человек просил помощи, совета, и, хотя его послание вышло, в общем, довольно бестолковое, Владимир Иванович ответил юноше письмом, которое заканчивалось словами: «Я бы желал быть вам полезным». Даль пригласил его к себе, но на этот раз Лазаревский не пришел к Казаку Луганскому. Он обратился к Владимиру Ивановичу вторично, и несколько месяцев спустя Даль взял его к себе в канцелярию.

Василий Матвеевич оставил воспоминания, которые раскрывают еще одну, пожалуй наиболее значительную, сторону деятельности особой канцелярии под руководством Даля.

Рабочий день начинался в девять часов утра и заканчивался в три. «За редким исключением,— говорится в этих воспоминаниях,— Владимир Иванович все это время посвящал лексикографическим изысканиям». Итак, в Санкт-Петербурге Даль развернул работу по сбору «местных слов» в масштабах всей империи. На места направлялись запросы, и в ответ в адрес особой канцелярии министерства внутренних дел шли толстые пакеты от губернских чиновников, учителей, директоров гимназий, врачей, которые охотно откликались на просьбу лексикографа.

Но корреспонденты Даля писали на листах разного формата, подчас непонятным почерком, поэтому в особой канцелярии чиновники разбирали эти записи по алфавиту и отдавали писарям, которые переписывали все на длинные ленты бумаги — Даль называл их «полосами»,— скрепляли суровой ниткой и укладывали в коробки по губерниям. Чаще всего все писцы были заняты перепиской слов, если же у них выдавалось свободное время, им давали пословицы, сказки и поверья.

Разгар рабочего дня. В канцелярии появляется пожилой мужчина в старой солдатской шинели.

— Что скажешь, служивый? — обращается к нему писарь.

— Да вот, сказки. Говорят, их благородные интересуются,— отвечает солдат, доставая целую кипу бумаг.

И вот через несколько дней Лазаревский получает от Даля записку:

«Вчера был у меня сказочник мой, солдат Сафонов, и сказывал, что отдал 13 июня в канцелярию охапку сказок».

Это надо было понимать так: начальник особой канцелярии просит переписать сказки. «Самый воздух в канцелярии до того был насыщен русской филологией, что я скоро серьезно втянулся в это дело»,— пишет Лазаревский. Словом, здесь царила творческая атмосфера. Однако, как ни велика была помощь чиновников и писцов, они выполняли только техническую работу, которую нельзя было сравнить с деятельностью самого Даля.

Известный писатель, крупный чиновник, член-корреспондент Российской императорской академии, Владимир Иванович Даль стал видной фигурой в Санкт-Петербурге. Он мог сделать блестящую карьеру государственного деятеля, но отказался от нее во имя любимого дела.

Всевозможные просители обивали порог его дома, да только швейцару было не велено пускать искателей наград и чинов. Владимир Иванович, по выражению П. И. Мельникова, был для них невидимкой. Он принимал лишь тех, кто обращался к нему за помощью, как Василий Матвеевич Лазаревский, или приходил по делу: с «запасами слов», со сказками. А по четвергам, как принято было тогда в столице, у Даля собирались друзья и знакомые.

Далевские «четверги» ничего общего не имели с традиционными вечерами у знати. Там сходились позлословить да поиграть в карты. К Владимиру Ивановичу навещались люди ученые, все больше члены Императорской академии наук: профессор Медико-хирургической академии Николай Иванович Пирогов, натуралист, основатель эмбриологии Карл Максимович Бэр, исследователь Новой Земли и Чукотки, мореплаватель и географ адмирал Федор Петрович Литке, Фердинанд Петрович Врангель, который нанес на карту побережье Сибири от Индигирки до Колючинской

губы и определил положение острова, впоследствии названного его именем. Бывали у Даля и старые друзья: Владимир Федорович Одоевский, Василий Андреевич Жуковский, Николай Михайлович Языков.

На одном из далевских «четвергов» возникла мысль создать Русское географическое общество, существующее и поныне. Прошение о создании Общества подписало семнадцать человек, и среди них Даль, так что Владимир Иванович считается одним из его учредителей.

Заглядывали к нему писатели, артисты, художники, а также товарищи по Хивинскому походу: Чихачев, Ханыков, Леман, Штернберг. Штернберг три года назад раньше всех понял безнадежность Хивинского похода и, пройдя с колонной три дня, вернулся в Оренбург. Однажды на далевский «четверг» он привел друга.

— Прошу любить и жаловать. Студент императорской Академии художеств Тарас Григорьевич Шевченко,— представил Штернберг.

Шевченко не мог не понравиться с первого взгляда: было что-то чрезвычайно привлекательное в его умных и кротких карих глазах. Даль великолепно говорил по-украински, и это привело в восторг Тараса Григорьевича, для которого «ридна мова» в холодном Петербурге была лучше всякой музыки.

Бывал у Даля и наезжавший иногда в столицу актер Михаил Семенович Щепкин. Он любил далевские «четверги» за то, что они не были похожи на претенциозные приемы в великосветских салонах.

Таким образом, в доме Даля собирался цвет петербургской интеллигенции. «Все повиднее, посolidнее из петербургского и приезжего миров обыкновенно захаживало к Далю»,— пишет Василий Матвеевич Лазаревский в своих воспоминаниях.

В Петербурге Даль был писателем пока еще в большей степени, чем лексикографом. Можно сказать, что эти два основных занятия его жизни шли тогда параллельно.

Но была еще служба, к тому же нелегкая, и в том, что Владимир Иванович и с нею справлялся весьма успешно, сказались его организаторские способности. Известное дело: каков поп, таков и приход. У Даля чи-

новники были приучены работать на совесть. Не было обычного для канцелярий тоскливого начала рабочего дня, когда спозаранок вид у чиновников такой, словно они уже отсидели за своей перепиской десять часов кряду. Тон, настроение задавал Даль. Его шаги не спутаешь с другими: так и чеканит по мраморной лестнице. «Если уж ты вышел из дому, то и ходи по-человечески, и работай как следует,—говорил он подчиненным.— А не можешь, значит, ты болен, тебе лечиться надо». Когда гладко выбритый, аккуратный, подтянутый начальник входил молодой походкой в свою канцелярию и приветливо улыбался писцам и чиновникам, веселое «Здравия желаем» как бы задавало нужный ритм всему рабочему дню.

В Дале было что-то невыразимо добродушное, веселое и уютное. Его любили, для него старались. Сам Даль работал с увлечением и заражал окружающих серьезным отношением к труду. Люди, служившие в его канцелярии, единодушно утверждают, что именно Владимир Иванович научил их работать.

Единственное, что было плохо,— мало оставалось времени для творчества. Писал он в часы, отведенные для отдыха, и фактически считал это отдыхом.

Но, как бы ни был занят Даль, у него всегда находилось время для своего старого университетского товарища Николая Ивановича Пирогова. Знаменитый хирург пришел к начальнику особой канцелярии, как только тот приехал в столицу. Друзья обнялись: высоченный Владимир и маленький Николай. Засиделись допоздна: столько нужно было друг другу рассказать. Даль говорил о последних часах Пушкина, о смерти жены, о белых холмиках в Оренбургской степи — обо всем сразу, как это обычно бывает при встрече старых друзей.

Николай Иванович молча слушал, он умел слушать, потом вдруг, запинаясь и мучительно краснея, признался другу, что любит дочь Мойера Катю. Даль ответил, что эта великая тайна ему давно известна. Пирогов покраснел еще больше.

— Да, но тебе неизвестно, что я сделал ей предложение и получил отказ.

Он достал письмо и молча протянул его Дале. Владимир Иванович узнал почерк Мойера. Стал чи-

тать, и им овладело бешенство. Иоганн Мойер не постеснялся заявить своему любимому ученику, что «он слаб и потому хочет, чтобы зять его служил ему опорой». Пирогов же не может быть ему опорой, ибо у них разные цели.

— «Опора» ему нужна! — зло усмехнулся Даль.— Да будь ты хоть семидесяти лет, но с большим состоянием, отдал бы, прохвост, дочку, тотчас бы отдал! Вот какая ему нужна опора! Да и Катенька хороша! Выкинь ты их из головы, Николай! Пустое!

Впоследствии история Катеньки Мойер и Пирогова легла в основу рассказа Даля «Братец и сестрица». Автор взял аналогичную ситуацию, но сюжет построил иначе. Тут та же «запретная» любовь: у героя рассказа, вдовца, одна дочь, он берет в дом мальчика-сироту, который без памяти влюбляется в свою названую сестру. Бабушка, ее зовут Мария Афанасьевна, против этой любви. Все в доме несчастны... «Я чаяла богатого, чаяла родословного, чаяла знатного»,— причитает старуха. «А я... доброго, благородного, молодого, здорового, умного, работающего»,— отвечает ей зять. В отличие от тещи Мойера Екатерины Афанасьевны героиня рассказа Мария Афанасьевна благословила молодых, и ей довелось увидеть тихое, безмятежное счастье юной четы.

Только много лет спустя Даль понял, что был несправедлив по отношению к Кате Мойер. Она не любила Николая Пирогова и не понимала его. Кроме того, она была обещана сыну Авдотьи Петровны Елагинной, за которого и вышла замуж в 1846 году.

Как мы уже говорили, в часы досуга Даль любил заниматься «для души» каким-нибудь не лишним смыслом делом.

То он резчик по дереву, то столяр, то переплетчик, да не какой-нибудь, а первоклассный. Например, однажды Владимир Иванович соорудил высокий табурет на трех ножках, с удобным сиденьем, обтянутым кожей. На этом «тычке», как он его называл, Даль сидел за токарным станком. «Тычок» был такой ладный да удобный, что его потом «похитил» богач Аксаков, и дочери Даля Ольге стоило немалых трудов заполучить эту уникальную вещь обратно. Кстати, «тычок» цел до сих пор: он перешел по наследству к

правнучке писателя Анастасии Сергеевны Ляпуновой и находится в Ленинграде.

У Владимира Ивановича было правило: работать в гостиной, не запираясь в своем кабинете. Рядом возились дети, но ему это не мешало. Когда ребята немного подросли, в часы, отведенные для занятий, их усаживали с тетрадками за стол отца.

Даль сам был неплохим педагогом и потому не признавал гувернанток и гувернеров. Он считал, что вначале ребенок должен овладеть родным языком, и только потом, когда ему будет семь-восемь лет, можно приступать к изучению иностранного. Очень полезными казались ему переводы: вырабатывается стиль, утверждал Даль, ученик постигает малейшие оттенки значения того или иного слова, учится строить простые, понятные фразы. Впрочем, переводчицами дочери Владимира Ивановича стали много лет спустя (переведенные ими книги выходили в издательстве Вольфа). Мы забежали вперед: речь здесь идет о трех младших дочерях писателя.

У Даля был свой метод обучения русскому языку: его дети вели дневники, совсем, как в те далекие годы, когда под руководством действительного члена Российской академии Сергея Александровича Шихматова гардемарин Владимир Даль делал свои первые записи в толстой тетради с плотной голубой бумагой. Владимир Иванович не забыл своего учителя и сам пользовался его методом преподавания. Он невероятно прост, этот метод: ни розог, ни нудных нравучений, только пример. Детям разрешили сидеть за отцовским столом — великая честь, как тут не постараться, — сын и дочь прилежно склонились над заданием: отец строг и ничего не разрешает делать кое-как. Екатерина Львовна у себя, она не выносит скрипа перьев и шороха бумаги, у нее от этого начинается мигрень. А Владимир Иванович, наоборот, любит, когда дети рядом. Иногда они даже обращаются к нему с каким-нибудь вопросом, и он отвечает. Однако, если отец молчит, ребята не повторяют вопрос, а ждут, пока он кончит писать. Так и сидят все трое за одним столом, для них это и труд и удовольствие одновременно. Выросли, никому во всю жизнь не приходила в голову мысль, что может быть состояние, когда «не-

чего делать». Да разве это возможно, если вокруг столько интересного!

При всей своей занятости Владимир Иванович не был затворником. Он не завсегда таёй кулис, но любит театр, знает многих актеров, знаком с драматургами. Однажды с Далем произошел случай, о котором он рассказал своим дочерям, когда они стали взрослыми. Задержавшись в канцелярии, Владимир Иванович опаздывал на премьеру в Марининский театр, хотя жил буквально рядом. Второпях оделся и пустился бегом с третьего этажа, перескакивая через ступени. Успел вовремя. Занял место в партере, отдышался, расклянялся со знакомыми. В антракте вышел в фойе и вдруг заметил, что все на него смотрят. Оглядел себя — и обомлел. На правой доле зияла дыра. Это он по ошибке надел сюртук Александра Сергеевича Пушкина, пробитый пулей Дантеса, тот самый, который после похорон подарила ему Наталья Николаевна и который он хранил все эти годы в своем шкафу. Даль ушел из театра так же спешно, как и появился.

Несмотря на видное положение в обществе, Владимир Иванович оставался таким же простым и внимательным человеком, как и раньше. Хочется подробнее остановиться на роли Даля в судьбе Шевченко, потому что до сих пор об этом писалось лишь вскользь.

Минуло четыре года, как блестящий молодой художник, выпускник академии Тарас Шевченко пришел проститься с Владимиром Ивановичем. Он был счастлив: получил возможность уехать на родину. Шевченко стал профессором рисования Киевского университета. Но вскоре с ним стряслась беда. В 1847 году по доносу студента-provokатора Петрова было раскрыто тайное революционное Кирилло-Мефодиевское общество, которое в Третьем отделении называлось «Украино-славянским». В числе арестованных писателей и профессоров были Костомаров, Гулак, Шевченко и Кулиш. Более всех пострадал Шевченко, здесь сказались снобизм судей-аристократов: как? вчерашний крепостной, и такие замашки? Его выделили особо: «Шевченко... сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он то выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе гетманского правления

и прежней вольницы казачества, то с невероятной дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома... Сверх того, что все запрещенное увлекает молодость и людей с слабым характером, Шевченко приобрел между друзьями своими славу знаменитого малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне вредны и опасны...»

И наказание ему выпало самое жестокое: «Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус...»

Подписывая приговор, Николай I против имени поэта написал на полях: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать». Надо отдать должное изобретательности монарха-палача: большей пытки для писателя и художника не придумаешь.

Как характеристика людей, которым симпатизировало Третье отделение, интересна история провокатора Петрова, который донес о существовании тайного общества помощнику куратора Киевского учебного округа Юзефовичу. После доноса Петров вынужден был покинуть Киевский университет. Он приехал в Петербург и был определен «соответственно его способностям» чиновником Третьего отделения. Чтобы выслужиться, Петров вырезал резолюцию из секретного документа и отправил ее царю с анонимным письмом, в котором утверждал, что в Третьем отделении берут взятки. Тут уж даже жандармы возмутились. Дуббельт произвел строжайшее расследование, Петрова прогнали.

Но все это не облегчало участи Шевченко. И облегчить ее не мог никто.

Пьяные изверги, выслужившиеся до унтер-офицерского чина, в своем холопьем раболепии из кожи лезли вон, выполняя предписание царя. Они не упускали случая доказать ссыльному свое превосходство, всячески стремились продемонстрировать свою власть. Положение художника в солдатской шинели было исключительно тяжелым. Он понимал, что долго так не выдержит. Друзья делали все, чтобы помочь ему. Братья Лазаревские, Жуковский, Репнина, Щепкин и многие другие — всех не перечислишь — писали ему

письма, передавали книги, сигары, краски и кисти. Но ему нужен был заступник, который был бы вхож в канцелярии царских сановников. Таким заступником мог быть только Даль, близкий к Перовскому. С Далем Шевченко связывал все свои надежды. Тарас Григорьевич передал Лазаревскому записку: «Освободить меня от солдатчины может только Василий Алексеевич Перовский (член Адмиралтейского совета); у Перовского же лучше всякого другого мог бы хлопотать Даль, лично ему человек совершенно близкий».

Однако, вернувшись в Петербург, Лазаревский занялся какими-то другими делами и лишь через месяц вспомнил о просьбе Шевченко. Он написал Далю письмо. Это было второе послание Василия Матвеевича Лазаревского известному писателю Далю, который еще ни разу не видел своего странного корреспондента. Тем не менее Владимир Иванович на просьбу помочь Шевченко ответил сразу:

«Умные люди о таких вещах по городской почте не пишут. Что вы меня бегаєте? По четвергам у меня собираются добрые знакомые; увидите и кой-кого из литераторов. Приходите непременно».

И Лазаревский пришел. Народу было много, о Шевченко Даль ничего не говорил, потому что Василия Алексеевича Перовского в это время в Петербурге не было.

Даль устроил Лазаревского в свою канцелярию. О том, что нужно помочь Шевченко, они не забыли, но сделать ничего не могли: Николай I даже имени поэта не хотел слышать. А в это время Шевченко с тоской писал: «Я страшно мучусь, потому что мне запрещено писать и рисовать. А ночи, ночи! Господи, какие страшные и длинные! — да еще в казарме. Добрый мой друже! Голубь сизый! Пришлите ваш ящичек, где есть все принадлежности, альбом чистый и хоть один карандаш Шарриона. Хоть иногда взгляну, да все-таки легче будет» (Андрею Ивановичу Лизогубу, 11 декабря 1847 года).

Дело Шевченко двигалось медленно, даже учитель художника Карл Петрович Брюллов только пожал плечами, когда к нему обратился Лазаревский. Жуковский, придворный поэт, не раз выручавший многих писателей, был в это время за границей, а друг Та-

раса Григорьевича по Академии художеств Чернышов к Дуббельту и Орлову идти боялся.

Тем временем кто-то, причем до сих пор точно не установлено, кто именно, обратился в Третье отделение с просьбой облегчить участь Шевченко. 30 января 1848 года Третье отделение послало запрос командиру Оренбургского корпуса: «Заслуживает ли он ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием?» 10 марта пришел ответ, что Шевченко «ведет себя хорошо, службою занимается усердно, образ мыслей его не подает никакого повода к чему-либо предосудительному, и, судя по этому, он заслуживает ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием».

Однако на деле это ничего не изменило. Дивный художник, гениальный поэт, честь и совесть украинского народа, который мог оставить потомству множество бесценных творений, день-деньской маршировал под палящим солнцем в далекой Орской крепости...

Но кто же все-таки взял на себя смелость обратиться в Третье отделение? Надо полагать, что это был человек, близкий ссыльному и в то же время занимающий видное общественное положение. Долгое время считали, что это была княжна Варвара Николаевна Репнина. Варвара Николаевна любила Шевченко и, несмотря на то что он не отвечал ей взаимностью, осталась его преданным другом. Репнина действительно обращалась в Третье отделение. «Известно, однако, что письмо Репниной написано 18 февраля, и, само собой разумеется, оно не могло быть причиной запроса Третьего отделения в январе месяце», — говорится в академической биографии Шевченко, написанной Кириллюком, Шаблювским и Шубравским.

Итак, Жуковский, находившийся за границей, на Рейне, Брюллов, только пожимающий плечами, Репнина, написавшая свое послание лишь в феврале, Лазаревский, впоследствии записавший и менее важные вещи, но нигде ни словом не обмолвившийся об этом факте, наконец, художник Чернышов, даже не передавший письмо Тараса Григорьевича в Третье отделение, — вот и весь круг лиц, которые могли принять участие в этом деле. Если к этому добавить имена, которые называет сам Шевченко, то сомнений и недоумений не остается: «Как увидите В. И. Даля, по-

клонитесь ему от меня и попросите, чтоб он уговорил В. Перовского, чтоб тот освободил меня хотя бы из казарм (то есть выпросил для меня позволение рисовать)». Иными словами, Шевченко считал, что хлопотать о его освобождении может только Владимир Иванович Даль. Значит, можно предположить, что в Третье отделение с ходатайством о смягчении наказания обратился не кто иной, как заведующий особой канцелярией министерства внутренних дел коллежский советник В. И. Даль.

Василия Алексеевича Перовского Даль долго не мог уговорить помочь Шевченко, но все-таки Тарас Григорьевич был освобожден именно по просьбе Перовского. Сделано это было не из чрезмерных симпатий к Шевченко, а исключительно из уважения к Дально.

Почему же так затянулась солдатчина великого мученика украинского народа, почему так долго ничего не мог сделать единственный человек в столице, на которого уповал несчастный ссыльный, Владимир Иванович Даль? Потому что за спиной Дуббелта стоял Николай I, который не мог простить бывшего плебея, нищего, вздумавшего стать членом тайного политического общества и писать «возмутительные», то есть революционные, стихи.

Произошло это уже после смерти Николая I: 21 июля 1857 года. Несколько забегаая вперед, хочется остановиться на двух письмах, касающихся освобождения Шевченко. 17 января 1857 года В. М. Лазаревский писал поэту, что уже есть разрешение царя на его освобождение (разумеется, речь шла о новом царе, Александре II). Несколько позже, как отмечают авторы цитированной выше академической биографии, Бронислав Залесский уведомлял Тараса Григорьевича, что Сераковский видел прошение В. А. Перовского о Шевченко на имя императора. Таким образом, Тарас Григорьевич не ошибся: в роли, если можно так выразиться, поручителя перед царем выступил генерал граф Василий Алексеевич Перовский. А коль скоро это доказано документально, остается разобраться в мотивах, которыми руководствовался сиятельный граф. Ведь известно, что тот же Перовский отрицательно отнесся даже к такому значительно менее важному

событию, как производство Шевченко в чин унтер-офицера. Для ссыльного это был большой удар, производство в унтер-офицеры избавило бы его от жизни в казарме и других тягот солдатской службы. Узнав об этом, бедный Кобзарь проклял «бездушного сатрапа п наперстника царя».

Это было в 1856 году. Вряд ли Перовский мог изменить свое отношение к Шевченко без чьей-то просьбы за столь непродолжительное время: уже в начале следующего года в канцелярии его императорского величества лежало прошение Василия Алексеевича Перовского. У нас нет документов, подтверждающих, что это Даль упросил Василия Алексеевича написать столь важный документ, не исключена возможность, что на этот раз рукой Перовского водила и не Далева просьба. Что же касается «царского сатрапа», то надо отдать ему должное: он сделал доброе дело, написав прошение о помиловании Тараса Шевченко. Просьба Перовского была удовлетворена, и Шевченко 21 июля 1857 года получил свободу.

Вскоре после этого судьба свела Тараса Григорьевича с Далем. Это было в Нижнем Новгороде, где Владимир Иванович служил управляющим удельной конторой. Но об этом в свое время.

* * *

10 ноября 1843 года, в день рождения Даля, у него родилась дочь, которую назвали Ольгой. Теперь у Владимира Ивановича был полон дом детей: Льву-Арслану — девять, Юле — пять, Маше — два, да еще новорожденная Оля. К тому же у Даля постоянно жили его мать и теща Анна Александровна. Содержание семьи требовало больших средств. Денег не хватало. И, когда в марте 1845 года родилась еще одна девочка, Катя, отчаявшийся отец обратился к сенатору и генерал-аудитору Д. А. Эристову с прошением о зачислении в срок выслуги пенсии семи лет службы во флоте. Однако ответа он не получил, и семь лет флотской службы так и не были засчитаны в срок выслуги лет.

К этому времени относится несколько неожиданная для Даля женитьба его друга. Пирогов, «великий од-

полюб», часто навещался к подруге Катеньки Мойер, Кате Березиной. Березины переписывались с Мойерами, и Николай Иванович узнавал от них новости о семье своего старого учителя. Но близко познакомившись с Катей Березиной, он неожиданно сделал ей предложение. Девушка, принадлежавшая к типу самоотверженных русских женщин, давно была влюблена в Пирогова, мечтала посвятить ему жизнь. Николай Иванович понял и оценил ее.

Даль тоже знал Березиных много лет, часто бывал у них на Васильевском острове и обрадовался выбору друга. Первенец Пирогова, Николай, родился почти одновременно с дочерью Даля, Олей, в 1843 году. Вторым сыном Николая Ивановича появился на свет через три года, и в честь Даля был назван Владимиром.

Но Екатерина Дмитриевна после родов заболела воспалением мозга. Даль не покидал дом Пирогова на Литейном проспекте, он очень опасался за жизнь роженицы. Однако их общий друг, многоопытный Зейдлиц, тот самый Зейдлиц, с которым Даль семнадцать лет назад отправился на турецкий фронт, уверил всех, что кризис миновал. Владимир Иванович ушел, а ночью больная умерла. Придя на следующее утро, Даль с ужасом увидел в столовой гроб. Он бросился к Николаю Ивановичу, тот начал рассказывать, как жена прощалась с трехлетним сыном, и разрыдался. Пирогов заболел от горя. Друзья выхлопотали ему заграничную командировку, связанную с созданием анатомического института, и в марте он уехал. Прощаясь с Далем, у которого слезы стояли в глазах, когда он смотрел на исхудавшее, постаревшее лицо друга, Николай Иванович сказал:

— Надо стать выше бедствий. Трудно этого достигнуть. Если сам не задушишь твердой волей бедствия жизни, то они задушат тебя.

* * *

Никогда Владимир Иванович Даль не писал так много, как в петербургский период жизни в начале 40-х годов.

Его рассказы, которые пришли на смену сказкам, охотно помещали и «Современник», и «Москвитянин»,

и «Отечественные записки». Но время тогда было неблагоприятное для честного писателя. Так, в январе 1843 года приостановили печатание автобиографического романа Даля «Вакх Сидоров Чайкин», начатого автором еще в Оренбурге. В этом романе — боль за соотечественников, которые прозябают в холопьем раблепии и гордятся своим положением. «Как прочитал я два письма любезных мне товарищей по академии — так чуть не заплакал. Больно мне было за них, большее еще за свою отчизну», — говорит герой романа, и это простое, бесхитрое признание действует на читателя гораздо сильнее, чем громогласный пафос.

Творчество Даля реалистично. Он правдив в любой, казалось бы, самой незначительной детали. Вот герой одного из его рассказов — дворник. «Удали его в дворниках тесно, — говорит о нем автор, — а дома скучно; со столичным образованием человеку в такой глуши жить тяжело» («Денщик»). Ну а кому не встречался такой тип: человек «с лицом, ничтожным до пошлости» («Генеральша»)? А тунеядцы, которых полным-полно в больших городах! «Это мотыги самые бесстыдные, бессовестные и вредные: мишура или блеска на сегодня им дороже, чем кусок хлеба на завтра. Есть — так они мотают; нет — так занимают; не дают — так плачут» («Благодетельницы»). Или жены военных? «Горемычное житье военным барыням, да зато и пребойкие особы из них удаются, истинно боевые и военные!» («Капитанша»).

Это русская действительность, достоверные картины жизни России 30—50-х годов прошлого века. Писатель обладает умением показать и совсем незаметного, маленького человека, и скрытую удачу богатыря, все это ему удастся потому, что он, по его собственному выражению, «почитал народ за ядро и корень, а выше сословия за цвет или плесень, по делу глядя».

В произведениях Даля петербургского периода есть определенная дидактичность. Это не кажется неуместным: книги Даля рассчитаны на неподготовленного читателя, это своеобразная азбука. Конечно, сам писатель понимал, что произведения его от этого много теряют, но он сознательно шел на определенные

«упрощения». Огромная страна с неграмотным, порабоженным народом. Он только-только начал пробуждаться, только-только научился грамоте, но читал еще плохо, по складам. «Нужно для народа чтение,— писал Даль,— а где оно? Не в тех ли книжках, что начали как блины печь петербургские борзописцы?» Писатель знал, что народу нужна настоящая литература, высокохудожественная, правдивая. Автор адресовал свои произведения мужику в грубой солдатской шинели. Он не поучал, он учил, потому что любил народ, и человек из народа был для него не только объектом наблюдения, но и сильной, самобытной личностью со своим взглядом на мир.

О русском крестьянине писали и до Владимира Даля; почти всегда это был или идиллический пастушок, или злой дикарь. В произведениях Даля предстали люди, трудами которых держится русская земля. За очерк «Русский мужик» Белинский назвал Даля «необыкновенным талантом, не имеющим себе соперников в этом роде литературы», и критика прошлого века отнесла это произведение к разряду «антикрепостнической словесности».

Еще один образ не сходит со страниц далевских книг, образ святой и вечный — Родина. В годы, когда казенные лжепатриоты до такой степени затащали самое слово «патриотизм», что честному человеку было совестно его произносить, нужен был патриотизм воинственный, от самого сердца идущий, чтобы просто и ясно сказать солдату: «Земля Русская, отечество наше, обширнее и сильнее других земель. Гордись тем и величайся, что родился ты русским...»

В петербургский период жизни Даль уже не был просто собирателем слов. Его «четверги», его литературные произведения и в какой-то степени даже то, что ему удалось сделать для общественных учреждений столицы, сделали Даля видным деятелем культуры. Но, как ни обширны и разнообразны занятия члена-корреспондента Российской академии наук Владимира Ивановича Даля, больше всего сил и времени отнимает у него борьба за исконно русский язык. Народ, то есть необразованный мужик, по выражению Даля, «говорит верно, правильно, метко и красно,

сам того не зная». И в то же время нашему «письменному» языку угрожает опасность превратиться, по словам Даля, в какую-то «пресную размазню». Он боялся, что величайшее достояние нации — могучий, чистый и ясный язык будет опошлен бездушными канцелярскими штампами, станет вял и немощен в несвойственных ему оборотах: «У нас же более, чем где-нибудь, просвещение — такое, какое есть, — сделалось гонителем всего родного и народного».

Владимир Иванович Даль знал русский народ. Виссарион Белинский сказал о нем: «К особенностям его любви к Руси принадлежит то, что он любит ее в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком. Как хорошо он знает его натуру! Он умеет мыслить его головой, видеть его глазами, говорить его языком». Дивный, могучий, дремлющий в кандалах народ, он был угнетен, но в нем чувствовались неисчерпаемые духовные силы. «Сколько я знаю, нет добрее нашего русского и нет его правдивее, если только обращаться с ним правдиво», — писал Даль.

Даль был далек от революционных идей и до конца жизни так и не понял великого очищающего значения революции. Но еще в 1845 году в исследовании «О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа» он указал, что, только «запугав и поработив умы, можно заставить их повиноваться». Много суеверий опутывает простых людей, но «с распространением образования, — утверждал писатель, — они как пыль светятся с русского народа». Суеверия вовсе небезобидны. Они отуманивают мозги, ведут к фанатизму, невежеству и жестокости, они отвлекают человека от его истинного назначения — борьбы за правду и свободу.

Для 40-х годов прошлого века взгляды Даля были прогрессивны. Владимиру Ивановичу было суждено пережить не одно поколение писателей. Естественно, пока он был полон сил, то шел в ногу с веком, а когда состарился, не всегда мог угнаться за новым. Но он всегда оставался великим труженником и великим патриотом, вся его жизнь — пример действенной, осмысленной любви к родине.

Даль был в центре литературной жизни середины прошлого века. Он одним из первых поддержал кампанию по созданию книг для народа. Когда Одоевский и Заблоцкий начали издавать сборник «Сельское чтение», Даль принял в нем живейшее участие. «Эта книга не принадлежала, собственно, к тому, что обыкновенно называется «литературою», тем не менее принадлежит к важнейшим произведениям современной литературы и весом своей внутренней ценности перетянет многие пуды романов, повестей, драм — даже «патриотических». Явление такой книжки, как «Сельское чтение», должно радовать всякого истинного патриота... беднее всех наша простонародная литература, если бы только у нас существовала какая-нибудь литература для простого народа. Целые горы бумаги ежегодно печатаются для него под названием «Похождений Георга, аглицкого милорда», «Похождений Ваньки Каина»... «Козла-бунтовщика» и т. п. Все эти пошлости расходятся: стало быть, их покупают и читают. Но какая же польза от этих книг? Пользы никакой, а вред может быть: от них только грубеют и без того грубые понятия простолюдина, тупеет и без того неизощренная мыслительная его способность... Простой народ похож на ребенка, только говорить с ним еще труднее», — писал В. Г. Белинский.

Белинский уделял произведениям Даля много внимания, особенно в пору расцвета его таланта. Кстати, именно он отметил и первые шаги Даля на литературном поприще. «Из новых нувеллистов в начале 30-х годов явился даровитый Казак Луганский», — писал он. Имя Казака Луганского мелькает во многих статьях гениального критика: «Сошлемся в особенности на того же Даля... изо всех наших писателей, не исключая и Гоголя, он особенное внимание обращает на простой народ... Читая его ловкие, резкие, теплые типические очерки русского простонародья, многому от души смеешься, о многом от души жалеешь, но всегда любишь в них простой наш народ, потому что всегда получаешь о нем самое выгодное для него понятие». И далее: «Теперь у нас на очереди «Рассказы охотника» г. Тургенева. Талант г. Тургенева имеет много аналогии с талантом Луганского (г. Даля). Настоя-

ший род и того и другого — физиологические очерки разных сторон русского быта и русского люда». «К замечательнейшим повестям прошлого года принадлежит «Павел Алексеевич Игривый» («Современник»), повесть г. Даля. Карл Иванович Гонобобель и ротмистр Шилохвостов, как характеры, как типы, принадлежат к самым мастерским очеркам пера автора. Впрочем, все лица в этой повести очерчены прекрасно, особенно дрожайшие родители Любоньки; но молодой Гонобобель и друг его Шилохвостов — создания гениальные. Это типы довольно знакомые многим по действительности, но искусство еще в первый раз воспользовалось ими и передало их на приятное знакомство всему миру. Повесть эта нравится не одними подробностями и частностями, как все большие повести г. Даля...»

Эти примеры можно было бы продолжить, но и сказанного достаточно, чтобы понять, какое место занимал в литературе Казак Луганский. Даль был мастером портрета. Тут чувствуется кисть большого художника, умеющего одним штрихом, точно найденным световым пятном придать полотну неповторимое очарование.

Порой это беглые зарисовки, мельком увиденные лица, порой образы, врезающиеся в память: «Кто не знает Телушкина, сметливости и смелости его, удивившей в свое время весь белый свет? Тонкий и высокий Адмиралтейский шпиль в Петербурге, который еще недавно в глазах наших для починки обставлен был целым лесом лесов, потребовал и в то время какой-то менее значительной починки; но само собою разумеется, что на вершину шпиля, на эту иглу, одетую сверху донизу вызолоченным листовым железом, нельзя иначе попасть, как обгородив ее целым городом лесов, от земли до самого кораблика: издержки огромные в работе и в припасах. Простой работник, кровельщик, был при рассуждениях об этом, слышал о торгах, о совещаниях подрядчиков, пошел осмотреть еще раз на глазомер шпиль и узнать, высоко ли можно будет подняться внутри его, в пространстве трех мачтовых деревьев, составляющих иглу, и, сообразив все это, явился сам на торги и предложил сделать требуемую поправку не за десятки тысяч рублей, а за не-

сколько сот, сколько пожалуют из милости. Подумав, согласились; но никто не верил успеху. Кровельщик отправился в шпиль, поднялся по железным скрепам между тремя мачтовыми деревьями до самого нельзя, там сделал осторожно окошечко, вынув железный лист, высунул голову и посмотрел на Питер. Насмотревшись, он примостился, стал твердою ногою снаружи шпиля, закинул веревку, размахав ее, вокруг шпиля, поймал другой конец, пронял в него веревку удавкой, или петлей, затянул ее и, подымая шестом постепенно все выше и выше, продолжал затягивать, не давая ей опуститься вниз. Кончив прием этот, он опоясался концом этой веревки, соскочил во славу господню на вольный свет, будто хотел полететь, и, цепляясь босыми ногами за почти отвесный шпиль, пошел улиткой вокруг него, подымая шестом обороты веревки как можно выше и ложась весом своего тела прочь от шпиля, на воздух, чтобы натягивать веревку. Таким образом, он, обвиняя веревку вокруг шпиля и укорачивая ее этим, подымался все выше и выше; там примостился снова, как ласточка с гнездом своим, снаружи шпиля, опять закинул оттуда веревку петлей и кончил тем, что добрался до верхушки, до железного стержня, на котором стоит знаменитый кораблик. Привязав к этому месту стремянку (веревочную лестницу), мой кровельщик сел отдыхать и смотрел на подножный Петербург глазом победителя. Весело было ему теперь оглянуться! В несколько дней починка была окончена, лесенка снята, окно зачинено и все незатейливые снаряды убраны!» («Русак»).

Даль приходит к совершенно справедливому выводу: «Смышленостью и находчивостью неоспоримо может похвалиться народ наш... он крайне понятлив и переимчив, если дело пойдет по промышленной и ремесленной части; но здесь четыре сваи, на которых стоит русский человек,— авось, небось, ничего и как-нибудь,— эти четыре сваи на плавучем материке оказываются слишком ненадежными; жаль, что они увязли глубоко и что их нельзя заменить другими». Это бесспорные признаки подневольного труда, о них и в поговорках говорится, и в загадках того времени. Даль вообще не упускал случая предостеречь читателя от опасности, рассказать ему нечто такое, что мо-

жет пригодиться в жизни, поделиться своим опытом. Часто это касается обычаев, поверий. «По обычаю, довольно общему у нас в народе, Маша укладывала ребенка спать вместе с собою, на свою постель... С того дня, как она лишилась мужа, ребенок спал всегда при ней. В одно раннее утро вся дворня была испугана внезапным диким криком несчастной матери; все сбегались и с ужасом увидели, что она держала на руках своих мертвого младенца. Она, как говорится у нас в народе, «заспала» его».

Женские образы выписаны особенно тщательно, с этнографическими деталями, как считали критики прошлого века.

Взять хотя бы болгарку из одноименного рассказа Даля: «Я глядел с удовольствием на нее, как она стояла под навислою лозою виноградника. Прислонясь в раздумье к столбу навеса, перекинув одну ногу через другую и опираясь только пальцами ноги этой слегка в землю, накрыв одну щеку рукою, поддерживая другую локоток и опустив долгие, темные ресницы. Мне казалось, что я вижу сквозь полупрозрачные веки огонь темно-карих очей ее, и жалел, что я не живописец. Рослый, прямой стан, опоясанный широкою, из разноцветного шелка и золота вытканною тесьмою, полная юбка из красивой, яркими цветами шерстяной ткани, шитая на плечах и на груди сорочка, тщательно убранные и во множестве косичек заплетенные длинные и густые волосы, род белой фаты или покрывала, упавшего с головы на плечи, выразительные черты смуглого, правильного и прекрасного лица — словом, вся наружность девушки, все вполне соответствовало окружавшим ее предметам, располагавшим воображение к мечтаниям, и я еще раз пожалел, что я не живописец».

А вот другая картина. Столица России середины прошлого века. Ее главная улица, которая сама как город. Никто не откажется лишний раз пройтись по Невскому: «Разгульная песнь лихого тунеядца сливается здесь с тихим вздохом труда и стоном нужды. Служба, и военная, и гражданская, и, словом, всякая, мелькает вправо и влево, впереди и назад — и тут же снуют туда и сюда самые неслужебные лица, озабоченные своими и чужими расчетами, нуждой и горем,

прохаживаются чванно самодовольные, самонадеянные, упитанные и умащенные куколки; и между ними, и между службой скользят и ватаги вольницы и тунеядцев. Вертлявый живчик пляшет рядом с неповоротливой торговкой; сущий подобень, снимок с модной картинки, обгоняет сального пирожника, подмастерья в пестрядевом халате — голландского шкипера в байковой рубахе. А загляните в жильё — в подвалы, ярусы и чердаки — тут в одно и то же время и крестят, и отпевают, и сватают, и венчают, и хоронят, и рожают — и нет нужды, нет потребности, которой бы нельзя удовлетворить по бесконечности площадки этой, от Зимнего дворца до Невского монастыря; тут все, вся лестница званий, зданий, чинов, возрастов и полов» («Жизнь человека, или Прогулка по Невскому»).

У Казака Луганского были постоянные неприятности с цензурой, впрочем, иначе и быть не могло у писателя-реалиста. Отношение цензуры к Дально было настороженное, даже напечатанные произведения подвергались пересмотру. В дневнике цензора, запретившего рассказ «Находчивое поколение», 24 декабря 1842 года появилась такая запись: «Комитет остановил не только новое издание Гоголя, но и напечатанный уже также роман Далья «Вакх Сидоров Чайкин». Гоголь и Даль пишут повести, а первый и комедии, в которых нападают на современные гадости».

Многострадальный роман «Вакх Сидоров Чайкин» запрещали дважды: когда он был сдан в набор и после его выхода в свет. Это автобиографическое повествование о молодом человеке, который, как мы уже говорили, мечтал столько пользы принести на земле, а вместо этого проводил день-деньской за пустой перепиской. Если ему и выдавалось живое дело, то очень скоро выяснялось, что он все равно бессилён что-нибудь изменить: «Горькие, убедительные просьбы и жалобы мои замирают в самой глухой пустыне, в лесу людей». Лес людей — это точная характеристика чиновничьего круга, одеревеневшего от тупости и спеси. Одним словом — лес людей...

В этом романе есть место, которое представляет, на наш взгляд, большой интерес:

«В продолжение этого года Василий Иванович сделал только одно умное дело: он скупил в губернии до

двухсот мертвых душ, то есть таких, которые значились налицо по последней народной переписи, но которых уже не было; за покойников этих Василий Иванович платил по пять и десять рублей, приписал их законным актом к лоскуточку болота, купленному рублей за пятьсот, а потом заложил в опекуном совете именно в двести душ, на которое имел все законные акты, по указанной цене, по двести рублей душу, и, взяв сорок тысяч рублей, предоставил совету ведаться с болотом и покойниками. Не понимаю о сию пору, как Василия Ивановича на это стало».

Василий Иванович — двойник Павла Ивановича Чичикова. Сходство их так велико, что в дореволюционной критической литературе встречалось утверждение, что «настоящим хозяином сюжета «Мертвых душ» был не А. С. Пушкин, а В. И. Даль» (Е. А. Бобров. Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий). Вряд ли Пушкин стал сообщать один и тот же сюжет двум лицам, гораздо более вероятно, что он услышал его от Даля и пересказал Гоголю.

Разумеется, никому и в голову не придет сравнивать художественные достоинства бессмертной поэмы Гоголя и давно забытого романа Даля. Тут интересна щедрость, с которой Казак Луганский дарил свои сюжеты. Это пример не единичный.

Известно, что Даль записывал не все свои устные рассказы. Так однажды в гостиной Владимира Федоровича Одоевского он произнес прелестный экспромт «Подпоручик Киже», который много лет спустя был записан Ю. И. Тыняновым и стал совершенно самостоятельным произведением. Есть основания полагать, что автор «Толкового словаря живого великорусского языка» в глубине души не считал беллетристику столь же важным делом, как, скажем, составление словаря. Он ведь, как заметил Гоголь, «видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны». А что могло быть важнее для России, чем сберечь во всей могучей красоте ее язык, равного которому нет на земле! В 1856 году Даль признался, что он «не высоко ценит все мелочи свои в художественном отношении», что он «думает, что они в свое время были замечены едва ли не по одежке и направлению своему». Однако нельзя забывать, что Владимир Иванович был непритворно

скромнен, он и словарь свой считал лишь основой для будущего, более совершенного труда.

Очень важно, что писал о произведениях Даля сам Гоголь, который был глубоким и проницательным истолкователем его творчества. В своей «Авторской исповеди» (1847 год) Гоголь говорит: «Из людей умных должны выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитанье и создались, как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе название Луганского Казака, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека». А в статье «О современнике» Гоголь дает такую краткую, но необыкновенно точную оценку произведений Даля: «Он не поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремленья производить творческие создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. Ум твердый и дельный виден во всяком его слове, а наблюдательность и природная острота вооружают живостью его слово. Все у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случившийся в русской земле, первое дело, которого производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизумительнейшая повесть. По мне, он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразью моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни; но зато всяк согласится со мной, что этот писатель полезен и нужен нам в нынешнее время. Его сочинения — живая и верная статистика России».

Из далевских рассказов петербургской поры надо прежде всего остановиться на его запрещенном произведении «Находчивое поколение». Это повесть об иностранцах, приезжающих в Россию на заработки. Тема в те времена актуальнейшая.

Герои «Находчивого поколения» работать не хотят, дурачат доверчивых помещиков и живут паразитами. У искателя приключений Петитома, например, один-единственный фрак, зато наимоднейший, денег — ни гроша, но планов полна голова. Заветная мечта его — очаровать богатую пожилую вдову.

И герою удается прожить жизнь без труда. Хотя «сам на себя, на плеча свои не сядешь», зато всегда находятся ослы, готовые тащить на своем горбу представителя этого «находчивого поколения».

Даль пишет не на отвлеченные темы, его волнуют язвы общества. Простому люду, например, житья не было от мошенников-судей. «Из суда, что из пруда, сух не выйдешь» — говорит народная пословица. Даль подробнейшим образом раскрывает, как наживаются судьи. Вот они ни в чем не повинного человека волокут в участок для снятия свидетельских показаний, приводят раз, другой, третий, а сами знай себе пишут, что тот говорит. На досуге сличат — противоречие! А потом бедолаге зачитают статью из кодекса о ложном показании свидетелей. Никто себе не враг, откупается, чем может, лишь бы прекратилось дело. Получив мзду, чиновник тут же на мелкие части рвет «дело» и отпускает свидетеля, который рад-радехонек, что избежал опасности. А того и не знает, что в канцелярии велось на него два «дела»: одно настоящее, а другое дутое, оно-то и рвется для успокоения клиента. Одним словом, целая наука.

А вот еще пример. Едут на пароме трое, среди них офицер. Офицеру что-то не понравилось, и он избивает одного из своих попутчиков. Третий, купец, отходит от драчуна на край парома. Вдруг с берега раздается крик: «Ваше благородие, скорее дайте купцу в рыло, чтоб не годился в свидетели!» Это совет стряпчего: он хорошо знает законы, что и говорить.

Один рассказ у Даля имеет символическое название: «Дышло». В нем изображена царская юриспруденция как она есть:

«Надо все эти тонкости знать; надо быть большим законником и держать наготове все приправы и уловки, чтоб не попасться. А ловкий законник, смысленый подьячий и стряпун, тертый приказный куда как ину пору вертит делами, беда, да и только; вся власть в

его руках. И черно — бело, и бело — черно, и красно — пестро; словом, ровно добрый плотник: что захотел, то и срубил; за всякое дело, как за дышло, берется: куда хочет, туда и воротит».

Писатель не может не замечать зло, если оно на каждом шагу: «Опричь худа, какое добро ныне от кого ожидать? Пора такая... время скудное и тяжелое, только тем и живется, что авось да небось. Да, а тем часом авоська веревку вьет, а небоська на тебя и петлю накидывает» («Отец с сыном»). Те же мотивы слышатся и в другом рассказе Даля — «Удавлюсь, а не скажу»: «Вот какие тяжелые года, всем тошно, всем душно».

Дело даже не в отдельных фразах, а в общем фоне, на котором развивается действие рассказов Казака Луганского в эти годы: «Город беден, нет там никому, что называется, ни наживы, ни покою» («Подземное село»); «В средней полосе у нас живут, коли хлеб жуют, а порою не брезгуют и мякиной, макухой, лебедой и мезгой» («Ворожейка»).

Рассказ «Ворожейка» был напечатан в «Москвитянине» в 1848 году. Цензор Лешков, пропустивший его, получил выговор «за порицание действий начальства». Генерал-майор Бутурлин, председатель негласного комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений, ополчился на Даля. Вот что писал Д. П. Бутурлин С. С. Уварову, министру народного просвещения, 25 ноября 1848 года:

«При рассмотрении помещенной в десятом номере «Москвитянина» повести Даля под названием «Ворожейка», в которой рассказываются разные плутни и хитрости, употребленные цыганкою проходившего через деревню табора для обмана простодушной крестьянки и пропажи ее имущества, комитет 2 апреля остановился на заключении этого рассказа, где прибавлено: «На деревне сделалась тревога. Власти, как всегда, бездействовали». Комитет пожелал сделать цензору, пропустившему эту неуместную остроту, строгое замечание. Таковое заключение комитета государь император высочайше изволил утвердить».

Николай I заметил:

— Сделать и автору выговор, тем более, что он служит.

До министра внутренних дел дошло высочайшее повеление сделать выговор своему чиновнику. Лев Алексеевич Перовский вызвал Даля. Вид у министра был озадаченный.

— И охота тебе писать что-нибудь кроме бумаг по службе? — спросил Лев Алексеевич. — Не понимаю, ничего не понимаю. Давай выбирай: писать — так не служить, служить — так не писать.

Был бы Даль богат или хотя бы один, бросил бы это постылое министерство. А с семейством мал мала меньше куда деваться?

Долго ходил Владимир Иванович по Невскому, а пришел домой, заперся у себя в кабинете.

Из слов министра было понятно, что в любой момент можно ждать обыска. Владимир Иванович решил сжечь свои бумаги. Он разложил в камине огонь. Сложенные крест-накрест поленья разгорелись, и Даль достал из письменного стола несколько папок с бумагами и дневники. Стемнело. Пламя освещало худое, с глубокими, прямыми складками у рта лицо писателя. Зажег лампу и принялся читать. «Какой богатейший материал для будущего историка России! — думал Даль. — Вот они, первоисточники. Документы о подготовке восстания пленных поляков, сведения о числе погибших в Хивинском походе, материалы об уральском казачестве, об устройстве бедных дворян, данные об эпидемиях холеры, о крестьянских бунтах...» Попади эти документы в жандармское управление, и автора дневников, а заодно и кое-кого из его друзей навеки упрячут в Шлиссельбургскую крепость... Жизнью друзей он рисковать не будет. Да и своей тоже. Аккуратно сложив бумаги, опустил их в камин. Минута — и они вспыхнули все сразу.

Это было тяжелое испытание. Теперь Владимир Иванович не мог оставаться в столице. Характер у Даля был такой, что он должен был как-то ответить на вынужденное уничтожение своего архива, вернее, что-то изменить в своей жизни. Нельзя было обманывать самого себя и делать вид, что ничего не произошло.

Даль попросил Льва Алексеевича Перовского перевести его в провинцию, и 7 июня 1849 года он был назначен управляющим удельной конторой в Нижнем Новгороде.

«Великая столица, надменный, холодный и непри- ветливый город, мрачный Петербург 40-х годов, тебя с радостью оставляют русские люди», — думал Даль.

Незадолго до отъезда он получил от профессора истории Московского университета, издателя «Москви- тянина» М. П. Погодина письмо с просьбой прислать что-нибудь для журнала. Ответ Даля красноречиво го- ворит о его настроении:

«У меня лежит до сотни повестушек, но пусть гниют. Спокойно спать: и не соблазняйте. Времена шатки, береги шапки; тяжело будет вам теперь изда- вать журнал, боюсь даже, что бросите. О моих похож- дениях вам теперь, конечно, давно известно по вы- говору цензору; разумеется, что я теперь уже больше печатать ничего не стану, покуда не изменятся обстоя- тельства».

Нижний Новгород

Чтобы написать хорошую книгу, нужно только взять перо, обмакнуть его в чернила и выложить свою душу на бумагу.

(К. Берне)

В середине июля 1849 года Даль приехал в Ниж- ний Новгород. И уже в первых письмах к друзьям — ни следа столичных настроений: «Мы живем в удель- ной конторе на Печерской улице. День за день, все по- старому. Здоровье наше весьма изрядно: занятый много, но по силам; начинаю знакомиться и приви- кать, а о Питере не пожалел ни разу. Здесь по край- ней мере смело радуешься посетителю, глядишь ему прямо в лицо; там, хоть задушевный друг придет, бы- вало, с души воротит, знаешь, что подлец пришел с какой-нибудь вздорною просьбою о покровительстве, а то бы и не заглянул...»

Легко дышалось над вольной Волгой после дер- жавной столицы. В обязанности Даля входило ведение дел удельной конторы, иными словами, он занимался крестьянами, принадлежавшими царской фамилии.

В России количество удельных крестьян перед ре-

формой составляло 851 334 души мужского пола, несравненно меньше, чем государственных или крепостных, принадлежащих помещикам. Все удельные крестьяне состояли на оброке, положение их с нарастанием экономического кризиса в стране ухудшалось: оброк с начала прошлого века до 50-х годов увеличился с 10 рублей 80 копеек до 17 рублей 57 копеек.

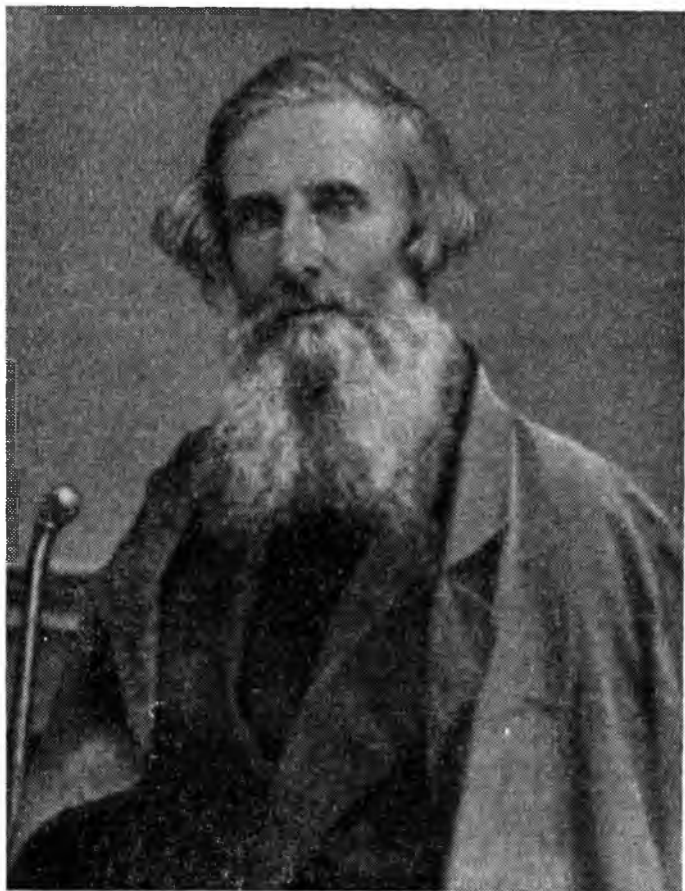
Известно, что крестьянам часто удавалось договориться с чиновниками, во власти которых было не взимать оброк, сославшись на неурожай, град или саранчу. В личной переписке Даля названа даже сумма взятки: «Крестьяне платят 10 копеек с рубля чиновникам, чтоб не взыскивали».

Даль был чиновником странным, как считали его коллеги: он не брал взяток. Как анекдот о его причудах рассказывали, что он даже от платы за лечение отказывался. Щепетильность Даля в денежных делах дала основание члену Оренбургской ученой архивной комиссии И. Н. Модестову сказать, что «Даль вышел в отставку, ничего не нажив там, где другие наживали сотни тысяч».

В Нижнем Новгороде занятия Даля были несравненно разнообразнее, чем в столице. Но на первом месте по своему значению, как всегда, оставалось творчество.

Было бы совершенно неправильно думать, что служба в канцелярии его не раздражала. По дневникам и письмам видно, как трудно ему приходилось. «Хорошо вам, заугольникам, и писать письма, и отвечать вовремя,— а как день за день, не зная воскресенья, сидишь с утра до ночи за такими приятностями, что с души воротит, так вечером и пера в руки взять не хочется»,— пишет Владимир Иванович одному из друзей 28 января 1849 года. Его угнетала эта мертвящая рутина, он ее ненавидел.

Именно в Нижнем окончательно решилась участь Даля-писателя. Ни семимесячное тюремное заключение в Николаеве, ни знакомство с Третьим отделением, ни выговор от министра внутренних дел— ничто не сломило стремления писать. Но уже начался вызванный другой причиной отход Даля от писательского труда. Работа, которую проделал Владимир Иванович по составлению «Словаря живого великорусского



В. И. Даль в Нижнем Новгороде (50-е годы XIX века).

языка», так огромна, что одной человеческой жизни, в обычном смысле этого слова, на нее мало. Потребовалась жизнь исключительно талантливого, быстрого в работе и совершенно неутомимого человека.

Судьба Даля в литературе в некотором смысле трагична: ради словаря он пожертвовал призванием писателя. Даль еще не достиг высшей точки подъема своего писательского дарования, когда наступил пере-

лом. Любимое дело всей его жизни — собирание слов — оказалось кукушонком, который, окрепнув, выбросил из гнезда своего «соперника». Иными словами, лексикограф затмил в Дале писателя.

Это был сложный процесс, начался он исподволь, незаметно и длился долгие годы. В Нижнем Новгороде словарь стал поглощать весь рабочий день писателя. В казенную квартиру на Печерской улице Даль привез почти все слова, вошедшие впоследствии в «Толковый словарь». Двести тысяч слов — это сотни метров «полос» бумаги.

Далю в его работе помогала вся контора. Обстановка здесь была такая же, как в петербургской особой канцелярии. Четверо писарей усердно переписывали бесконечные «полосы», на места посылались специальные директивы, в ответ приходили пакеты с записями слов.

Тут, как и в столице, Даль трудился с утра до позднего вечера. Теперь, когда начали вырисовываться контуры будущего словаря, Владимир Иванович стал бояться, что умрет, не закончив свой труд. Чтобы не надорваться, он был вынужден положить за правило ложиться спать ровно в одиннадцать часов вечера.

Владимир Иванович, как прежде, разбирал свои записи в гостиной. Рядом с его столом стояли рабочий стол жены и большой обеденный. Тут же размещались дети. Они громко разговаривали, смеялись, иногда шалили, но отцу это не мешало, он привык работать в такой обстановке. «Весь словарь был написан под детские разговоры и игры», — много лет спустя записала внучка Даля, Ольга Платоновна Вейс.

По вечерам приходили знакомые. Владимир Иванович поддерживал разговор, иногда спорил, отстаивая свои убеждения, и не уступал ни в чем даже дамам.

Вечер. Шумит самовар, скоро ужин. Пришли две приятельницы Екатерины Львовны: Пальчикова и княгиня Трубецкая. Поболтав о том о сем, дамы начали наперебой расхваливать Юлю и Машеньку.

— Ах какая прелесть! Ах какие миленькие! Ну просто красавицы!

— Да где ж это слыхано, такие гадости говорить! — не выдержал отец.

— Помилуйте, Владимир Иванович, как можно-с! Мы из лучших побуждений...

— Вот оттого-то, милостивая государыня, у нас столько пустых и никчемных девиц вырастает, что девочкам постоянно твердят, что они хорошенькие. Добро бы за дело похвалили, ну приятно, не спорю. А то... Обидели вы меня, ой как обидели...

Трубецкая улыбнулась:

— Сглазу боитесь, Владимир Иванович?

— А как же? Да в народных приметах иной раз больше здравого смыслу, чем в целой ученой книге!

Конечно, Владимиру Ивановичу было приятно, что у него хорошенькие дочери, но он был совершенно прав, когда просил не говорить девочкам ничего подобного.

Вскоре после приезда в Нижний шестнадцатилетний сын Владимира Ивановича решил поступить в Академию художеств. Весной 1850 года Владимир Иванович обратился к Лазаревскому с просьбой узнать, когда состоится очередной прием в академию, и подыскать будущему студенту комнату с пансионом. Осенью того же года Лев Даль блестяще сдал экзамены и был принят на первый курс.

Дома остались четыре дочери. Трое старших обожали отца и были очень дружны между собой. Все три любили брата, Арслана, а младшую сестру недолюбливали. И называли ее не иначе, как Катька. Добрее всех была старшая, Юленька. Это было тихое, безответное создание, которое Маша и Оля то и дело защищали от всяческих козней Катьки. Катя была единственной из девочек в семье Даля, для кого мать была ближе отца, но справедливости ради надо сказать, что холодная и неласковая Екатерина Львовна и с нею не была особенно близка.

Странная это была женщина. Еще до рождения своих дочерей она старалась как можно меньше внимания обращать на Арслана и Юлию. Екатерина Львовна выработала определенную тактику: скажется больной и сидит у себя в комнате. Но ничто не проходит даром, и цветущая женщина, из года в год симулировавшая недомогание, в конце концов действительно потеряла здоровье. Она не терпела ни детского смеха, ни громких разговоров, ни беготни, у нее по-

стоянно болела голова и шумело в ушах, она мало двигалась, много лежала и катастрофически быстро старела.

Даль относился к жене неплохо, но счастья, которое он испытал в первом браке, теперь не было. Екатерина Львовна часто упрекала мужа, что он не развлекает ее. Можно представить, какой внутренний протест это вызывало у Владимира Ивановича, который презирал людей, не умеющих занять себя. Не даром же у терпеливого Даля однажды вырвались из-под пера такие строчки: «Можно ли вынести равнодушно весь этот бессмысленный быт, эту убийственную жизнь нашего женского круга, этот великолепный житейский пустозвон и пустоцвет!.. Визиты, с большим расчетом и разборчивостью, с осмотрительностью, по чинам, по званию, по служебным обстоятельствам и отношениям мужей, и здесь также составляют почти всю лицевую сторону, казовый конец приятельских и дружеских сношений, то есть, собственно, внешнюю жизнь; на этом вертится все, этому одному посвящают время и безвремяе, досуг и недосуг, а остальную часть дня размышляют и советуются о том, кому и какой визит отдать и когда поехать и сколько посидеть. Вновь приезжая барыня, или, как ее называют, дама,— а почему бы не краля? — обязана объехать все 38 домов, составляющие высшее общество города; младшие по чину, званию, богатству и значению в обществе спешат на другой же день засвидетельствовать ей свое почтение и готовность служить, на первый случай, столиком, парюю стульев, ухватом, кочергой; равные побывают в течение какой-нибудь недели, а чем барыня выше и почетнее, тем далее откладывает она обратное свое посещение. Между тем все они, друг другу, одна одной и в особенности новоприезжей, смотрят ответно в горшок и в кастрюлю и чрезвычайно заботятся о том, когда у кого бывает ботвинья, когда щи, суп или борщ; это, так сказать, еще одни цветочки созерцательной жизни их, а ягодки бывают впереди, когда изо всего этого выходит наконец огромный клубок или моток сплетен...»

Даль не бросил врачебной практики. В частых разъездах по губернии он не расставался с хирургическими инструментами: тут ему, как и в Оренбургском

крае, приходилось посещать места, где крестьяне отродясь не видывали хирурга. В Нижегородской губернии Далем были произведены его последние операции по удалению катаракты. Перебравшись в Москву, он эти операции оставил, и вначале даже не столько из-за своего возраста, сколько по той причине, что там он не был единственным врачом.

Далю довелось служить в трех канцеляриях: в Оренбурге, в Петербурге и в Нижнем Новгороде. Возможность помочь забитым, бесправным беднякам делала службу его в провинции интереснее столичной, хотя времени отнимала очень много. Но и оставить просителей без помощи Даль тоже не мог. Ему многих удалось спасти.

Вот деревенский ротозей приехал из Семенова в Нижний на базар. Батюшки-светы! Народу-то, народу, а товаров! Зазевался мужичок, а лошади и ушли. О таких растяхах в народе говорят: «Ушел воз и лошадку увез». Мужик — догонять. Бегом бежит, у встречных спрашивает, дошел до Макарьева — лошадей и след простыл. Мужичок идет в земский суд, чтобы заявить пропажу. «А где у тебя паспорт?» — «Какой паспорт, я прибежал чуть живой с базару, из Нижнего». Но уже составлен протокол, а есть протокол, значит, заведено и дело. И вот за бродяжничество мужику выносят приговор: заклеить и отдать в арестантскую роту. Ну а дальше... об этом деле узнал Даль. «Приговор был уже утвержден, когда я успел спасти бедняка», — пишет Владимир Иванович.

Случались дела и посерьезнее. Четверо бандитов обокрали церковь. Староста с мужиками поймали воров. Их связали, заперли в чулан. Деревня так и бурлила от негодования. Приехал суд. Один ворюга, не будь дурак, сунул судейским тридцать рублей серебром, и всех четверых тотчас отпустили. А старосту и одиннадцать крестьян «за разноречивые показания» уpekли в арестантскую роту. Этих несчастных Далю тоже удалось освободить.

В Нижнем, как прежде в Оренбурге, Даль не забывал своих друзей. Он постоянно переписывался с Николаем Ивановичем Пироговым.

Письма Пирогова свидетельствуют о его несомненном писательском таланте:

«Велик божий мир, но не завиден. Не нам судить и рядить о делах божьих; но как не согрешить и не подумать, что бог, верно, его творил нехотя, иначе для чего бы ему было заниматься такой безделицей целые семь дней да еще и отдыхать после?»

Еще что есть хорошего в этом мире, то вышло разом за первым словом великого зодчего. Да будет свет! А человека он делал усталый, напоследок.

Тысячелетия канули на дно, а слабое произведение гениальной мысли продолжает делать пакости и на лондонской выставке, и на Нижегородской ярмарке, и в военном министерстве, и в конференциях академии. Но хандру и шутки в сторону: мы худы, худы, а все-таки совершенствуемся. Посмотри-ка, с тех пор как ты, любезный друг, оставил наше общество, каких дел у нас не совершилось: и мост через Неву построили, и в железной дороге до Москвы катаемся, и живого кита убили в Ревеле, и президента нашей академии на тот свет спустили. Если это не прогресс, так чего еще нам нужно?

Я от природы скептик, потерял совсем надежду на успех в нашем климате. Но не подумай также, чтобы это был голос отчаянного; у меня есть противоядие. Что ни делала клевета, но отравить меня еще не успела; у меня есть охота к занятию, назови как хочешь это — любознанием или любовью к науке и истине, и покуда у меня есть еще это, не одолеют меня ни отчаяние, ни безразличие.

Есть три рода людей. Одни лгут напропалую, зная и чувствуя, что лгут, но находят в этом выгоду.

У этих людей склонность жить роскошно, любостяжание развито как нельзя больше и подавляет все прочие склонности. Другие лгут в убеждении, что говорят правду, делая это или потому, что все видят на выворот, или потому, что уж слишком привыкли лгать. Третьи, наконец, вероятно от счастливой организации черепа, хотят и умеют смотреть прямо на вещи и, главное, любят так смотреть; добиваться правды, хотят знать, и хоть есть нечего, а все да, где да, и нет, где нет. Только тот, кто ищет правды, кому нельзя жить не работая, только тот может перенести кое-что в жизни, тот владеет противоядием от клеветы и злобы... Прощай. Не поминай лихом. Твой Пирогов».

Даль и в Нижнем продолжает писать для народа. Он собрал в один том короткие рассказы для солдат и матросов: «Солдатские досуги», «Матросские досуги», найдя простую, доходчивую форму повествования. Автор привел подборки пословиц и загадок, они очень украсили книгу. Цель сборника — воспитание патриотизма. Основной мотив всех рассказов — доблесть, героизм и справедливость русского воина. Сделано это просто и убедительно: на живых примерах. Взять хотя бы рассказ «Бриг «Меркурий». Каждому, кто бывал в Севастополе, запомнился чудесный памятник работы Брюллова с надписью на пьедестале, которая потрясает своей лаконичностью и выразительностью: «Казарскому. Потомству в пример». Чтобы современники и потомки не забыли о подвиге капитан-лейтенанта Казарского, Даль подробно рассказал о легендарном бриге:

«В турецкую войну 1819 года флот наш стоял у турецкого города Сизополя, на север от Босфора... Когда турецкий флот пустился в погоню за нашими двумя бригами и фрегатом, а от этого приказано было сигналом: «Каждому бежать как выгоднее», то «Меркурий» лег вполветра, почти прямо прочь от неприятеля. Но два турецких корабля, 110-пушечный, под флагом Капудана-паши, и 74-пушечный, под адмиральским флагом, приметно настигали бриг и к двум часам полудни были от него не далее полутора пушечных выстрелов. В это время ветер стих, и ход кораблей уменьшился; бриг выкинул весла, в надежде удержаться до ночи вне выстрела; но через полчаса ветер опять посвежел, корабли стали приближаться и открыли пальбу из погонных пушек.

Видя, что некуда деваться и что нет надежды уйти от непосильного боя, Казарский собрал военный совет из всех наличных офицеров, штурман поручик Прокофьев, как младший, должен был первый подать голос и сказал: «Так как уйти нельзя, разбить неприятеля нельзя, то само собою разумеется, что должно драться до последней возможности, а на конец привалиться к неприятельскому кораблю и взорваться с ним вместе на воздух».

Это мнение принято было всеми в один голос, и потому положено: драться, покада не будет сбит весь

рангоут или не откроется сильная течь и покуда есть кому служить у пушек, а затем свалиться с неприятелем и подорваться. Кто из офицеров останется в живых, тот должен был зажечь кюйт-камеру; для этого положен был на шпиль заряженный пистолет.

Если рассудить, что на бриге было всего 18 пушек малого калибра, а неприятель напирал с 184 пушками большого калибра, то подумаешь, что слышишь сказку; но была наша еще не кончена, а что ни дальше, то будет лучше.

Казарский объявил коротко команде, чего ожидает от них и чего требует честь русского флага, и команда вся отвечала: рады славному бою, рады честной смерти!

Уверившись таким образом во всех подчиненных своих, Казарский сказал: теперь нам ничего не страшно, а мы неприятелю страшны. Шабаш! Убирай весла, обрубить стропы и тали, сбросить в море ялик с кормы, чтобы не мешал пальбе из уходных портов! Люди по пушкам!

Стопушечный корабль стал спускаться на бриг, чтобы дать по нему продольный залп; «Меркурий» тоже приспустился и не дал кормы своей в обиду. С полчаса еще он кое-как увертывался, так что корабли стреляли по нему только из погонных орудий, но затем оба корабля настигли его, разошлись несколько и поставили его в два огня. Каждый из кораблей дал по два залпа, а затем с корабля Капуданапаши, подошедшего очень близко, закричали по-русски: «Сдавайся и убирай паруса!» «Меркурий» отвечал на это залпом всей артиллерии своей, всех восемнадцати пушек, громким «ура» и дружным ружейным огнем.

Тогда оба корабля сдались немного к корме брига и открыли по нему жестокий огонь ядрами, книппелями и брандскугелями. От последних бриг было загорелся, но пожар вскоре потушили. Бриг во все время отстреливался так, будто нашел неприятеля по силам, стараясь только уклоняться от продольных выстрелов.

Время шло, команда на «Меркурии» увидела, что под турецкими ядрами еще пожить можно; много было перебито, да не столько, как бы следовало ожидать:

один путный залп со стопушечного корабля должен бы пустить бриг ко дну. «Меркурий» прибодрился, а какое-то счастливое или роковое ядро его перебило ватерштаги стопушечного корабля, а другое, как можно было заметить, повредило гротовый рангоут. Турок закрепил бом-брамсели, привел к ветру и лег в дрейф; и на прощанье послал бригу залп всем лагом.

Таким образом, «Меркурий» избавился одного неприятеля, но другой сидел у него чуть не на боканцах. Переменяя галсы под кормой брига, корабль бил его беспощадно в корму, чего уже никак нельзя было избежать. «Меркурий» продолжал свое — в поле да в море веруй в ветхий завет: око за око и зуб за зуб; и опять нашлось роковое ядро, которое перебило у турка фор-марса-рей. Перебитый нок напором паруса переломило вовсе, и он полетел вниз вместе с лиселями!

В 5½ часов и этот корабль, вынужденный убрать часть парусов, а может быть, опасаясь также, чтобы не напороться одному на засаду в чистом море, привел и лег в дрейф.

Три часа длилось сражение это, в котором, конечно, никто из наших не чаял спасения. На бриге всего было убитых 4, раненых 6, пробин: в корпусе 22, в рангоуте 16, в такелаже 148, в парусах 133; сверх того разбиты гребные суда и подбита одна коронада.

Об этом деле писал один из штурманов турецкого адмиральского корабля письмо, из которого мы выпишем следующее: «Во вторник со светом мы заметили три русских судна: фрегат и два брига; мы погнались за ними, но могли догнать один только бриг в 3 часа пополудни. Корабль Капудана-паши и наш открыли сильный огонь. Дело неслыханное и невероятное: мы не могли его заставить сдаться! Он дрался, отступая и увертываясь, с таким искусством, что — стыдно сказать — мы прекратили сражение, и он со славою продолжал свой путь. Он, верно, потерял половину своей команды, потому что был одно время от нас не далее пистолетного выстрела, но Капудан-паша прекратил сражение еще часом ранее нас и сигналом приказал нам сделать то же. Бывший на корабле нашем русский пленник сказал нам, что капитан этого брига никогда не сдастся, а скорее взорвется на воз-

дух. Коли в древние и новые времена были подвиги храбрости, то, конечно, этот случай должен затмить все; имя героя достойно быть написано золотом на храме славы: это капитан-лейтенант Александр Иванович Казарский, а бриг «Меркурий».

Пусть же такое свидетельство самого неприятеля передаст потомству достойную славу Казарского и всех его сподвижников... Александр Иванович Казарский скончался в 1833 году, 36 лет от роду, в Николаеве. Офицеры Черноморского флота поставили ему памятник в Севастополе, на мысе, при самом входе в порт».

Надо ли говорить, что подобные рассказы никогда не потеряют смысла: это страницы истории страны нашей, истории ее подвигов, завоеваний и открытий.

В Нижнем Новгороде Даль написал много исторических очерков, предназначенных для столичных журналов, они пользовались успехом, автор был еще в зените славы (за десять лет до того Белинский указывал: «...после Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе»).

В Нижнем Даль многим помог устроиться на службу, особенно внимателен он был к интеллигентам-разночинцам, если замечал у них дарования. Так, с его помощью получил место в нижегородской удельной конторе Павел Иванович Мельников.

Даль первым указал Мельникову на его истинное призвание. Однажды Павел Иванович принес ему свой первый рассказ. Даль прочел.

— Иу, вот и прекрасно. Выработаете, да и в печать.

— Да как же, Владимир Иванович? Я не рискну подписать его своей фамилией.

— Возьмите псевдоним.

— Нешто его придумаешь! Вот вы родились в Лугане, вы и есть Казак Луганский, вам и придумывать ничего не надо. А мне какво?

— Тут главное — не мудрить. На Руси все названия должны быть безвычурные и русскому уху понятные. Вы где живете?

— На Печерке, в доме Андреева.

— Ну так вот вам и псевдоним — Андрей Печерский.

Так вошел в русскую литературу писатель Мельников-Печерский, который создал романы о раскольниках, переиздаваемые до сих пор.

Кстати, религиозные темы немало волновали Даля в этот период. Владимир Иванович сумел точно и сжато определить, что такое религия для простого русского человека:

«— Расскажи ж мне, пожалуйста, какая ж твоя вера?»

— Моя вера? А моя вера вот какая: идешь либо едешь, глядишь, мужик по дороге с возом в канаву попал, ну как быть, надо свое дело покинуть, надо подскочить пособить; вот моя вера какая!» («Дедушка Бугров»).

Эти слова служат ответом и на вопрос о религиозных воззрениях самого Даля. Он был верующим, поскольку верующим в подавляющей массе своей был русский народ, а Владимир Иванович Даль любил его непритворно. Но ведь о русском народе тоже не скажешь, что он фанатически религиозен. Напротив. Достаточно вспомнить потрясающе точные слова Виссариона Григорьевича Белинского: «Основна религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается с ними... Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме; и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем».

Тут уместно привести любопытный разговор между пастором Локенбергом и Далем. Однажды пастор зашел к Владимиру Ивановичу со своей дочерью Мари, задушевной подругой Юлии. Если дружат дочери, отцам поневоле приходится встречаться. Локенберг начал нудный разговор о нерадивых прихожанах. Владимир Иванович в церковь не ходил.

— Посещение храма — дело совести каждого, — спокойно заявил Далья.

— Если все будут уклоняться, то это отразится на интересах пастора, — возразил Локенберг.

— Ах, вот в чем дело. Сколько же, по-вашему, должен платить прихожанин ну, скажем, в год?

— Сто рублей, — не растерялся «святой отец».

Владимир Иванович достал деньги, вручил их пастору и улыбнулся:

— Ну вот я и исполнил обязанности прихожанина.

Имя Локенбергов часто звучало в доме Далья: Екатерина Львовна не упускала случая попрекнуть падчерицу излишней привязанностью к Мари.

— Опять к Локенбергам? Бедная я, бедная! Ты меня так ненавидишь, что готова идти куда угодно, лишь бы не дышать со мной одним воздухом.

Юля остается дома. Она уже взрослая девушка, но ведет жизнь затворницы.

Судьба наделила старшую дочь Далья многими талантами: у нее был великолепный голос, она писала для сестер дивные сказки и рассказы, неплохо рисовала с натуры, отлично знала немецкий и французский.

* * *

В середине лета открывалась знаменитая Нижегородская ярмарка. Для Владимира Ивановича это был праздникам праздник: такое стечение народу со всех концов империи!

Ярмарка как город: железные, соляные, рыбные, хлебные, кожаные, посудные ряды, игрушки, чай, азиатские товары, сибирские меха, сало — все, чем богата необъятная страна наша. Высокая фигура Далья мелькала то тут, то там: он любил это огромное людское море, потому что он любил людей. Да и как их не любить! Вот стоит мужик в лаптях, в домотканой сермяжной рубахе, а вот поди ж ты, ину пору загнет такое словцо — хватай карандаш да записывай. И ничего-то он не боится, и на все у него шуточки, пословицы и поговорки. Сорок дней продолжалась ярмарка, и все это время Владимир Иванович посвящал «охоте» за словами, сказками, песнями и лубочными картинками.

В Нижнем Новгороде Даль понял, что не успеет один как следует обработать все свои «запасы». К тому же были люди, которые собирали только сказки или песни, их можно было порадовать большими коллекциями, надо только удостовериться, что плоды твоих трудов попадут в хорошие руки. В этом отношении очень повезло Александру Николаевичу Афанасьеву, которому Даль передал несколько десятков сказок, и Петру Васильевичу Киреевскому, получившему от Владимира Ивановича его собрание песен. Свою уникальную коллекцию, в которой было много лубков XVII века, Даль был вынужден подарить великому князю Константину Николаевичу, который узнал о далевском собрании и изъявил желание с ним ознакомиться. Здесь были Илья Муромец, Бова Королевич, сказание о Мамаевом побоище, огромное количество патриотических лубков времен Отечественной войны 1812 года и сатирические народные картинки неизвестных художников-самоучек. По этим картинкам многое можно было узнать о народе, они имели большую художественную и историческую ценность.

На Нижегородской ярмарке также продавалось много лубков. Даль был первым покупателем, его знали и для него отбирали по одному экземпляру всех картинок. Тех, что особенно нравились, Владимир Иванович брал много: дарить знакомым. Однажды он принес с ярмарки лубочную картину для жены, Екатерины Львовны, но та только ахнула, прочитав надпись, и поскорее спрятала ее, чтоб не увидели дочери. На картине была изображена русская красавица, а внизу напечатаны немудреные стихи:

«Катя, Катя, Катерина,
Нарисована картина,
Перед мальчиками
Ходит пальчиками,
Перед зрелыми людьми
Ходит белыми грудьми».

В одном из своих рассказов Даль пишет: «В первый раз я попал на эту знаменитую ярмарку, ходил, глядел, слушал и наблюдал без всякого дела... Пестрота, движенье и говор поражали и оглушали спокойного наблюдателя... тут городецкие крестьяне с пудо-

выми пряниками; вязниковцы с деревянной посудой; лыковцы с сережками; павловцы с ножами... Мордва, хивинцы, итальянцы, чувашаи, греки, черемисы, немцы, бухарцы, французы, калмыки — все шумит, кричит, жужжит, — и весь говор этот сливается с говором русским и им покрывается».

Надо ли говорить, что Владимир Иванович не пропустил ни одной ярмарки за десять лет, прожитых в Нижнем Новгороде. К этому времени у Даля был уже большой опыт фольклориста. Нам придется снова обратиться к его сочинениям, где изложена программа действий самого Даля:

«Итак, он задал себе вот какую задачу:

1. Собирать по пути все названия местных урочищ, расспрашивать о памятниках, преданиях и поверьях, с ними соединенных, с тем чтобы применять все это впоследствии к бытописанию России, которое необходимо должно во многих случаях поясняться этими памятниками старины.

2. Разузнавать и собирать, где только можно, народные обычаи, поверья, даже песни, сказки, пословицы и поговорки и все, что принадлежит к этому разряду.

3. Вносить тщательно в памятную книжку свою все народные слова, выражения, речения, обороты языка, общие и местные, но неупотребительные в так называемом образованном нашем языке и слоге».

При столь четко организованной работе Даль продвигался в сборе слов и поговорок семимильными шагами.

Хотя Владимир Иванович и услышал однажды на ярмарке: «Пословицами на базаре не торгуют», но он нигде не мог так пополнить свои «запасы», как в Нижнем. Уже к лету 1853 года Даль закончил составление сборника «Пословицы русского народа». Это был классический труд: более тридцати тысяч пословиц, поговорок, речений, прибауток и загадок.

Рукопись далаевского сборника поступила к министру просвещения А. С. Норову, который, не желая брать на себя ответственность, передал ее Академии наук. Академикам А. Х. Востокову и И. С. Кочетову было поручено представить отзыв о сборнике Даля. Отзыв Востокова был положителен, сомнение у ака-

демика-филолога вызвали лишь поговорки на религиозные темы, он был убежден, что их следует исключить из сборника. Кроме того, Востоков недоброжелательно отнесся к попыткам толкования отдельных пословиц, причем Владимир Иванович, учитывая его замечания, вообще вычеркнул объяснения пословиц, говоря: «Пословица несудима».

Зато Кочетов 5 сентября 1853 года представил громную статью на сборник «Пословицы русского народа». В огромном труде этом он не увидел должного порядка, зато нашел «места, способные оскорбить религиозные чувства читателей», и «изречения, опасные для нравственности народной».

Отказавшись на основании этого отзыва печатать сборник отдельной книгой, Академия наук предложила Далю поместить его труд в «Памятниках и образцах народного языка и словесности» в том случае, если автор переработает материал в соответствии с замечаниями, причем сборник, говорили они, будет подвергнут не академической, а обычной цензуре. Канцелярская машина была пущена в ход. Пословицы попали в цензурный комитет. «Знай наших! Бей своих, чужие бояться станут!» — саркастически прокомментировал Даль в письме Михаилу Петровичу Погдину 5 декабря 1853 года действия цензуры.

Цензор Шидловский заявил, что сборник печатать нельзя. В объяснительной записке, написанной 17 ноября 1853 года, Владимир Иванович с нескрываемой издевкой называет Кочетова «почтенным академиком» и не может отказать себе в удовольствии выставить его на посмешище: «Академия не только признает печатание сборника небезопасным, но даже опасается от него развращения нравов. Один из сочленов ее для большей вразумительности придумал даже для моего сборника свою собственную пословицу, сказав, что это куль муки и щепоть мышьяку. Если 35-летний труд мой мог побудить почтенного и всеми уважаемого академика к сочинению и применению такой пословицы, то сборник мой, очевидно, развращает нравы. Остается положить его на костер и предать всесожжению». А в черновике этой объяснительной записки Даль еще более резок: «...другой список я бы готов был поднести Русской академии, если бы не опасался

за это упрека в развращении невинных нравов ее».

А сборник Даля тем временем был снова послан на отзыв. На этот раз «Пословицы русского народа» попали в руки заведующего Публичной библиотекой М. А. Корфа, который выразил несогласие с отзывом протоиерея. Корф указал, что то, в чем Кочетов увидел недостаток рукописи, является ее достоинством.

Корф сумел оценить труд Даля. Он написал, что это «небывалый, драгоценный запас к изучению отечественного слова, отечественной жизни, народной мудрости и вместе народных предрассудков». Однако Корф боялся, что многие выражения опасны для народа, поэтому он предложил напечатать сборник полностью, но не для продажи населению, а лишь в количестве ста экземпляров для главных библиотек.

Но Николай I, ознакомившись со всеми четырьмя отзывами на сборник Даля, печатание ста экземпляров не разрешил. Он также считал этот сборник вредным.

«Пословицы русского народа» были изданы только в 1862 году Императорским обществом истории и древностей российских в Москве. Сборник быстро разошелся. Известно, что, когда Лев Николаевич Толстой попросил Н. Н. Страхова выслать ему «Пословицы русского народа», тот не мог достать их и ответил: «Оказывается, это одна из самых любимых русским читателем книг».

Рассказать о сборнике пословиц трудно, его надо взять в руки, полистать, почитать. Пословицы размещены по темам, тем более ста шестидесяти, а пословиц — тридцать тысяч! «Пословица — коротенькая притча», — пишет Владимир Иванович Даль в статье «О русских пословицах». Он поясняет далее, что пословица — это суждение, приговор, поучение. Пословица не сочиняется, а вынуждается силой обстоятельств, как крик, невольно сорвавшийся с души. Сборник же пословиц — это свод народной мудрости, это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселье; это цвет народного ума, житейская народная правда, своего рода судебник, никем не судимый. Что не дошло до народа, не шевелило ни ума, ни сердца его, того в пословицах нет; что впуталось, добром либо лихом, в быт его, то найдете в пословице. Чтобы

узнать быт народа, нужен не цветник пословиц, не выборка того, что нам нравно, а полный сборник, хотя бы целая четверть его не приходилась нам по вкусу. «Вкрасне и всяк нас полюбит, а полюби-ка вчерне!»

В предисловии к сборнику «Пословицы русского народа» Даль высказывает свою мысль еще определеннее: «Что за пословицами и поговорками надо идти в народ, в этом никто спорить не станет; в образованном и просвещенном обществе пословицы нет... Готовых пословиц высшее общество не принимает, потому что это картины чуждого ему быта, да и не его язык, а своих не слагает, может быть, из вежливости и светского приличия: пословица колет не в бровь, а прямо в глаз».

Вот тут и кроется первопричина любви Даля к пословицам русского народа. При всей своей выдержке и доброте, Казак Луганский был по натуре отчаянный задира. Природу человека не изменишь: хотя Даль за эпиграмму на командующего Черноморским флотом и сидел под арестом, он до конца жизни не упускал случая кольнуть за неправду и недруга, и доброго знакомого, да не в бровь, а в глаз. Правдивость — вот основная черта его характера и в молодости, и в зрелые годы.

Сборник пословиц, подготовленный Далем, выражал душу народа. Это талантливый, щедрый, прямодушный народ, опутанный суевериями и предрассудками. Но сколько в нем неистраченных сил! Как метки, умны, отточенны почерпнутые из самых его недр коротенькие притчи — пословицы!

Откроем сборник наугад Чего тут только нет! Ни в одной книге, изданной в полицейском государстве, нельзя было напечатать того, что напечатал в 1862 году Владимир Иванович Даль: «Без правды житье — вставши, да за вытье», «Про харчи ныне молчи», «У наших судей много затей», «То-то закон. что судья знаком», «Судья суди, а за судьей гляди», «Излишние порядки доводят до беспорядков», «Сколько рабов, столько врагов», «Сегодня в чести, а завтра — свиной пасти», «Что ни двор, то вор, что ни клеть, то склад», «Кто кого смог, тот того и с ног», «Свались только с ног, а за тычками дело не станет», «У святых

отцов не найдешь концов», «Сами кобели, да еще собак завели», «Как на лес взглянет, так лес и вянет», «Что мне золото, светило бы солнышко», «Видит волк козу, забыл и грозу», «Со стороны горе, с другой — море, с третьей — болото да мох, а с четвертой — ох!», «Повадился к вечерне — не хуже харчевни: ныне свеча, завтра свеча, ан и шуба с плеча», «Как мир вздохнет, так временщик издохнет». Есть и безобидные, но сколько в них юмора: «Бог даст, батюшка дворник продаст, а балалаечку купит», «Борода уму не замена».

Одним словом, сборник Даля был запрещен Николаем I недаром: «Худая харя зеркала не любит». В 1853 году Владимир Иванович очень боялся, что его тридцатипятилетний труд не выйдет в свет, поэтому он заказал несколько копий. Один писарский список сборника пословиц хранится в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. На нем — дарственная надпись Даля: «Александру Николаевичу Аксакову от сборщика».

Даль не случайно подарил именно Аксакову рукопись «Пословиц русского народа» — в Нижнем они стали друзьями. Племяннику знаменитого писателя, вождя славянофилов Сергея Тимофеевича Аксакова Александру Николаевичу не было еще и тридцати, но обществу своих сверстников он предпочитал дружбу Владимира Ивановича и Екатерины Львовны.

Аксаков получил отличное образование, много путешествовал, имел большое состояние и был завидным женихом. Во время путешествий по Европе молодой Аксаков пристрастился к спиритизму. Владимир Иванович посмеивался над новомодными увлечениями, но, по обычной своей привычке, не мешал жене устраивать спиритические сеансы. Разговоры и чтение спиритических книг ему не мешали, поэтому многие знакомые считали Даля спиритом. Однако его дочери свидетельствуют в своих воспоминаниях, что Аксаков нашел лишь одного единомышленника в их доме: Екатерину Львовну. Дети переняли от отца ироническое отношение к спиритическим сеансам и, не стесняясь, покидали гостя, едва он принимался за свое любимое дело: чтение «ученых» сочинений спиритов.

Аксаков все больше привязывался к этому семей-

ству Он уговаривал Владимира Ивановича оставить службу и переехать в Москву. Но тут произошли события, которые опрокинули все личные планы: началась война...

Севастопольская война

Нас победить нельзя... Народ наш всегда и везде одинаков; у него нет ни понятий, ни чувств других, кроме довольно ясного уразумения необходимости покоряться всем тяготам оборонительной войны... Сын мой ушел в стрелки, теперь уже приближается к Николаеву, таща на себе ранец. Я благословил его с радостью

(Даль. Из писем 1854 года)

4 октября 1853 года Турция официально объявила войну России. Для Даля эта война имела особое значение: судьбы России решались на Черном море, эскадрой командовал вице-адмирал Павел Степанович Нахимов, его друг по Морскому корпусу, с которым он ходил в свой первый поход в Швецию и Данию.

Поздней осенью 1853 года Даль узнал из газет о Синопском бое. Как бывший моряк, он мог понять, что значит бой шести линейных кораблей и двух фрегатов Нахимова с шестнадцатью судами турецкого флота, стоявшими в своей гавани под прикрытием береговой артиллерии. Владимир Иванович читал и перечитывал сводки о сражении.

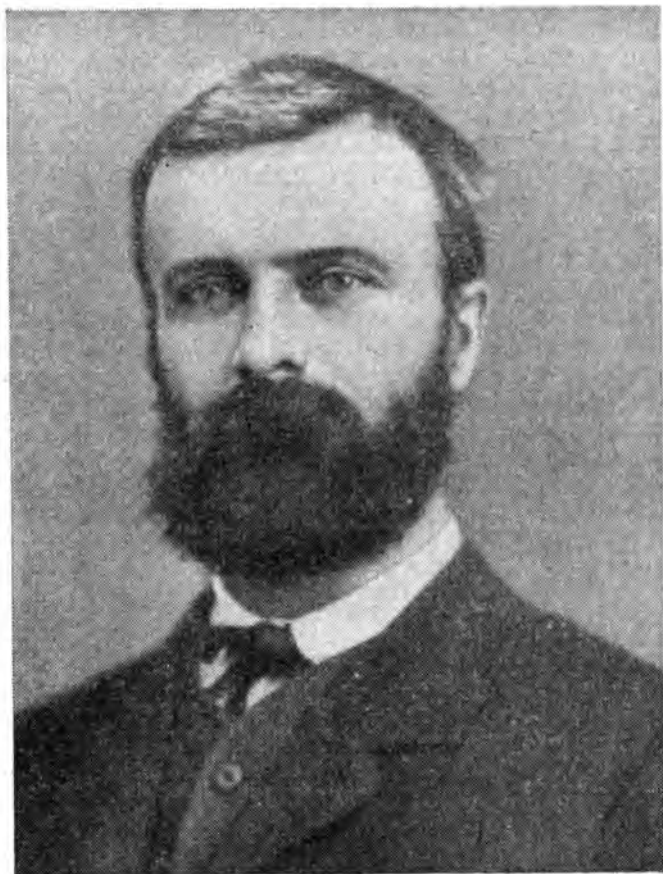
— Нет, ты только послушай! — кричал Даль жене, подходя к ее комнате. — В трехчасовом бою 18 ноября Павел Нахимов потопил и взорвал в Синопской гавани весь турецкий флот, а их командующего Осман-пашу взял в плен! Каково? Не понравится это британцам, помяни мое слово, не понравится.

— Да ты сядь, Володя, — просила Екатерина Львовна, — и прочитай все по порядку.

Владимир Иванович развернул «Северную пчелу» и начал:

— Где это? А, вот: «Айвазовский воротился из Севастополя; он видел там всех и долго говорил с Ос-

ман-пашою и Абдул-беем. Первый 62 лет, второй молодой человек, оба ранены и лежат. Вот рассказ Осман-паши. Мустафа-паша, старший, чем он, адмирал, объезжал на трех пароходах абхазские берега и скинул там до шестидесяти бочонков пороху и много свинца в пластинах, провозглася черкесам, что турецкий флот около 20 ноября высадит к ним многочисленный десант из Синопа и взятого у нас Николаевского поста. Воротясь оттуда, Мустафа-паша встретился с нашим фрегатом «Флора»... Слышишь, Катя, это та самая «Флора», на которой я ходил, дай бог памяти, в 1820 году,— обратился Владимир Иванович к жене.— Где я остановился? А, вот: «...с нашим фрегатом «Флора» и напал на него; сражались долго, и один пароход был так разбит, что двое других повлекли его на буксире прямо в Константинополь. Между тем Осман-паша ждал Мустафу и не смел выйти из Синопа, видя три русских корабля, ибо Нахимов стерег его и послал уже в Севастополь за подкреплением. Как скоро пришел Новосильский с тремя еще кораблями, Нахимов начал атаку и в два с половиной часа заставил замолчать и крепость, и турецкие фрегаты, но взорвание их продолжалось еще и ночью. Ветер был к берегу, почему сгорел и город. Турецкий экипаж бежал на берег, но много его и погибло. Осман-паша считает последних до 3000, а бежавших до 1700. Сам он провел ужасную ночь. Его сильно ранило в ногу; он лежал почти без чувств, отчасти в воде, которою стал наполняться их корабль; кругом вопли и плач раненых и умирающих. У него свои же люди вынули ключ и обокрали его, сняли с него шубу — ужасно! Когда пересадили его на русский корабль, все изменилось: за ним стали ухаживать, покоить его. Он удивляется и благодарит бога. Матросы наши отдавали пленным даже куртки свои. Зато он не может довольно ругать своих. Когда спросили его, почему он не взял с собой в Синоп линейных кораблей,— «с нашими матросами было бы все то же!» — отвечал он. Герой победы Нахимов, с которого Айвазовский хотел нарисовать портрет, не позволил того и держит себя простодушно-скромно. «Не важность,— говорит он,— победить турок, иное дело, если бы были вместо их другие, мы всем обязаны Лазареву».



Лев Владимирович Даль.

Владимир Иванович посмотрел на жену.

— Знаешь, Катя, Нахимов, конечно, герой, но он совершенно не изменился...

Когда союзники высадили в Крыму десант, в далеком от всех морей Нижнем Новгороде Даль начал активнейшую деятельность. Ему не терпелось что-нибудь предпринять. Владимиру Ивановичу Далю принадлежит честь создания одного из первых в России добровольных полков.

В город на Волге доходили все более тревожные вести. Война входила в каждый дом. Из столицы пришло письмо от сына. Льву было девятнадцать лет, он учился на третьем курсе императорской Академии художеств, отличался блестящими способностями, но началась война, и будущий архитектор просил отца разрешить ему поехать на театр военных действий. Отец ответил согласием с одним условием: если Лев получит за курсовую работу Большую серебряную медаль, дающую право продолжать образование даже в том случае, когда студент делает перерыв в учебе.

Лев Даль искренне стремился на поле битвы, ему невозможно было сидеть в Санкт-Петербурге, когда родина была в опасности, он представил первоклассные работы и был удостоен Большой серебряной медали. Владимир Иванович предложил сыну приехать в Нижний, откуда в октябре 1854 года должен был выступить полк добровольцев, «охотников», как их называл Владимир Иванович.

Три тысячи стрелков явились из удельных имений в Нижний, по Печерскую улицу. Стрелковый полк шел в Севастополь через Москву и Николаев. В ранце у Льва Даля были кисти, краски, карандаши, бумага. Художник хотел рисовать.

Путь был долог, а добровольцам скорее хотелось попасть в бой. Вот наконец и Крым. Из-за дождей насили добрались до Бахчисарая. Остаток пути, каких-нибудь тридцать верст, двигались трое суток: все время приходилось уступать дорогу бесконечным вереницам телег с ранеными. Это эвакуировались жертвы сражений при Балаклаве и Инкермане, давших русским одиннадцать тысяч раненых. С подвоя доносились стоны, дождь лил не переставая, а войска упорно шли вперед, по колено в грязи. Все громче и отчетливее был слышен гул севастьяпольских пушек. «Скорее, скорее!» — думал Лев.

Наконец поднялись на гору, с которой открылся вид на белый город, спускающийся к морю. Из-за туч выглянуло солнце и осветило изумрудно-синий залив с извилистыми берегами. Молодой художник в жизни не видывал ничего подобного.

У Льва Владимировича было поручение от отца — найти в Севастополе двух его старых друзей: Пиро-

гова и Нахимова. Найти Пирогова было нетрудно: его все знали, хотя он только что прибыл в Севастополь и почти не выходил из дома Дворянского собрания на берегу залива, где теперь размещался госпиталь. Туда и направился Лев Владимирович. Он открыл тяжелые, красного дерева с бронзой двери и заглянул в танцевальный зал с мраморными колоннами. Пол был сплошь покрыт бурыми пятнами крови. Повсюду лежали раненые.

Лев прошел дальше, к операционной. Николай Иванович потом рассказывал, что поздно вечером, сделав несколько срочных ампутаций, он вдруг услышал, как незнакомый голос спрашивает у сестры милосердия, можно ли увидеть профессора Пирогова. Хирург бросил через плечо: «Можно!» — и несколько минут спустя вышел из операционной. Он сразу заметил высокую фигуру в солдатской шинели. «Этого только не хватало, — пронеслось у него в голове, — так и есть. Галлюцинации». Перед ним стоял его добрый старый друг Володя Даль, точно такой, каким он его впервые увидел в Дерпте четверть века назад, только еще красивее и еще моложе.

— Виноват, это вы, сударь, спрашивали доктора Пирогова?

— Я, — ответил тот и смутился. — Николай Иванович, мой батюшка велел вам передать поклон. Я сын...

— Даля? — обрадованно перебил Пирогов.

— Да. Лев...

— Знаю я тебя, сударь, вот с такого возраста знаю, — Николай Иванович показал рукой на полметра от пола. — Однако, ну и похож! Иди-ка к свету, я тебя как следует рассмотрю. И ростом в батюшку. Сколько ж тебе лет?

— Двадцать.

— Какого полка?

— Нижегородского стрелкового.

— Хорошо. Пойдем ко мне, братец, — сказал Пирогов, набрасывая на плечи солдатскую шинель. — По дороге расскажешь мне о своем батюшке. Мне о нем все интересно знать. Хорошее это было время, в Дерпте! И как молоды мы были, боже мой, как мы были молоды! Как он там? Все такой же? Вот у кого

счастливым характер! Увидит знакомого — так и вспыхнет от радости! Надо же столько доброты иметь в сердце. Все, чай, пишет?

Лев ответил: пишет, и слишком много. Николай Иванович понял, что задел большой вопрос.

Пирогов решил сыграть шутку с Нахимовым.

— Я тебя спутал с батюшкой твоим,— сказал он Льву,— пусть и Павел Степанович обознается.

Нахимов, увидя Льва Даля, сначала не обратил на него внимания — он заканчивал разговор с флигель-адъютантом. Нахимов бросал резкие, кроткие фразы, лицо его было сурово:

— Вы опять с поклоном-с, благодарю вас покорно-с, я от первого поклона был целый день болен-с, не надобно нам поклонов-с, попросите нам плеть. Плеть-с пожалуйте, милостивый государь, у нас порядка нет.

Флигель-адъютант поклонился и быстро зашагал прочь, а Пирогов направился к адмиралу.

— Павел Степанович, друг сердечный, после того как ты расправился с Альбединским, смени гнев на милость. Разреши тебе представить одного молодого человека... — начал было Пирогов.

— Нет, ты только подумай! — не мог успокоиться Нахимов.— На прошлой неделе он мне передал поклон и поцелуй от самодержца всея Руси, ну я, естественно, поблагодарил, хотя мне больше нужна кислая капуста матросам щи варить, да-с. Так сегодня к обеду он опять явился с приветом-с...

— Да погоди ты со своей капустой! Ты посмотри, кого я тебе привел. Узнаешь?

Павел Степанович взглянул на Льва и расхохотался.

— Даль, ей-богу, Даль! — радостно воскликнул он, пожимая руки юноше и оглядываясь на Пирогова.— Ну и сходство! Ни дать ни взять второе издание Даля.

— Несколько улучшенное,— вставил Николай Иванович.

Лев попал на шестой бастион. Там он часто видел Нахимова, когда адмирал объезжал бастионы на маленькой серой лошадке. С матросами и солдатами адмирал шутил, был весел, остроумен и дружелюбен, но, если поблизости находился хоть один начальник, Па-



П. С. Нахимов.

вел Степанович становился сух и замкнут, со всем соглашался и был преувеличенно сговорчив: «Да-с», «Нет-с», «Так точно-с».

Нахимов любил матросов, и они отвечали ему такой же любовью и преданностью. Говорили, что адмирал раздавал матросам все свое жалованье, потому что был холост и жил очень просто. Не забывал послать гостинец раненому молоденькому мичману, навещал больных. Одно присутствие адмирала Нахимова меняло настроение солдат. Так Лев Даль писал

о Павле Степановиче Нахимове в своих кратких письмах отцу.

Арслан послал Владимиру Ивановичу словарик матросских и солдатских словечек, бывших в ходу во время Севастопольской обороны. Их было немного, в «Толковый словарь» они не вошли, но отец был очень рад подарку. Ему приятно было узнать, что надменного командующего князя Александра Сергеевича Меншикова окрестили Изменщиковым. Даль перечитывал присланные сыном записи и мог ясно себе представить, в какой обстановке они родились. Пуля — «сирота», ядра — «жеребцы» или «галки», картечь — ну что может быть обыденнее! — «картошка». А самодельные снаряды, которые неунывающий нахимовский артиллерист начинает так, что они превращаются в грозное оружие, — это «капральство». Один матрос послал в неприятельские траншеи железную бочку с порохом и гранатами. В воздухе она взорвалась, и раскаленные гранаты смертоносным фейерверком полетели на головы перепуганных врагов. С тех пор, когда наступало затишье, солдаты группами ходили от одного артиллериста к другому, упрашивая его пустить «капральство».

В январе Лев узнал, что Пирогов перебрался на осажденную Южную сторону, чтобы не возить раненых, не имевших теплой одежды, через бухту. Было холодно: шесть — девять градусов мороза, и перевозить раненых становилось все опаснее. Несколько раз Лев не заставал Пирогова дома: несмотря на дождь и холод, Николай Иванович присутствовал при отправе раненых.

Однажды, в последних числах января, он мельком видел Пирогова на шестом бастионе. Лев Владимирович примостился со своим этюдником, чтобы зарисовать пятнадцатиминутное перемирие. Это было великолепное зрелище: на бастионе подняли парламентарный флаг. Выстрелы умолкли. Русский парламентар на белой лошади с развевающимся белым знаменем медленно спускался вниз, навстречу французам. Впереди него ехал трубач, рядом — четыре всадника. Под звук трубы из французских траншей показались пешие парламентарии, тоже с флагом. На углу кладбища русские остановились и стали поджидать фран-

цузов. Те подошли, обменялись письмами пленных, поговорили и разъехались. Как только парламентарии скрылись в своих укреплениях, снова полетели бомбы. И тут-то, возвращаясь к своей роте, Даль увидел сажающегося в кибитку Николая Ивановича и парламентариев со свернутым белым флагом. Льву Владимировичу было неловко окликнуть Пирогова, а тот его не заметил.

18 февраля 1855 года умер Николай I. Из Петербурга и Москвы до Нижнего доходили слухи, что царь, не выдержав позора поражения, покончил жизнь самоубийством. Говорили, что лейб-медик Мандт по приказанию государя дал ему яд. После смерти императора Мандт удрал в Германию.

Смена царствования сулила перемены. Александр Николаевич Аксаков снова настойчиво рекомендовал Даю переехать в Москву, и Владимир Иванович начал всерьез подумывать о переезде: в Москве можно было издать и словарь, и собрание своих сочинений. Но тут пришла тревожная весть. 6 марта 1855 года Владимир Иванович получил телеграмму из Одессы: «Юнкер Даль очень труден тифом». Первая мысль была — ехать. Он схватил телеграмму и бросился к жене:

— Катя! Арслан при смерти!

Екатерина Львовна побледнела. Она знала, как он любил сына, и первая мысль была, что муж не перенесет его гибели.

— Ранен?

— Нет, тиф.

— Если тиф, значит, выживет.

Странно, сколько тифозных больных умерло на глазах бывшего военного лекаря Владимира Даля, а вот простое и, казалось бы, неавторитетное высказывание женщины, сроду не видевшей тифозной горячки, его немного успокоило.

— Выживет? — переспросил несчастный отец.

— Конечно, выживет. Сердце молодое, кризис пройдет — и все в порядке.

К Владимиру Ивановичу вернулась способность думать. По дороге в канцелярию он составил план действий. Владимир Иванович написал письмо своему старому другу, издателю «Москвитянина» Погодину,

умоляя его немедленно передать по телеграфу депешу в Одессу доктору Дитриху, чтоб тот взялся лечить Льва (в Нижнем телеграфа еще не было).

Все эти дни Владимир Иванович был ни жив ни мертв от волнения. Наконец 18 марта пришло долгожданное известие: «Вышел из опасности, ходит». 24 мая Лев Владимирович написал отцу первое письмо. Он три недели был без сознания и писал, что это время у него украли.

Только-только перестал волноваться о сыне, грянула другая беда: весть о гибели Нахимова. Это казалось невыносимым, невозможным, но это была правда: вот она — статья в газете. Нахимов был ранен на третьем бастионе пулей в висок и умер, не приходя в сознание. Когда покойного адмирала везли мимо флота, на кораблях до половины приспустили флаги. «30 июня 1855 года. Сегодня настала тяжелая, печальная минута, которой Севастополь так долго страшился. Сегодня Черноморский флот лишился своего героя-вождя и облекся в тот сердечный траур, который не знает ни меры, ни срока! Доблестный наш адмирал, незабвенный Нахимов скончался сего числа в 11 часов и 10 минут утра...» — гласило официальное сообщение.

«Беда не приходит одна», — часто повторял Даль. Вести из Севастополя шли тревожные, со дня на день ждали, что город будет сдан, и, только когда это известие было получено, стало ясно: в душе жила надежда, что этого не случится.

Севастополь сдан... Бюллетень от 27 августа: «В 12 часов пополудни. Неприятель получает почти ежедневно новые подкрепления. Бомбардирование продолжается огромное. Урон наш более 2500 человек в сутки». В 10 часов утра: «Войска вашего императорского величества защищали Севастополь до крайности, но более держаться в нем, за адским огнем, коему город подвержен, невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив окончательно 27 августа шесть приступов из числа семи, поведенных неприятелем на Западную и Корабельную сторону; только из одного Корпилова бастиона не было возможности их выбить. Враги найдут в Севастополе одни окровавленные развалины».

— Сколько жертв! — печально проговорил Даль.—
Боже мой, сколько жертв!

Падение Севастополя было, по меткому выражению вождя славянофилов Аксакова, воспринято, как «обличение всей гнили правительственной системы, всех последствий удушающего принципа». И хотя враг был обескровлен и «победителем» его можно было назвать лишь условно, царизм понес жесточайшее поражение и в международной политике, и внутри империи. «Крымская война нанесла сильнейший удар крепостной системе, уже давно подточенной внутренним кризисом, и содействовала повороту правительства на путь реформ»,— пишет советский историк академик Н. М. Дружинин. Не «добрая воля», а историческая необходимость заставила скомпрометированный войной царизм пойти на уступки: освободить политических заключенных, разрешить печатание ранее запрещенных цензурой книг и провести крестьянскую реформу.

Однако мы забежали вперед. Вернемся к тому году, когда вся страна с напряжением ожидала перемен. Слухи, один другого невероятнее, будоражили общество. Начали поговаривать даже... об отмене крепостного права. Дело дошло до того, что московский генерал-губернатор Закревский во время пребывания Александра II в первопрестольной столице обратился к царю с просьбой успокоить московских дворян, взволнованных слухами об отмене крепостного права.

30 марта 1856 года царь выступил перед предводителями московского дворянства: «Слухи носят, что я хочу дать свободу крестьянам. Это несправедливо, и вы можете сказать об этом направо и налево; но чувство враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует... Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти... гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». Как ни расплывчаты эти обещания, они все-таки являются первым официальным заявлением о необходимости отмены в России крепостного права. Это было вызвано глубокими внутренними причинами: начался общественный подъем, всколыхнувший всю империю.

В середине лета 1856 года в Нижнем Новгороде ждали приезда нового государя. Далю было прика-

зано три ночи во время пребывания Александра II в городе освещать все здание конторы специальными фонариками. Это стоило триста рублей серебром, но денег отпущено не было. Даль в раздумье стоял среди канцелярии.

— Ну что тут станешь делать? — недоумевал он. — Разве повеселиться на свой счет?

Чиновники так и покатались со смеху.

«По случаю всемилостивейшего манифеста о восшествии на престол» Александра II было освобождено много декабристов. Путь возвращающихся из ссылки бывших заключенных лежал через Нижний Новгород. Так, в начале сентября 1856 года в доме на Печерской улице появился неожиданный гость: больной, измученный друг Пушкина Иван Иванович Пущин.

Владимир Иванович рассказал ему о последней ночи великого поэта. Он помнил эту ночь до мельчайших подробностей. Пущин внешне был спокоен, но, когда Даль передал слова умирающего: «Как жаль, что нет здесь ни Пущина, ни Малиновского!» — у гостя на глазах показались слезы. Он плакал, не стыдясь своей слабости...

Однако Иван Иванович Пущин, расставаясь с Далем, не преминул сказать на прощание, что его весьма огорчила статья в «Русской беседе» о вреде грамотности. Это было «Письмо к издателю А. И. Кошелеву», помещенное в третьем номере за 1856 год. Даль опасался, что «бумажное производство, ничего не обеспечивающее», то есть бюрократизм, поведет к «растлению нравственности». Письмо это содержит много неверных и путаных положений, в свое время его критиковали и Чернышевский, и Добролюбов, и Погодин. Однако при личной встрече Владимиру Ивановичу всегда удавалось доказать свою правоту. Вот как описал разговор с Далем один из его критиков, Николай Александрович Добролюбов, приезжавший в свой родной Нижний Новгород к отцу: «Самое отрадное впечатление оставил во мне час беседы с Далем. Один из первых визитов моих был к нему, и я был приятно поражен, нашедши в Дале более чистый взгляд на вещи и более благородное направление, нежели я ожидал. Странности, замашки, бросавшиеся в глаза в его статьях, почти совершенно не существуют в раз-

говоре, и, таким образом, общему приятному впечатлению решительно ничего не мешает. Он пригласил меня бывать у него, и сегодня я отправляюсь к нему...»

Невозможно было интеллигентному человеку приехать в Нижний Новгород и не познакомиться с Далем или, по крайней мере, не поговорить о нем с друзьями. Всею городу было известно, что к ним перевелся из столицы известный писатель Казак Луганский, нижегородцы гордились новым земляком. Слава Даля разнеслась по всей России, он был одним из самых популярных писателей.

А через год в Нижний Новгород приехал человек, особенно близкий Далю, Тарас Шевченко. Владимир Иванович узнал его сразу, но тот так постарел, что казался теперь намного старше Даля, хотя на самом деле был на тринадцать лет моложе его.

17 ноября 1857 года Шевченко записал в своем дневнике: «Сделал визитацию В. И. Далю, и хорошо сделал, что я, наконец, решился на эту визитацию. Он принял меня весьма радушно, расспрашивал о своих оренбургских знакомых, которых я не видел с 1850 года, и, в заключение, просил заходить к нему запросто, как к старому приятелю». Тарас Григорьевич часто бывал у Даля, они много говорили, но Шевченко так и не узнал о том, какую роль сыграл Владимир Иванович в его освобождении. Это было очень похоже на Даля: он не любил говорить о своих добрых делах, да и не считал их чем-то особенным.

В конце 1857 года произошло событие, которое вошло в летопись нижегородского театра: чтобы повидать своего старого друга Тараса Шевченко, в Нижний приехал Щепкин. «Праздникам праздник и торжество есть из торжеств! В три часа ночи приехал Михаил Семенович Щепкин», — записал Шевченко в дневнике 24 декабря 1857 года.

Семидесятилетний великий артист увидел своего несчастного друга после долгой разлуки. Они бросились друг другу на шею и разрыдались. Щепкин провел в Нижнем шесть дней. Он выступил в четырех спектаклях. Нижегородский театр был переполнен. Даль с тремя старшими дочерьми не пропустил ни одного представления. Они видели «Ревизора» Гоголя, «Москаля-чаривныка» Котляревского, «Бедность не

порок» Островского, французскую пьесу «Матрос» Соважа и Делоре. И долго потом перед глазами стояли образы городничего, матроса, Михайлы Чупруна и Любима Торцова. Потрясенный Даль не мог сказать ни слова, когда после первого спектакля зашел в уборную Михаила Семеновича. Невероятное нервное напряжение на сцене дало разрядку после спектакля: плакала М. В. Мочалова, плакала молоденькая артистка нижегородского театра Катя Пиунова, не мог сдерживать слез Щепкин. Тарас Григорьевич крепился, откашливался, но это стоило ему немалых усилий.

Владимир Иванович виделся с Щепкиным несколько раз, но он понимал, что артист приехал ради Шевченко, и ему было неловко отнимать у них время.

Потом стало известно, что сорокатрехлетний Тарас Григорьевич просил руки Кати Пиуновой и, получив отказ, едва не слег от огорчения. Юная красавица вначале благосклонно принимала ухаживания Шевченко, но все изменилось после того, как в «Нижегородских губернских ведомостях» 1 февраля 1858 года появилась статья Тараса Григорьевича «Бенефис г-жи Пиуновой», в которой честный рецензент наряду с похвалами высказал и критические замечания.

О Кате Пиуновой Шевченко писал следующее: «Бенефициантка обладает всеми задатками сценического искусства, а это, вместе с молодостью ее, конечно, подает большие надежды в будущем. Но мы не скроем, что самые успехи ее порождают и большие требования. Сколько можем судить, госпожа Пиунова с особенным пристрастием выбирает роли наивно-милых девушек. Слова нет: это лучшие ее роли; но она не должна забывать, что в них же кроется однообразие и легкость, которые могут вредить ее таланту. Мы искренне думаем, что она может смело расширить свой репертуар; труда будет больше, и вдумываться в роли нужно будет серьезнее, но зато талант развернется шире. Наше мнение подтверждает сама госпожа Пиунова: в комедии Островского «Бедность не порок» она играла разбитную вдовушку, и выполнила эту роль с большим тактом, а тут, конечно, обыкновенными способностями не обойдешься, особливо в семнадцать лет. Сюда же можно отнести и роль Татьяны

в «Москале-чаривныке». Пьеса эта была поставлена в два дня по желанию Михаила Семеновича Щепкина, приехавшего случайно в Нижний и согласившегося участвовать в трех спектаклях, и, несмотря на поспешность постановки, а также незнание малороссийского языка, г-жа Пиунова в роли Татьяны была очень хороша, так что наш ветеран-артист был в восторге и говорил, что он ни с кем с таким удовольствием не играл, а мнение Щепкина может служить авторитетом. В нашей милой бенефициантке он принял сердечное участие, советовал ей серьезно трудиться, и, конечно, советы и напутствие вполне оценены ею. В «Парижских нищих» г-жа Пиунова исполнила роль Антуанетты весьма совестливо, но видно, что у нее не было сочувствия к этой роли. Еще как-то мы заметили в одном месте, именно в свидании с дочерью банкира, когда она приходит просить работы, неправильность в дикции, и позволяем себе обратить ее внимание на этот предмет».

Для Кобзаря правда была дороже всего на свете. И он жестоко поплатился. «Боже мой,— подумал Владимир Иванович, когда ему рассказали об этой ставшей известной всему городу истории,— можно ли до такой степени не понимать женского сердца!»

Вскоре несчастный жених уехал в Петербург. Больше Далю не довелось встретиться с Тарасом Григорьевичем. Через три года Шевченко, здоровье которого было подорвано десятилетней ссылкой, умер.

* * *

Уже давно кончилась война, и тут-то начались мтарства несчастного Арслана. Высокий, стройный, с правильными чертами лица и умными серыми глазами, он был красив, и его определили в дворцовую роту, что считалось тогда большой честью.

«Сын мой положительно не намерен был служить в военной службе, ни даже в дворцовой роте, а просился скорее к делу, в академию,— писал В. И. Даль В. М. Лазаревскому,— он вступил на военное время, а теперь давно очень мучается тунейдством и теряет золотое время. Просить об увольнении его в академию я сам не стану и вообще не рассчитываю ни на какие

особенные отличия и изъятия, но, зная, что по общему положению офицеров увольняют для слушания чтений в университетах и других заведениях, я не считал это важным и неисполнимым».

Только в 1857 году Лев Даль вернулся в академию. Уже в следующем году он получил Малую золотую медаль, а в 1859 году окончил ученье с Большой золотой медалью, за что ему полагалась командировка за казенный счет в Германию, Италию и Францию. Из пятилетней заграничной командировки Лев Владимирович вернулся в 1865 году и за представленный отчет и работы получил в следующем году звание академика.

Забегая вперед, можно сказать, что сын Владимира Ивановича успел много сделать, хотя и умер довольно молодым. Им построен ярмарочный собор и надгробие Минину в Нижнем Новгороде, ему же принадлежали изумительные мозаичные панно в храме Христа Спасителя в Москве. В последние годы жизни он занимался русским народным зодчеством, много ездил по северным губерниям и за научный труд, основанный на этих изысканиях, был избран действительным членом Московского императорского археологического общества. Лев Владимирович Даль умер в 1878 году, в возрасте сорока четырех лет, лишь на шесть лет пережив горячо любившего его отца.

Близился конец сорокалетней службы Владимира Ивановича Даля. Последние пять лет ему было уже очень трудно работать в канцелярии: сказывался требующий все больше и больше сил труд над словарем. Письма этих лет друзьям и родным нельзя читать без волнения: боязнь, что не успеет кончить свой труд, заботы о семье в восемь человек, страх перед дороговизной и нуждой сквозят в каждой строчке: «Оканчиваю букву Б; по расчету, надо бы поработать годов тридцать. Кому завещать начатое и все «запасы»? Хотелось бы поселиться в Москве и там работать и умереть там; да не сумею уладить. Не стал бы я, по-Вашему, таскаться по Рейну, бог с ним, у нас дома много дел» (24 мая 1856 года). Дальше — хуже: «Хилею со дня на день — а хотелось бы поработать, сколько господь попустит, над словарем, который дошел только до буквы З. Но, вышедши в отставку, я могу расчи-

тывать всего-навсего только и с пенсией на две тысячи доходу; как я проживу со своей семьей в Москве? А неужто мне забиться ради дороговизны в чуждый городишко? Для меня это бы все равно, но надо думать и о других; заехать куда и умереть не штука, да как покинуть после детей на чужбине?» (25 августа 1857 года).

Служить Далю было с каждым днем труднее. Слово «бюрократизм» он, разумеется, не пишет, но сущность этого зла, то бишь «бумажной части», объясняет отлично: «А что делает департамент одной проволочкой? Это зло неисправимое, от которого самая ретивая деятельность поражается параличом. Сердце болит, глядя на это. А что делает он бестолковыми и превратными распоряжениями, ни дай, ни вынеси, никому ни на пользу, а во вред и себе, и людям? Но не делай своего хорошего, говорит всякое начальство, а делай мое худое. Так и будем!» Даль ненавидел бюрократизм, поскольку он «составляет прямую цель службы и трудов» и мешает бороться со злоупотреблениями. Он, с его рыцарской честностью, не мог примириться с жестокостью и произволом. «Крестьяне наши нигде и никакой защиты не найдут», — эти слова Владимира Ивановича в период предреформенных смут свидетельствуют о том, что он вовсе не был эпически спокойным наблюдателем происходящих событий.

А вот что писал В. И. Даль В. М. Лазаревскому 18 ноября 1858 года: «Не знаю, что я буду делать с полициями. Они принимают такое наглое обращение, какого и прежде не бывало: ни страха, ни боязни, потому что нет никакого взыскания. В любимцы вдруг попали самые выжиги, буквально какие-то опричники, Ноздревы с компанией. Непостижимо, как это могло сделаться. Целая цепь непотребного заступничества образовалась исподволь и заступила дорогу порядочным людям. Мы с Бетлингом держимся только на ниточке. Ненависть полицейского легиона к нашему брату может быть понятна тому только, кто видит на месте, как мы вырываем из зева ея один лакомый кус за другим».

Отношения Даля с местными властями обострились. Он действительно «держался на ниточке».

После очередной размолвки с губернатором Александром Николаевичем Муравьевым действительный статский советник Даль подал в отставку. Это было в середине октября 1859 года.

Счастливым дом

Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет.

(Даль. Пословицы русского народа)

К Москве подъезжали ночью, и Владимира Ивановича это огорчило: «Москва белокаменная, в нее днем надо въезжать».

В предрассветной мгле вырисовывались очертания города. Въехали в Рогожскую заставу, обогнули Садовое кольцо и на Кудринской площади свернули вниз. Рассвело.

— Где тут дом Иваненко? — спросил Даль у водозова.

— А вот он, — ответил тот, указывая на большое здание на правой стороне.

Поднялись на холм, с которого открывался вид на Пресненские пруды и поле. Барский дом с колоннами, с высокими окнами главенствовал над всей местностью. За домом был разбит парк, доходящий до Садовой-Кудринской. Вековые липы этого парка сохранились до сих пор. В наши дни здесь построили маленькое стеклянное кафе «Олень».

Из кареты вышли дети Даля: высокий молодой человек и четыре девушки.

— Как красиво! — сказала Ольга. — Какое огромное поле!

— Ой, а там озера! — весело закричала Катя.

Из кареты донесся стон, и все сразу умолкли: у матери от шума начиналась мигрень.

Дом показался им дворцом. Они разбрелись по комнатам, теряли друг друга, потом неожиданно находили, аукались, как в лесу, пока не вбежали в большой зал с голубыми обоями. Потолок в зале расписан: над ними было небо, а по небу неслась Аврора. Изысканная палитра, стремительность полета, дивные про-

порции богини выдавали незаурядного живописца. Сестры остановились пораженные, а подошедший отец недовольно заворчал:

— Сюда не входите, это, наверно, чужое помещение.

— Никак нет, батюшка барин,— вмешался дворник, который помогал кучеру сгружать ящики.— Говорили, весь дом сдан одному хозяину.

— Сколько же здесь комнат? — испуганно спросил Владимир Иванович.

— Тридцать две и еще мезонин для прислуги,— с гордостью ответил дворник.

— Да тут на одних дровах прогоришь! — ужаснулся Владимир Иванович.— Избаловались на казенных квартирах, а теперь нелегко придется. Ну эти-то хоромы нам ни к чему.

Он не велел распаковывать ящики с рукописями и сам же огорчился:

— Вот досада, думал сегодня же достать все необходимое, а теперь что прикажете делать?

Владимир Иванович ходил по комнатам огромными шагами, на всех сердился и все время повторял, что вот, мол, ехали-ехали, да так и не доехали.

— Да распакуй ты свои бумаги,— не выдержала жена,— и себя измучил, и нам ничего не даешь делать.

— Ты считаешь, можно распаковать?

— Давно пора. Вот и стол подходящий. А тут расставишь коробки, места-то сколько!

Екатерина Львовна хорошо знала характер мужа. Едва он достал ящики со связками «полос», как сразу лицо его стало спокойным и приветливым, как всегда.

В тот же день пришел Александр Николаевич Аксаков, поздравил с приездом. На вопрос, доволен ли Даль домом, который он ему подыскал, прямодушный Владимир Иванович ответил, что недоволен.

— Что так? — удивился Аксаков.

— Больно велик, Александр Николаевич, половина комнат пустует.

— Да их сдать можно, Владимир Иванович. Судите сами: сдадите три-четыре комнаты, вот аренда вашего дома и окупится. Очень выгодная коммерция.

— Коммерсант я никудышный, Александр Николаевич. Ну а вообще премного вам благодарен за ус-

лугу. Для нас это великое дело — приехать в теплую квартиру да еще и с мебелью.

В доме, где поселился Даль, жила старенькая нянюшка. Она и рассказала Владимиру Ивановичу подробную историю барского особняка. Старушка выныщила барышень Толстых, дочек графа Льва Васильевича Толстого, и помнила, что дом этот был выстроен, как сказывали ее хозяйки, историком князем Щербатовым, в свое время очень известным человеком.

Старушка помнила московский пожар 1812 года, будто он был вчера.

— И вот, батюшка барин, загорелся наш дом. Все как есть правое крыльцо так и занялось. До сих пор благодарю бога, не дал нам, грешным, сгореть. А огонь шел стеной, истинная правда, так и подступал с Садовой. Не приведи господи увидеть такой пожар! Покойник барин, Лев Васильевич, царство ему небесное, до последнего дня не уезжал, все не верил, что придет француз.

— Как же потушили этот дом? — удивился Владимир Иванович. — Он же деревянный!

— Вестимо деревянный, только снаружи будто каменный. Да вон рядом Вдовый дом, даром что каменный, как свечка горел, одни стены остались. На все воля господня. Сами мы дом-то потушили. Как Зубово загорелось, мы из прудов во все бочки воды натакали. И залили огонь. Да и то сказать, пожар уже стихал. И ветра не было. Ну, а главное, батюшка, дом, видать, счастливый.

— Значит, Иваненко у Толстого купил дом?

— Что ты, батюшка барин! У моих хозяек купил его Чаплин, у Чаплина — Шаховской, а уже у Шаховского — Михаил Моисеевич Иваненко. Я их всех помню; что вчера было, хуже знаю, чем дальние года. Ежели ты, батюшка, стариной интересуешься, я тебе все расскажу. И про грузинского царя, что поселился со своими людьми по берегам Пресни, отчего и улица стала называться Большая Грузинская, и какие под нашим домом подземные ходы высотой в человеческий рост, где не иначе как клады зарыты, потому что дом многих хозяев пережил.

Дом Даля действительно оказался счастливый. В суровую зиму 1941 года во дворе его упала бомба,



Дом на Большой Грузинской улице, где провел последние годы жизни В. И. Даль.

с минуты на минуту мог раздаться взрыв, но бомба не взорвалась. Подоспевшие саперы обнаружили вместо детонатора... чешско-русский словарь. Чья-то дружеская рука в далеком вражеском тылу обезвредила чудовище.

Надо же было случиться, чтобы спасенным оказался именно дом великого лексикографа!

Дом обветшал, но до сих пор служит людям. Он несколько изменился: перестроен фасад, в двусветных залах убраны верхние окна, разобраны шестиколонный портик и терраса. Но дом прочен, только цоколь белокаменного фундамента за два века несколько ушел в землю. Сейчас еще живы люди, которые помнят липу Даля, срубленную во время строительства нового корпуса Министерства геологии СССР. А вот лиственница, посаженная Владимиром Ивановичем, стоит до сих пор.

Однако вернемся к далевским временам. Когда Владимир Иванович рассказал жене, что дом этот счастливый, она настояла на его покупке. Но Владимир

Иванович как назло попал в полосу несчастий. Обострилась болезнь Юлии, он предвидел, что она не долго протянет. Врачи советовали везти ее в Италию, а больная плакала и говорила, что оттуда не вернется. Кроме того, предстояла разлука с сыном. Академия художеств посылала Льва Даля за границу на пять лет, и Владимир Иванович все повторял, что не доживет до его возвращения.

Хлопоты по устройству на новом месте несколько отвлекали всех от грустных мыслей, но настроение у взрослых было подавленное. Большая семья Даля оценила дом только после того, как все разместились по своим комнатам. Владимир Иванович занял три смежные комнаты да еще ползала. Екатерина Львовна — малый зал с картинами и дорогими зеркалами. Но жена Даля не любила ни картин, ни дорогих зеркал, она заставила их ширмами, и комната приобрела нелепый вид. Екатерине Львовне это было безразлично: к прежним недугам несчастной женщины прибавилась еще невралгия лица от ветра, сквозняка и свежего воздуха, так что она старалась садиться только лицом к печке и надевала несколько платков «внапуск», чтоб не простудиться.

Три комнаты рядом с малым залом отдали дочерям: одну заняла Маша, другую — Юлия и Ольга, а третью — Катя, которая ни в чем не хотела отставать от Маши. Когда Юлии стало совсем плохо и она уехала в Рим, где в то время находился Лев, Ольга попросила мать не выносить кровать сестры, тем самым она хотела уверить себя, что Юлия вернется. Эти три комнаты назывались «девичьей половиной» в отличие от «старушечьей половины», где разместились мать Екатерины Львовны и две ее сестры, урожденные княжны Путятины: Елена и Елизавета. Они часто вспоминали семейные предания, которые гласили, что Анну Александровну в девичестве называли «белой розочкой», что из-за бабушки Елены ее покойный муж Ушаков дрался на дуэли и что младшая из трех сестер, Елизавета, была первой красавицей в губернии, но на всю жизнь осталась верна своему жениху, убитому в турецкую войну в 1829 году. Сестры состарились, их уже не волновали былые страсти, и они снова, как в детстве, жили вместе.

Как только лег снег, пришел обоз из Нижнего, и Владимир Иванович установил токарный и столярный станки в двух комнатах, прилегающих к залу. Теперь жизнь была налажена: в перерывах между занятиями он мог «поразмять косточки». Большой зал в центре дома, с видом на Пресненские пруды, был, как и в Новгороде, общей комнатой. Стеклянная дверь вела на открытую террасу, выходящую в сад с зеленой лужайкой.

Основная работа над «Толковым словарем» проходила здесь, в этих стенах. Это был изматывающий своей бесконечностью труд с утра до ночи, и так каждый день. Даль сам клеил аккуратненькие коробочки для полос. Коробки были открытые сверху, длиной сантиметров в тридцать пять. Полоски бумаги — одна шестнадцатая листа — со словами, объяснениями и примерами Владимир Иванович перевязывал крест-накрест ниткой и складывал в ящики, на которых надписывал буквы алфавита.

Работал Даль так. Вставал в семь и, не дожидаясь чаю, садился за письменный стол. Складывать полосы, подписывать коробки можно было и вечером, а утром, на свежую голову, он писал. Владимир Иванович по-прежнему не любил уединения: ему легче работалось, когда за его столом лицом к нему сидели дочери. Если же их не было видно и в особенности если какая-нибудь из них заболела, Далю уже не сиделось на месте.

Нельзя сказать, чтобы Владимир Иванович не любил кого-нибудь из своих пятерых детей. Он был справедлив ко всем. Он едва не заболел с горя из-за длительной разлуки с сыном. Но к Маше он испытывал ни с чем не сравнимое чувство: она была частицей его самого, с тем же стремлением ко всему прекрасному, с той же добротой, прямым, открытым характером и даже с той же насмешливостью. Отца она боготворила и совершенно искренне считала, что никогда не выйдет замуж, чтобы его не оставлять. Если Маша долго не показывалась, Владимир Иванович подходил к ее комнате и тихонько стучал в дверь.

— Марья Владимировна, голубушка, дай мне осьмушку твоей почтовой бумаги.

— С удовольствием, отец.

Маша была очень хороша: высокая, с темно-бронзовыми кудрями и большими карими глазами. Взглянет на отца и улыбнется: ну, конечно, устал, и ему хочется с кем-нибудь поговорить. Она это понимала. Даст бумагу, потом и обнимет отца, и чмокнет его в щеку, и наговорит всяких слов, так что тот совсем растает и, улыбающийся, счастливый, снова садится за свой словарь.

Владимир Иванович работал до обеда и, если стояла хорошая погода, отправлялся полем к Ваганьковскому кладбищу. Обычно его сопровождал кто-нибудь из друзей. Приходил старый друг историк Михаил Петрович Погодин, не забывал Даля знакомый еще с турецкой войны приятель Пушкина Александр Фомич Вельтман; а рыжеватый, с хитрыми глазками Павел Иванович Мельников, или, как его теперь чаще называли, Мельников-Печерский, захаживал к обеду, а потом и вовсе поселился во флигеле далевского дома с женой и шестью детьми. По совету Владимира Ивановича, Мельников-Печерский вскоре после переезда на Пресню начал свой известный роман «В лесах» и закончил его в этом же флигеле.

Однажды, это было в 1863 году, пришел товарищ по Морскому корпусу Дмитрий Завалишин, проживший в ссылке тридцать семь лет.

— А ведь я в этом доме жывал,— вдруг сказал Дмитрий Иринархович.

— Когда же?

— В 1815 году. Дом принадлежал моей мачехе, Надежде Львовне Толстой.

— Как же, слышал.

— Владимир Иванович, а я тебя порадовать хочу. Нашел я в одном журнале прелюбопытную статейку, где говорится о некоем Дале, выехавшем из России в Данию. Так вот, внук этого Даля при Екатерине вернулся в Санкт-Петербург лекарем и принял русское подданство, сам не ведая, что приехал на родину своих предков.

От изумления Даль не мог вымолвить ни слова. Прочел статью и потом рассказывал друзьям, что он и на самом деле русский.

Владимир Иванович любил гостей. Было известно, что к нему можно запросто привезти молодого писа-



Мария Владимировна Даль.

теля. Так, однажды в воскресенье Писемский, часто бывавший у Даля, ввел в его дом начинающего поэта Бориса Алмазова. Даль не отпускал гостя от себя весь вечер, ему было интересно, что за люди новое поколение писателей, и Борис Николаевич, в свою очередь, был совершенно очарован стариком. Владимир Иванович что-то подклеивал, дописывал, резал ножницами

и в то же время внимательно слушал, задавал вопросы. Вечерней работе не мешали ни разговоры, ни шум. Но, как Золушка с балу, только не в полночь, а ровно в одиннадцать, попрощавшись с гостями, хозяин уходил спать. «Иначе утром не сможешь работать»,— объяснял он с застенчивой, даже виноватой улыбкой.

Погодин, Аксаковы, Киреевские, Хомяков, Писемский — словом, и прогрессивная московская интеллигенция, и воинствующие славянофилы не были безразличны к труду Даля. Молодые филологи, Общество любителей российской словесности, писатели — все, кто представлял московскую интеллигенцию 60-х годов, были в курсе последних новостей с Пресни. «Сидит, зарывшись в букву К»,— говорили в университете.

В Москве Даль нашел много старых друзей, завел новых знакомых. Особенно подружилось семейство Даля с Аксаковыми. Достаточно сказать, что Иван Сергеевич Аксаков, считавший Даля большим знатоком русского языка, всегда читал Владимиру Ивановичу свои статьи перед тем, как сдавать их в печать. Обычно Даль терпеливо слушал, а потом не мог отказать себе в удовольствии серьезно, без тени улыбки изречь:

— При всем своем презрении к Европе, дорогой Иван Сергеевич, вы употребляете в своих произведениях чрезмерное количество иностранных слов.

Если Даль подтрунивал над славянофилами, то это вовсе не означает, что он недооценивал все полезное, что они делали. Кому, как ни Далю, понять великое значение записей сказок, старинных преданий, поверий, легенд, изучения и собирания древних рукописей — словом, всего истинно ценного в деятельности славянофилов. Но нельзя забывать, что Даль, по гениальному определению Гоголя, «видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны». Как же он мог относиться к людям, которые растрачивали свое время и силы «в кипучей бездеятельности»? Великолепно образованные, влюбленные в Россию и во все русское, они были наделены многими талантами, кроме одного, основного: умения что-нибудь сделать со своими дарованиями. Когда при Владимире Ивано-

виче затевали споры, можно ли не любить Россию, он морщился, как от зубной боли. Если любите, сделайте для нее что-нибудь полезное, а крикливые заявления ни к чему, в них всегда есть что-то фальшивое. Сколько этих «прекраснодушных» и любящих Россию людей прошли по жизни незаметно, они ничего не успели сделать, более того, чем больше они подделывались под народ, тем менее их понимали. Когда Аксаков отказался от европейского костюма и вырядился в старинный русский кафтан и мурмолку, народ на базаре принимал его за персиянина. Это крылатое слово было пушено Чаадаевым и обошло весь город. Вельтман рассказал Далю, что в ложе бенуара Малого театра на премьере однажды появилось семейство, одетое в коричневые, особого покроя поддевки (это были Хомяковы), и изумленные зрители не знали, куда им глядеть: то ли на ряженных, то ли на сцену.

Однако, как ни смеялся Даль над причудами всей этой братии, в их разумных начинаниях он был им первый помощник. Стояло Авдотье Петровне Елагиной поделиться с Далем, что ее старший сын Петр Киреевский попал под надзор полиции за то, что записывал со слов нищих и странников песни, как Владимир Иванович передал собирателю все свои записи песен.

Почти одновременно с Далем в Москву приехал друг его молодости Владимир Федорович Одоевский. Старикам приятно было встречаться: общность воспоминаний сближала их до самой смерти. Это для дочерей Даля князь Одоевский был автором прелестной сказки «Городок в табакерке», а Владимир Иванович видел в нем не писателя и музыковеда, а доброго старого друга.

Княгиня Одоевская выразила желание познакомиться с дочерьми Даля и потом часто звала их к себе, добро, они были соседями.

— Грешно вам, Владимир Иванович, держать дочек затворницами, — выговаривала ему княгиня.

Из-за постоянного недомогания Екатерины Львовны никуда не выезжали не только дочери Даля, но и он сам. К тому же с возрастом Владимир Иванович начал беречь каждый час своего времени. Развлекаться — лишь бы убить время, это ему и смолоду было незнакомо. Как-то поехал к Вельтману Але-

ксандру Фомичу. Там собрались послушать новую драму Н. А. Чаева «Князь Александр Михайлович Тверской». Но драма была написана суконным языком, этого Владимир Иванович не мог вынести. Сказавшись больным, он ушел, не дослушав и половины. Даль действительно мало выезжал, а у себя любил принимать, и к нему многие приезжали. Побывала в гостях у Даля его старая дерптская знакомая Катенька Мойер. Катенька Мойер вошла в знаменитую семью Елагиных. Как уже говорилось выше, салон ее свекрови посещали Пушкин, Мицкевич, Баратынский, Дмитриев, Чаадаев, Языков, Герцен.

Однако Даль по-прежнему работает много и строго по часам, ему трудно выкроить время для визитов. Конечно, нужен был сильный характер, чтобы, несмотря ни на что, продолжать работу над словарем. Сколько боли и горечи в коротенькой записочке: «Вот я надорвался над словарем, что толку?» Надорвался, потому что боялся не успеть и кончил тридцатилетний труд за шесть лет.

Далю очень помогло то, что он, как врач, знал, что есть правила, от которых отступать нельзя. Владимир Иванович всю жизнь в любую погоду полтора-два часа тратил на прогулку — при его сидячей работе это было совершенно необходимо. Дочери жаловались, что во время этих прогулок с ним невозможно разговаривать: через каждые два шага здороваются с каким-нибудь знакомым. А Даль и прогулки любил из-за этих встреч. Идет, лицо такое, что так и хочется с ним заговорить. Часто, бывало, устанет, выйдет из дому расстроенный, а приходит успокоившийся.

Москва — радушный город, она не остается безразличной к тем, кто способен на бескорыстные дела, а таких всегда хватало на нашей земле. В пору расцвета своей писательской славы Даль был более известен, чем в конце жизни, но и в эти последние тринадцать лет, прожитые в доме на Пресне, он не был забыт. Ворота его дома были постоянно открыты, и не проходило дня, чтобы кто-нибудь не зашел. Если человек до глубокой старости сохраняет способность радоваться людям, умеет оценить шутку и сам не упустит случая сказать меткое слово, к нему всегда тянется молодежь.



В. И. Даль (60-е годы XIX века).

Пришла зима. Настал 1860 год. Общество любителей российской словесности, членом которого состоял Даль, запросило Владимира Ивановича, в каком состоянии находится его труд. 25 февраля 1860 года Даль выступил на заседании Общества с докладом. Высокая прямая фигура с густой белой шевелюрой была знакома всем присутствующим. Поудобнее усевшись в креслах, члены Общества приготовились записывать

— Господа, в последнее заседание вы потребовали от меня, по живому сочувствию к делу, отчета о труде моем в словаре, над которым я век свой работаю. Исполняю ваше желание. Словарю дано название: **Словарь живого великорусского языка.**

Он не представил полного текста доклада, но принес много небольших листков бумаги, на которых были записаны наиболее важные мысли.

У Владимира Ивановича были врожденные ораторские способности, поэтому даже при слабом голосе он всегда властвовал над аудиторией. В зале заулыбались, когда Даль заговорил о читающей публике:

— Один онемечился, изучая замечательных писателей, каких он у себя дома не найдет, другой, по той же причине, офранцузился, третий обангличился, все раболепствуют перед этими языками, которые они изучили, и — боже упаси! — не позволяют переименовать их на русский лад. Этому две причины: первая — тщеславие, чванство: мы знаем все языки; другая — невежество: мы не знаем своего. Неоткуда взять тех салонных выражений, которых от нас требуют; есть только, — Владимир Иванович возвысил голос, — обрусевший по виду между пишущей братией латино-французско-немецко-английский язык.

— Все верно, — сказал кто-то в зале.

Владимир Иванович продолжал более уверенно, объяснив способ, которым составлен его словарь:

— Голый список всех слов, по азбучному порядку, крайне растянут и утомителен. Расположение по корням и опасно и недоступно, а описание слова очень затруднительно. Я избрал путь средний: все одноглездки поставлены в кучу, и одно слово легко объясняется другим.

Даль с гордостью объявил, что он поместил все торговые, промышленные и ремесленные выражения, какие ему удалось собрать. Он долго говорил о богатстве словообразовательных средств русского языка:

— Увеличительных и уменьшительных суффиксов так много в нашем языке, что они есть даже у глаголов (спатоньки хочешь?)

Наступила пауза, глубоко вздохнув, Владимир Иванович продолжал:

— Грамматические определения, на которые я было вначале покусился, вывели меня вскоре из всякого терпения и, наконец, заставили откинуть их почти все. Нет той бессмыслицы, до которой бы не дошел волей-неволей, следуя нашей несчастной грамматике, особенно когда речь пойдет о глаголах. Мы находим в Академическом словаре в этом отношении безграничную путаницу. Речь не о погрешностях и опечатках, в таком виде тянется словарь от аза до ижицы, я бы мог привести не десятки, не сотни, а тысячи примеров. Это не опечатки, не описки, даже не ошибки, это путаница по недоумению, как быть с нашей грамматикой, которая сбила с толку целое ученое братство.

Он еще раз подчеркнул, что главное внимание обращал на язык простонародный.

— Речь наша всюду одинакова,— сказал Даль,— уклонения от нее так ничтожны, что многими и не замечаются.

Владимир Иванович повысил голос:

— Вот почему народные слова наши прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу самого себя ошибкою, а, напротив, всегда направляя его в природную свою колею, из которой он у нас соскочил, как паровоз с рельсов.

Зал разразился аплодисментами. Даль не ожидал, что речь его произведет такое впечатление. Объявили перерыв. Затем председатель Общества А. С. Хомяков внес предложение безотлагательно найти средства для издания первого тома далевского словаря Владимир Иванович попросил слова и чуть не погубил все дело. Как честный человек, он считал своим долгом, поскольку на издание словаря требовалась крупная сумма денег, сделать следующее заявление:

— Словарь доведен лишь до половины, состави-

телю под шестьдесят, работы еще лет на восемь — десять.

— Во что обойдется издание готовой половины словаря? — спросил Кошелев.

— Без трех тысяч нельзя приступать к изданию, даже если принять в расчет выручку

Требуемая сумма была положена на стол, и это решило судьбу словаря, хотя роскошное издание, задуманное Далем, поглотило все средства, отпущенные Обществом, — их хватило только на первый том. Зато издан он был на лучшей бумаге, текст набран шестью разными шрифтами, так что нужное слово или примеры видны были сразу. Даля мучили противоречивые чувства: отчаяние оттого, что неоткуда было взять деньги для завершения издания, и радость при одном взгляде на это чудо книгопечатания.

Интересна история издания последних трех томов словаря. В письмах Владимира Ивановича этого периода то и дело попадаются горестные восклицания: «Где взять деньги заплатить наборщику?.. Семен в крайней нужде, и ему обещана плата без задержки, а ее у меня нет».

Для задуманного издания нужно было целое состояние, положение создавалось безвыходное. В это время некий высокопоставленный чиновник, который в молодости служил в петербургской канцелярии Владимира Ивановича и был, как все чиновники у Даля, увлечен его лексикографическими изысканиями, узнал о затруднениях своего бывшего начальника. Вероятно, подчиненные и в самом деле не на шутку пристрастились к собиранию слов и совершенно искренне интересовались будущим словарем, если спустя двадцать лет столь важная персона взяла на себя смелость поднести его величеству только что вышедший первый том словаря. Александру II было доложено, что вот, мол, рукопись готова, а денег нет. Царю было неудобно отказать, он согласился финансировать издание трех последних томов словаря. Снова судьба свела Даля с царями, а он этого не любил. После того как Николай I повелел «арестовать сочинителя и взять его бумаги для расследования», Владимир Иванович не испытывал особенных иллюзий о монарших милостях. «С тобой водиться — что в крапиву садиться», — говорил он

о тех, кто был выше его рангом. Человек независимых взглядов, он ни словом — ни в статьях, ни в письмах — не обмолвился о случившемся. Это очень характерно для Даля. Там, где иному автору представилась бы возможность спекулировать царским именем, Владимир Иванович не делает ничего подобного. В письме Погодину он подчеркивает: «Прилично бы сказать, что это издание Общества».

* * *

В уютном доме над Пресненскими прудами политические события обсуждались все в той же общей комнате с высокими окнами. Даль неплохо разбирался в крестьянском вопросе и был в курсе последних событий. Страна бурлила. Величайшее событие века — освобождение крестьян всколыхнуло все слои общества. Начались крестьянские бунты.

Вот что писал Даль Погодину 14 марта 1861 года:

«Дело сделано, воротить его нельзя, и оно пошло вперед, как течет Днепр и Волга и прочие жилы насущной, родной земли нашей. О «темной боде в облацах» скажу, что она устоится и будет светла, чиста и целительна».

Надо отдать должное Дально — он понял главное: задержать падение крепостного права было так же невозможно, как повернуть вспять великие русские реки Днепр и Волгу.

Освобождение крестьян было вызвано глубокосоциальными причинами. Это ясно было и современникам, хотя даже самые прогрессивные из них вначале обманулись. Они прозрели лишь тогда, когда во все концы империи для усмирения крестьян были посланы флигель-адъютанты. «Колокол» Герцена всему миру возвестил о кровавой расправе с поверившими было в свое освобождение рабами. «Мозг разлагается, кровь стынет в жилах, читая наивно-простодушный рассказ такого злодейства, какого не бывало с аракчеевских времен. Где родились эти кровожадные флигель-адъютанты? Где воспитывались эти импровизированные палачи? Как их дрессировали в такие бездушные злодейства?» — писал Александр Иванович Герцен в статье «12 апреля 1861 года»,

В это время Даль заканчивал свой полувесковой труд. Но силы заметно убывали. Он все чаще и чаще болел. Даль старался беречься, даже ходить никуда не стал, кроме своей традиционной прогулки.

А на «старушечьей половине» свои заботы: заневестились внучки, ох как заневестились! Шуточное ли дело, три девицы, одна другой краше, а сидят сиднем в четырех стенах: ведь родители никуда не выезжают, девочек вывозить некому, а в дом если кто и приходит, так сочинители, разве это женихи? Бабушки вздыхали. И для них было огромным желанием двух старших внучек принять участие в благотворительном концерте.

Дело происходило зимой. Сестры-пианистки замучили родителей: им хотелось выступить в концерте, а для этого надо было ездить на вечерние репетиции. До сих пор они почти никогда ни о чем не просили ни мать, ни отца, потому что были постоянно заняты чтением, переводами, музыкой, шитьем и разными хозяйственными делами, которых всегда много в доме. А тут их словно подменили: обе были с утра до вечера. К счастью, нашлась добрая знакомая — Ольга Францевна Форш, которая согласилась сопровождать девушек по вечерам на репетиции, но весной она уехала, и пианистки чуть не плакали.

Настал великий пост. Оленька постилась у Аксаковых и там услышала музыкальные новости: при Русском музыкальном обществе открывались музыкальные курсы. «Это было маленькое начало консерватории, причем каждый из профессоров учил у себя на дому. Рубинштейн взял себе теорию музыки. Кроме того, он соединил всех своих учениц, образовав из них фортепианный класс, и прекратил совершенно частные уроки», — писала впоследствии Ольга Владимировна Даль. Она была одна из лучших учениц Николая Григорьевича Рубинштейна и много лет спустя, вспомнила, как он основал Московскую консерваторию.

Дело было в 1863 году. Ольга и Маша хотели заниматься музыкой, они бросились за помощью к своим бабушкам.

— Бабушка, — сказала Оленька, обнимая Анну Александровну, — мы с Машей хотим учиться на музыкальных курсах.

— Ну и слава богу, учитесь.

— Так вот в нашем фортепианном классе занятия вечерние, мама нас одних не отпустит,— пояснила Оля.

— Что-то я не возьму в толк, сейчас все по новой моде,— заворчала Анна Александровна.— Учителя, что ли, на дому уроков больше не дают?

— Другие, может, и дают, а Николай Григорьевич Рубинштейн из своих учениц организовал фортепианный класс. И нас с Машей тоже включил!

— Бабушка, там такие концерты будут — чудо! — воскликнула Маша.

— Это хорошо; хоть на люди покажетесь. Ну так чем я-то могу помочь? С матерью вашей поговорить?

— Нет, мы уже говорили, она согласна. Но кто-нибудь из вас должен ездить с нами на уроки. Одних нас мама не пустит.

— Ну, детки, стара я стала для уроков. Просите бабушку Лену.

— Бабушка Лена,— под села Машенька,— ты знаешь, как там будет интересно! Ну поедем...

— Хорошо, девочки, я согласна.

Они расцеловали ее и убежали. Настал день первого урока. Елена Александровна и две возбужденные хорошенькие девушки садятся в кибитку. Бабушка строго предупреждает кучера, чтобы не гнал. Но когда поднимались от Пресни вверх по Кудринской, она хваталась за внучек и кричала так, что прохожие оглядывались:

— Опрокинемся, люди добрые, сейчас опрокинемся! Спасите!

Наконец добрались до Петровского бульвара. У Рубинштейна собралось человек четырнадцать учениц. Бабушка уселась в уголок и надела очки. Оленька привезла толстую тетрадь, в которой записывала лекции Одоевского. Перевернув тетрадь, она начала ее с другого конца, пометив на обложке: «О» и «Р».

Николай Григорьевич Рубинштейн собирал учениц два раза в неделю; бабушка ездила охотно.

— Хотя и страшно, но зато интересно,— говорила она.— Да и ученицы вы хорошие, по обращению его видно.

Зимой Маша перестала брать уроки, сна была слаба здоровьем, зато Оленька делала поразительные ус-

пехи. На масленой был концерт у княгини Трубецкой с ее участием. Этот день и в глубокой старости Ольга Владимировна помнила до мельчайших подробностей.

И еще одна картина запечатлелась навсегда: концерт Николая Григорьевича Рубинштейна весной 1863 года. Он был в ударе, никогда ни до, ни после этого девушкам не довелось слышать такой игры. Выдающегося пианиста забросали венками. После концерта он нанизал их на руки и пошел к выходу... вдруг на него чуть не налетела Оленька Даль. В глазах у нее были слезы восхищения, она была так трогательна, эта девочка, что Николай Григорьевич снял с руки один венок и подал ей.

— Это... мне? — прошептала Ольга.

— Да, — улыбнулся учитель.

— Спасибо. Я так счастлива!

Он взял ее руки в свою ладонь и крепко их пожал.

— Оленька, очнись же ты наконец, — проговорила Маша. — Уже все уехали.

В дверях их поджидала пожилая полная дама, известная красавица пушкинских времен Алябьева, давнишняя знакомая Даля.

— Он такой недобрый, никогда ко мне не зайдет. Передайте папá, что его старая приятельница желает его видеть.

Утром, едва открыв глаза, Ольга вспомнила о лавровом венке, быстро оделась и побежала в зал. Отец уже сидел за работой, терпеливо дожидаясь чаю.

— Отец, посмотри, мне подарил Рубинштейн, — сказала Ольга, протягивая ему венок.

— Тебе? Зачем он тебе? — удивился Владимир Иванович.

— Как зачем? На память.

— Лавровые венки дарят артистам в знак поклонения.

— И этот подарен в знак поклонения.

— Тебе?

— Нет, отец. Рубинштейну.

— А тебе он зачем?

— Как память о том, кому мы все поклоняемся.

— Шут ты гороховый! — отмахнулся от нее отец.

Ольге шел двадцатый год. У нее были строгие отцовские глаза и волосы необыкновенного стального от-



Ольга Владимировна Даль.

тенка. Это была спокойная, рассудительная, хозяйственная девушка. У нее не было такой самоотверженной любви к отцу, как у Маши, она была более «земная», то есть более практичная. Основной страстью Оли была музыка. Она участвовала в концертах, ездила на спевки и репетиции.

На этих репетициях девушка познакомилась с Платоном Александровичем Демидовым. Он влюбился в

Ольгу, часами простанвал у ее дома, и вскоре вся семья узнала о новом Олином поклоннике.

Первым был Александр Николаевич Аксаков. Узнав о сопернике, он сделал Оле предложение. К недовольствию матери, девушка отказала.

— Такого жениха упустить, — ворчала после ухода Аксакова Екатерина Львовна. — Безмозглая, как есть безмозглая!

— Успокойся, жена, — вмешался Владимир Иванович. — Дело это деликатное...

— Вот она из-за твоей деликатности и привередничает, — ворчала мать. — Это ей тот столб поправился, что под окнами у нас торчит...

— Ну зачем такие слова? — возмутился Даль. — Сердце девушки — государственная тайна.

Оля влюбилась в Демидова, и скоро это ни для кого не было тайной. Но видеться они могли только в музыкальных классах. Однажды Олина подруга Маша Поливанова устроила вечер и, чтобы родители отпустили Олю и Машу, прислала за ними свою коляску. Плечистый кучер постучал кнутовищем в двери, и надо же было Екатерине Львовне, которая неделями не выходила из своей половины, выглянуть в сени. Мать сразу узнала в кучере Платона Демидова. И он по ее глазам догадался, что разоблачен. Но Екатерина Львовна ничего не сказала дочери: та была так счастлива...

Ольга не пропускала ни одного урока в фортепианном классе Рубинштейна. Ей сулили славу, но Николай Григорьевич говорил, что будущее предугадать трудно.

Он оказался прав. Из Рима от Льва Даля пришло известие о смерти Юлии. Она умерла от чахотки в возрасте двадцати четырех лет. Кроме Ольги на похороны некому было ехать. В этом далеком путешествии ее сопровождала Маша Поливанова. После возвращения из Рима Ольга вышла замуж за Платона Александровича Демидова, служившего товарищем прокурора Московского окружного суда. Через два года у них родилась дочь, назвали ее Олей, потом появилась Женя, потом Лев. Владимир Иванович любил, чтобы внучата играли в той комнате, где он работал, и, когда знакомые спрашивали, не мешают ли ему дети, он отвечал,

что, наоборот, помогают. Словарь был начат, когда его дети были еще совсем маленькие, а закончен, когда у его ног играли внуки: работа над словарем продолжалась сорок три года.

Даль души не чаял в своих внучатах. Зеркало жизни писателя — его произведения так отражают этот период: «Воскресенье было для старика большим праздником. Он непременно каждое воскресенье ездил с женою после обедни на Пресню. Старик тут всегда был весел, любя без памяти дочь, умную, живую, веселую и примерную хозяйку, и нежась на большом диване, среди внучат своих, с которыми хохотал до слез и резвился сам, как ребенок» («Отец и сын»). Это портрет средней дочери, есть здесь и старшая: «...живость и ветреность Маши, которая как любимица отца позволяла себе много».

Казалось бы, что еще нужно человеку для счастья, да еще тому, кто довел до конца титанический труд? Но Владимир Иванович не раз говорил, что без словаря ему не житье, как кончит словарь, так ему нечего будет делать на этом свете. Выход в свет «Толкового словаря живого великорусского языка» подтвердил это трагическое высказывание, но это случилось несколько позже.

Напутное слово

Россия ушла вперед от своего века, выступила исполинским шагом, усвоила себе сразу то, над чем другие народы бились с века на век; она однако же не надорвется, потому что государство оживает снова в каждом поколении.

(Даль. Полтора слова о русском языке)

Мы с неба звезды хватаем, а под ногами ничего не видим.

(Даль. Напутное слово к «Толковому словарю живого великорусского языка»)

Цель и смысл полувекового труда Даля — борьба за исконно русский, народный язык. Во вступительных статьях к словарю сказано следующее: «Все стали

убеждаться в последнее время в том, что при направлении, которое приняла обработка, или, вернее, запущение русского языка, ему угрожает гибель». Даль объясняет причины этого катастрофического положения: пренебрежение к родному языку. Язык засоряется, гложет, многие слова его забыты, а между тем то и дело раздаются голоса о скудности (!) русского языка, на котором якобы нельзя выразить всего так, как на других языках. Все это происходит оттого, утверждает Даль, что русского языка власть имущие не знают. «Испещрение речи иноземными словами... вошло у нас в поголовный обычай... Такого насилия не попустит над собой ни один язык, ни один народ, кроме народа, состоящего под умственным или нравственным гнетом своих же немногих земляков...» И снова, как основное доказательство красоты и богатства русского языка, Даль ссылается на речь народа: почти половина слов в его словаре нигде не записана, существует только в живом разговорном языке. Да нам ли жаловаться на бедность языка, когда девять десятых этих слов «простые, обиходные слова, не попавшие только доселе в наши словари именно по простоте, по безвычурности и обиходности своей, словари набирались из книг, а книги пишут, взбираясь на ходули и подмости? Мы с неба звезды хватаем, а под ногами ничего не видим».

Последняя фраза, поставленная эпитафией к этой главе, звучала как вызов не только царскому режиму, но и всему строю жизни. Пренебрежительное отношение к своему народу, что, в частности, выражалось и в отношении к языку, на котором говорил народ, характерно для правящих кругов. Даль на этом не останавливается, он говорит о последствиях пренебрежительного отношения к языку: «Пусть же всяк своим умом рассудит, что из этого выйдет: мы отделимся вовсе от народа, разорвем последнюю с ним связь, мы... убьем и погубим последние нравственные силы свои...» Выход один: народный язык должен занять в жизни общества свое законное место: «Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник или рудник наш, сокровищница нашего языка...» Народный язык в понимании Даля — результат огромного исторического опыта, в котором сложилась национальная культура.

Надо отметить, что в своих вступительных статьях Владимир Иванович Даль поднимается до научных обобщений, и, хотя сам он неоднократно повторяет, что это труд не ученого, его филологические изыскания представляют несомненный интерес. Во-первых, Даль с помощью тщательно подобранных примеров доказывает, что многие так называемые областные слова встречаются в столь отдаленных друг от друга губерниях и столь часто, что лишь вышеупомянутым пренебрежительным отношением к родному языку и можно объяснить причисление их к областным. Во-вторых, он подробно разбирает особенности говоров во всех концах империи, добро, он изъездил ее вдоль и поперек.

Читая вступительные статьи Даля, порой замечаешь удивительную черту, характерную для всего словаря. Когда лексикографу встречается какое-нибудь особенно звучное слово, он, как бы боясь, чтобы оно не было забыто, не может себе отказать в удовольствии записать его, даже если оно и не распространено во многих губерниях. Например, автор приводит северо-восточное (от Москвы) выражение: «Под увеем хлеб не растет» — только потому, что это слово почти не знакомо читающей публике. Даль, конечно, поясняет значение этого слова: «Увей — это все пространство вокруг леса или дерева... вся местность, на которую падает постепенно тень от восхода до заката солнца». Еще пример: «охвостье» ныне употребляется почти исключительно в переносном значении, а взято оно из лексикона хлебороба: полновесное зерно при вейке ложится, а охвостье относит ветром. Но до чего же емкое, до самого сердца доходящее значение! Знай ты хоть полдюжины иностранных языков, замены такому слову все равно не найдешь, оно русское по духу, и никакие переводные слова того англо-франко-немецкого языка, над которым издевался Даль, не дадут полноты смысла, глубины чувства и, главное, не тронут душу так, как это исконно русское, древнее и родное слово.

Многие совершенно забытые слова порой неожиданно воскресают и в наши дни. «Перекуем мечи на орала» — здесь в короткой фразе выражено направление нашей политики, и смысл ее близок и понятен

всем. Или другое словосочетание: шлем космонавта. Казалось бы, уж совсем позабытое слово, а ведь как пригодились и до чего современно звучит!

Еще одно соображение заставило Даля выступить в защиту местных говоров. Даль-лексикограф пишет, что говор «указывает на происхождение и средство поколений».

От его внимания не ускользает, что «в местах, где половина мужского населения постоянно бывает на заработках на чужбине, народный говор постепенно сглаживается».

Описывая особенности московского говора, Даль подробно объясняет артикуляцию звуков, интонацию, что имело особый смысл во времена, когда распространение принятого за образец московского произношения было делом почти неосуществимым.

Будучи исследователем, Даль не только приводит тот или иной факт, он тут же ищет научное объяснение заинтересовавшего его явления. Например, в главе о сибирских говорах Даль отмечает, что сибиряки о фамилии спрашивают: «Вы чьих?» «Следствием этого столь обычные в Сибири прозвания: Черных, Толстых, Сизых, Удалых, Ильиных, Кудреватых». И тут же напоминает, что старинные русские фамилии типа Веселаго, Живаго родились от вопроса: «Чей ты?»

В этих же вступительных статьях он рассказывает о небывалом торге, предложенном ему министром народного просвещения князем Шихматовым. До князя дошли слухи о собранных Далем словах, и он предложил ему продать их Академии наук по принятой расценке: за каждое пропущенное в Академическом словаре слово — пятнадцать копеек, а за дополнение или поправку — по семи с половиной копеек. Не хотелось Далю торговать словами, и он «предложил взамен этой сделки другую: отдаться совсем, и с запасами, и посильными трудами своими, в полное распоряжение академии, не требуя и даже не желая ничего, кроме необходимого содержания, по на это не согласились, а повторили первое предложение».

Даль отправил тысячу пропущенных в Академическом словаре слов и тысячу дополнений с многозначительной надписью: «Тысяча первая». В академии вспо-

ложились, прислали запрос: а много ли у Даля еще слов? Он ответил, что точно сказать затрудняется, но, вероятно, десятки тысяч. Такие траты не входили в планы академии, и торг не состоялся. Лексикограф убедился, что помощи ему ждать неоткуда, и больше с академией дел не имел до выхода словаря.

Важно подчеркнуть, что Даль принялся за работу один, без чьей бы то ни было помощи, и проделал огромный труд по составлению словаря и правке гранок; иногда он держал до четырнадцати корректур и в сердцах повторял, что не увидит свой труд напечатанным.

Разумеется, для нас представляют интерес лингвистические труды великого лексикографа, хотя это и не научные, в строгом смысле слова, изыскания и с точки зрения науки о языке многие рекомендации Даля более чем наивны. Однако в них видна потрясающая интуиция лексикографа-самоучки, в них Даль выступает как борец за чистоту родной речи, в этом непреходящая ценность статей «Полтора слова о русском языке», «Недовесок к статье «Полтора слова о русском языке» и «Искажение русского языка».

Основное содержание статей Даля следующее:

«Давно уже накопело у меня на сердце какое-то болезненное негодование на искажение нашего языка.

Язык есть вековой труд целого поколения. Только общими силами, общим старанием и единодушным стремлением к признанной всеми цели можно со временем достигнуть того, что у нас будет могучий и вполне обработанный язык. Мы языка своего не знаем — это, право, можно вымолвить, не брав греха на душу, — а что еще хуже, и не хотим его узнать. И нам должно начать с низшей ступени, изучить язык народный, быть не только учителем его, но и учеником. Я смотрю на язык простонародный как на главный запас. Изучать надо нам народный язык. Освоившись с духом родного слова, мы облагородим и перенесем на родную, но более тучную и возделанную почву все то, что стоит пересадки. Прислушайтесь ко всем славянским наречиям — украинскому, чешскому, болгарскому, черногорскому, иногда даже и к польскому, над которым, впрочем, влияние западных языков всего замстнее,—

и вы, право найдете, чего и не чаяли: бездну слов и оборотов, кратких, сильных, вразумительных и гораздо более свойственных языку нашему, чем полуобрусевшие — на беду нашу — слова и обороты всех земель нашего материка.

Переделать, переплавить склад языка по другому образцу, не лишив его в то же время сока из корня, нельзя. Язык погибнет, утратится все то, что давало ему право называться отдельным, самостоятельным языком, и мы, как давно уже было замечено, будем знать русские слова, но не русский язык, будем говорить русскими словами по-французски, по-немецки.

Если мы станем вводить пригодные русские слова исподволь, у места, где они ясны по самому смыслу, то нас не только поймут, но станут даже у нас перенимать. Я думаю, что дурное изгонится само собою, будет забыто, если мы только найдем чем его заменить, если разберем свои домашние запасы. Туг столько богатства, столько разных оттенков, что русский человек в карман за словом не полезет; да нам-то оно не дается, потому что мы не с того конца за дело беремся. Скрывать и таить зло мы давно умеем, но, кажется, настала пора, когда дурная замашка эта выходит из обычая; мы начинаем изобличать зло и искоренять. Так и тут: словарь не узаконитель, а раб языка, что есть, то он обязан собрать и не может выкидывать того, что ему не нравится.

Остается еще странное мнение — хоть оно и было высказано заслуженными людьми, — что нам вовсе нечего заботиться о родном слове своем: оно-де вырабатывается в свое время, как ему быть суждено. Мнение это заключает в себе что-то роковое и, следовательно, довольно горестное: делай что хочешь, трудись сколько сил есть, а все тщетно, все ни к чему, судьба всех нас увлекает. Если принять возражение буквально в этом смысле, то надо передать спор наш едва ли не в богословие или, по крайней мере, в область философии, а на этом поле мы наперед кладем ружье: не по силам встреча. Но если мне скажут: не роковая судьба в смысле мусульманском, а собственно мировая жизнь решает участь языка, то есть дела, события, обстоятельства дают всему в мире — и слову, и словесности

нашей — направление, то я спрошу уже посмелее: а кто же придает этому общему потоку известное направление, если не люди? Следовательно, люди, мысли их, дела, если они дружны, не могут остаться без влияния на будущность вообще, а с тем вместе и на судьбу родного слова. Можно ли после всего этого говорить, что язык выработается сам собою? Книжный язык дерет и шерстит, как щетка, тут русского, право, иногда не более того, что из милости подает наборщик, то есть одни буквы. Вялость искусственной речи нашей происходит оттого, что мы покидаем родной, свойственный языку нашему способ выражения, да, сверх того, еще и самые слова нередко выходят из печи нашей огромные, многосложные, будто набранные для какой-нибудь скороговорки.

Но важнее слов склад речи, слог и обороты; это связано до того тесно с грамматикой, что в нерусском обороте у слова нашего не только отнимаются руки и ноги, а отнимается язык: оно немеет. Дух языка требует, для ясности, точности, краткости и силы, глагола или наречия; а мы, привыкнув видеть на этом месте в других языках существительное, ставим существительное, ломаем остальное по силам своим и разуму, не заботясь о том, что из этого выйдет. Таким образом, все особенности русского языка, отличительные свойства и преимущества словосочетания и склада его теряются на письме все более и более, изглаживаются, язык слаб и тяжел в не свойственных ему оборотах; а свойственные ему и собственно ему принадлежащие изгоняются и забываются. Их можно найти там только, где язык не изменился, — в народе, ими должно дорожить, искать их и вводить снова в письмо, чтобы пошрое и слабое заменить свежим, ясным, живым и сильным. Словари не помеха этому делу, а подспорье; но одни словари, без убеждения и твердой решимости писателей, также ровно ничего не сделают. Должен ли писатель изучить прилежно язык свой, или же он может писать как попало — в твердой уверенности, что, несмотря на малограмотность, его, писателя, родное слово выработается и образуется, коли угодно аллаху, по-своему, наперекор всем безграмотным попыткам верующих в фатализм грамотеев? Мы не гоним общей анафемой все иностранные слова из русского языка,

мы больше стоим за русский склад и оборот речи; дурная привычка ходить за русскими словами во французский и немецкий словарь делает много зла. Век идет на парах да по телеграфам, досужно ли тут и кстати ли призадумываться над словами, над оборотами речи... Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах. От нас требуют, чтобы мы удержали речь свою на природном ее пути, дали ей простор и раздолье в своем, коренном русле. Итак, нам надобно добиваться того, чтобы высказать ясно все то, что другие могут вымолвить на своем языке; но высказать так, как оно должно отозваться в русском уме и сердце.

Доброй воли па доброе дело подайте — и я тут первый этим похваюсь, коли к тому речь пошла; а что дальше будет — пусть рассудят внуки наши, когда станут умнее нас».

Таковы лингвистические взгляды Даля. Надо ли удивляться, что вот уже более ста лет нет почти ни одного серьезного труда в этой области науки, где бы не упоминалось его имя. Даля цитируют, на него ссылаются, с ним спорят.

Споры о языке выходят за рамки лингвистики. Сущность борьбы за чистоту родной речи гениально определил Владимир Ильич Ленин: засорение языка, по его словам, «затрудняет наше влияние на массу». Как тут не вспомнить приведенные выше слова Даля: «...надобно добиваться того, чтобы высказать ясно все то, что другие могут вымолвить на своем языке; но высказать так, как оно должно отозваться в русском уме и сердце»?

В мире идет непрекращающаяся идеологическая борьба. В этой борьбе у нас есть оружие, не имеющее себе равных, — ясное, чистое, меткое русское слово. Недооценивать это оружие нельзя — оно открывает души.

Словарь

Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые ознакомиться с знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь...

(В. И. Ленин)

В 1863 году академик М. П. Погодин выступил с заявлением, которое потрясло умы современников: «Словарь Даля кончен. Теперь русская академия без Даля немислима. Но вакантных мест ординарного академика нет. Предлагаю: всем нам, академикам, бросить жребий, кому выйти из академии вон, и упраздненное место предоставить Дально. Выбывший займет первую, какая откроется, вакансию».

Надо отдать должное академикам: ни один из них не подложил Дально «черного шара», иными словами, он был избран единогласно. Так велика была популярность только что вышедшего первого тома «Словаря живого великорусского языка».

В далевском словаре что ни страница — чувствуется сильный, свежий, меткий и ясный русский язык. Труд Даля — увлекательнейшее чтение, потому что автор объясняет значение слов не выхолощенными наукообразными терминами, а близкими по значению словами живого разговорного языка. Раскроешь словарь, чтобы найти нужное слово, и погружаешься в дивную, полногласную, исконно русскую народную речь. Даль раскрывает реальное содержание слова, ибо он знает душу народа, создавшего его: «Русский берет одно, главное понятие и из него выливает целиком слово, короткое и ясное». Даль доходит до утверждения, что в слове «не менее жизни, как и в самом человеке». К далевскому словарю это вполне применимо. «СЧАСТЬЕ — со-час-тье, доля, пай, судьба. часть, талант, удача, успех, спорина в деле, благоденствие, жизнь без горя». Не может же русский человек быть счастливым в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив. Таких примеров, раскрывающих русский характер, в словаре тысячи. Вот это знание идеологии народа, умение ее выразить и есть основное достоинство далевского труда.

Словарь Даля — это прежде всего словарь живого языка. И он остается таким вот уже целый век. Мало того, он до сих пор остается лучшим словарем русского языка.

Было много попыток сделать подробный филологический разбор словаря Даля. Однако представители кафедральной науки не могли отделаться от предвзятых суждений о стихийно возникшем, написанном «не по правилам» словаре. Их возмущало именно то, что является в нем наиболее ценным. Далевский словарь бессмертен: даже если отдельные слова уходят из речи, они не теряют исторического значения.

Любое слово, если оно связано с ремеслами или обозначает орудие труда, находит исчерпывающее объяснение. Примеров можно привести множество. «БАРКА — общее название сплавных, плоскодонных судов для клади; речное грузовое судно грубой постройки на деревянных гвоздях, идущее одну нижнюю путину по воде, а затем в ломку. Переводчики наши ошибочно назыв[ают] баркою и ботом гребное судно; это лодка, шлюпка, катер, баркас и пр. Длина барок 8—20 саж., а в разных местностях даны им разные названия...» Далее объяснено, как строятся барки, описывается момент пуска их на воду и приводятся слова, которые принято говорить в таких случаях: «.. при выходе судна в путину хозяин или водолив кричат: с коня долой, православные (к борту), молись богу!» Таким образом, Даль дает целую небольшую статью по существу вопроса. В объяснениях все предельно сжато, а между тем различных сведений приводится множество: читатель может узнать, как называется и средний брус днища, и обшивка, и швы, и крепежные диагонали по бортам, и полозья, по которым судно будет спущено на воду, и основная подставка, которая его держит.

Еще один пример — заметочка в четыре строчки, но автор и тут успевает дать толковый совет: «ЗАМЕЗДРИНА — изнанка кожи, где луковки, корешки волос. Мездру счищают, а замездрину соскребешь, так и шерсть вылиняет». Этим замечаниям нет цены: автор знал русскую действительность так, как ее не знал ни один ученый лексикограф. Поэтому Далев труд до сих пор цитируется чаще всех других словарей. Только у

Даля можно докопаться до происхождения непонятного даже коренным москвичам слова «балчуг»: «БАЛЧУГ — рыбный торг, привоз. базар».

Даль, составляя свой словарь, оставался прежде всего гражданином. Только добрый и талантливый народ, утверждал он, может сохранить величавое спокойствие духа и юмор в любых, и самых трудных, обстоятельствах. Пословицы, поговорки, прибаутки, рождающиеся в недрах народных масс, говорят о здоровом, могучем организме. Ну что для такого народа значили бездарные правители, коронованные фельдфебели или как их там еще называли, когда народ откровенно высмеивал их? А кто еще может так громко, беззаботно и весело смеяться над собственными недостатками, как русский народ?

Тридцать тысяч пословиц включил в свой словарь Владимир Иванович Даль. «Было житье, еда да питье; ныне житья — ни еды, ни питья!» Народ и самую бедность свою оборачивает шуткой: «Безденежье перед деньгами». Нельзя забывать, что все эти далеко не безобидные объяснения слов собирались в основном в солдатской и крестьянской среде 30—50-х годов прошлого века, в период разгула реакции и невиданного нравственного гнета. Ну как же и это не высмеять! «Сказал бы словечко, да волк недалечко».

Отказавшись от авторитетной фразеологии, Даль добился полной свободы в выборе лексических примеров. К слову «ЖИЗНЬ» он дал такой пример: «В обществе нет жизни, нет движения, беседы, удовольствий, все живут одиноко, сходятся равнодушно». Лучше не скажешь о русском обществе середины прошлого века, и надо обладать огромным гражданским мужеством, чтобы написать это черным по белому не в дневнике, не в письме, а в книге, на обложке которой стоит твое имя.

Но в предисловии к словарю есть строчки, которые свидетельствуют об оптимистическом мироощущении писателя: «Во всяком научном и общественном деле, во всем, что касается всех и требует общих убеждений и усилий, порою проявляется ложь, ложное, кривое направление, которое не только временно держится, но и берет верх, пригнетая истину, а с нею и всякое свободное выражение мнений и убеждений. Дело обра-

щается в привычку, в обычай, толпа торит бессознательно пробитую дорожку, а коноводы только покрикивают и понукают. Это длится иногда довольно долго; но, взглядываясь в направление пути и осматриваясь кругом, общество видит, наконец, что его ведут вовсе не туда, куда оно надеялось попасть; начинается ропот, сперва вполголоса, потом и вслух, наконец подымается общий голос негодования, и бывшие коноводы исчезают, подавленные и уничтоженные тем же большинством, которое до сего сами держали под своим гнетом. Общее стремление берет иное направление и с жаром подвизается на новой стезе».

Основное достоинство этого словаря в богатстве лексического материала: из двухсот тысяч слов восемьдесят тысяч зарегистрированы Далем впервые. Даль отказался от цитат из авторитетных произведений: его словарь иллюстрирован примерами живого разговорного языка.

В свое время Далу приписывали преувеличенный страх перед иностранными словами. Однако, справедливо критикуя отрицательное отношение писателя к «чужесловам», часто не учитывали то, что Даль все-таки включил в свой словарь иноязычные слова, получившие распространение. Он сделал это скрепя сердце и, поместив набранный жирным шрифтом «чужеслов», отвел душу таким толкованием этого слова, что доставил радость своим недоброжелательным критикам: кокетка — хорошуха; горизонт — свидь; канделябр — свечник; эгоизм — одиночество. В предисловии к словарю составитель говорит, что, если бы он не включил их, они бы все равно не вышли из употребления. Но если уж мы взяли иностранное слово, не надо ставить его в бог весть какие необыкновенные условия. Пусть подчиняется правилам нашей грамматики и произносится так, чтобы для русского человека оно не было диковато на слух.

Тут необходимо вспомнить, что это было время, когда знать к своему родному языку относилась крайне высокомерно, предпочитая ему французский. У Даля были все основания заявить: «Письменный язык наш видимо пошлеет, превращаясь в какую-то пресную размазю». Достаточно сказать, что составители единственного в те годы «Словаря Академии Российской»

(1789—1794 годы) ставили перед собой совершенно определенную цель: «...отделить слова, в сообществе благородных людей слышимые, от слов, между просто-народьем только употребительные». Даль же составил свой словарь по противоположному принципу. Ошибочно приписывать открытие неизвестного до того метода составления словаря счастливой случайности. Здесь все решала правильная основа труда Даля, отлично сформулированная им самим: «Живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стройность, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи».

Надо отметить, что сам Даль в своей непритворной скромности не считал свой словарь образцовым. Он неоднократно указывал, что это не ученый труд, а только сбор «запасов» из живого языка, это труд не зодчего, даже не каменщика, а работа подносчика его.

Словарь Даля — это подвиг во имя русского народа. Недаром же у него вырвалось признание: «Скиньте мне 30 лет с костей, дайте десять лет досугу и велите добрым людям пристать с добрым советом — мы бы все переделали, и тогда бы вышел словарь!» И уже в конце жизни он не только предавался мечтам об улучшении своего словаря — он дал практический совет будущему составителю: «Может быть, именно тот, кто успешно введет в русский словарь сравнения со всеми славянскими наречиями, кто вставит в наш древний язык и указания на начальные корни, может быть, он-то именно и затруднился бы составлением той части, которая образует основу и сущность моего словаря; во всяком же случае, дополнять и исправлять полегче, чем составлять вновь. Передний заднему мост».

Дух сомнения составляет свойство добросовестного изыскателя, признается исследователь Владимир Иванович Даль. Он не скрывает, что еще в корпусе полусознательно замечал, что та русская грамматика, которой их учили, ни больше ни меньше, как вздор на вздоре, чепуха на чепухе: «...неизученный, неисследованный в его законах живой язык взяли да и втиснули в латинские рамки, склеенные немецким клеем». Ну кому не знаком этот страх перед грамматическими пре-

мудростями? Даль блестяще знал свой родной русский язык, а грамматики боялся.

Даль поясняет, что он хотел составить словарь, который можно было бы назвать «Речения письменные, беседные, простонародные; общие, местные и областные; обиходные, научные, промысловые и ремесленные; иноязычные усвоенные и вновь заходящие, с переводом; объяснение и описание предметов, толкование понятий общих и частных, подчиненных и сродных, равносильных и противоположных, с одно(тожде) словами и выражениями окольными; с показанием различных значений, в смысле прямом и переносном или иноречиями; указания на словопроизводство; примеры с показанием условных оборотов речи, значения видов глаголов и управления падежами; пословицы, поговорки, присловья, загадки, скороговорки и пр.». Но подготовки, объясняет Даль, для такого труда было у него маловато, а жизнь коротка. Это очень характерная для Даля фраза. Посвятив основному труду своей жизни — словарю более пятидесяти лет, он с сожалением восклицает, что жизнь коротка.

Ему ее не хватило, жадность была до работы, ведь незадолго до смерти, когда он уже не вставал и не было сил поднять голову, Владимир Иванович продиктовал своей дочери Марии Владимировне два слова, услышанные им от сиделки. Как каждый настоящий художник, доживший до зрелых лет, Даль успел сделать главное дело своей жизни. Он дал русскому народу словарь языка, в котором как в зеркале отразился великий, могучий, щедрый и бескорыстный русский характер.

* * *

Однако было бы неверно считать, что «Словарь живого великорусского языка» был по достоинству оценен представителями кафедральной науки. Поначалу реакция общества на столь значительное событие — выход в свет словаря Даля ограничилась выступлением историка М. П. Погодина. Павел Иванович Мельников-Печерский пишет: «Как бы загремело имя Даля, если б это был словарь французский, немецкий, английский! А у нас хоть бы одно слово в каком-нибудь журнале! Ни один университет не выразил своего уважения к

монументальному труду Даля возведением его на степень доктора русской словесности, между тем как дипломы и докторскую степень раздавали зря. Ни один университет не почтил составителя «Толкового словаря» званием почетного члена или хотя простым приветом неутомимому труженику, окончившему столь великое дело!.. Я не знал человека скромнее и нечестливее Даля, но и его удивило такое равнодушие».

Павел Иванович Мельников-Печерский в описываемый период жил у Даля, он лучше других знал о его настроениях.

Первые разборы далевского труда не изменили положения. Как уже говорилось, Даль не «зачеркивал» деятельность русских писателей, но на него постоянно нападали за то, что он якобы стремится повернуть и язык наш, и даже культуру вспять. Владимир Иванович пояснял: «Я вовсе не утверждаю, будто вся народная речь, ни даже все слова речи этой должны быть внесены в образованный русский язык; я утверждаю только, что мы должны изучить прямую и простую речь народа». Однако критики и знать не желали, что он говорит. Словно сговорившись, они твердили свое. И что удивительно, обвинения эти перекочевывали со страниц одного недоброжелателя Даля на страницы другого, они как бы жили своей жизнью, подтверждая очень распространенную пословицу: «Слово не воробей, выпустишь — не поймашь».

Боль и досада сквозят в строчках, которыми заканчивается ответ Владимира Ивановича на разбор своего словаря: «Если труд целой жизни человека поносится одним легкомысленно кинутым словом, то на это и отвечать было бы нечего; но если слово это содержит в себе прямое обвиненье, то на него отвечать должно, и отвечать не ради личности своей, а ради дела». Не исключена возможность, что столь дружные нападки на «простонародный» словарь имеют много общего с травлей, которой подвергался Даль много лет подряд со стороны так называемой «охранительной» и «аристократической» критики. Эту касту, как заметил еще Белинский, «оскорбила, зацепила за живое любовь Даля к простонародью».

Но спустя несколько лет после выхода словаря он был отмечен наградами. Русское географическое об-

щество удостоило «Толковый словарь живого великорусского языка» золотой медали, Академия наук — Ломоносовской премии, а Дерптский университет присудил ему премию Геймбюргера. Ученые разных стран проявляли огромный интерес к труду Даля Владимир Иванович писал своему старому другу историку Погодину: «Филолог славянист Шлейхер, в Геттингене, писал мне через акад. Шифпера, что вскоре напечатает разбор моего словаря, передали мне также, что какой-то весьма ученый филолог, профессор в Оксфорде, занимается рассмотрением словаря и уже три письма написал Ю. Самарину, требуя скорейшей высылки последних тетрадей. Каковы славянисты в Геттингене и в Оксфорде!»

Небезынтересны разборы, о которых впоследствии писали газеты. Множество ботанических и зоологических названий были «рассмотрены» и проверены по ботанике покойным академиком Рупрехтом и по зоологии академиком Леопольдом Шренком. Отмечая полноту этого материала, оба ученых признают его важность в научном отношении и, указав на некоторую весьма незначительную часть зоологических наименований, нуждающихся в дополнении, сходятся на положительной оценке словаря. Поскольку Даль не был ни ботаником, ни зоологом, можно было ожидать изрядной путаницы, незаметной читателю-неспециалисту, но автор словаря оказался на высоте.

Так же безупречны морские термины и все, что касается медицины. Здесь, разумеется, сказалось разностороннее образование автора.

Сохранились воспоминания Андрея Павловича Мельникова, сына писателя Мельникова-Печерского, в которых говорится именно о том периоде, когда Владимир Иванович закончил свой словарь. Даль обычно сидел за своим столом, который стоял слева от входной двери в зале, в своей темно-синей поддевке и сапогах, около него на столе лежали обыкновенно табакерка и красный фуляровый платок. «Каким-то духом мирного успокоения и тишиной веяло отовсюду в доме Даля. Русская простота, соединенная с немецкой почти педантичностью и аккуратностью, составляла какую-то специфическую особенность этой доброй, радушной семьи».

велел подать квасу. Оба они — старик и мальчик — пили с удовольствием.

— Что, хорош квас?

— Хорош, Владимир Иванович.

— А чем хорош?

— Вкусный, холодный, с эрфиксом.

Владимир Иванович чуть не поперхнулся от удивления.

— С чем?

— С эрфиксом, — повторил гимназист уже менее уверенно, смущенный выражением лица Владимира Ивановича.

— Погоди, погоди, я что-то не возьму в толк. Ты что, иностранец какой, что ли?

— Нет.

— Как по-русски надо сказать?

— Не знаю.

— Ах ты, француз, француз! Ступай к отцу да спроси, как надо по-русски сказать, а потом приходи, как выучишься.

Павел Иванович работал, отрывать его не полагалось, но когда запыхавшийся Андрей объяснил, в чем дело, Мельников-Печерский расхохотался: ему была известна ненависть Даля к употреблению без надобности иностранных слов. Он научил мальчика, что надо было сказать, и тот побежал к Владимиру Ивановичу.

— Ну что, научился по-русски говорить?

— Да. Игривый квас.

— Ан врешь! Квас ядреный. Отец твой его с шампанским спутал. Так ему и скажи!

Эта сценка очень характерна для Даля. Казалось бы, одно слово, ну велика ли важность, как там его употребил мальчишка-гимназист! Но Владимир Иванович придавал огромное значение слову и всегда, слыша его неправильное употребление, старался объяснить тончайшие оттенки смысла. Детям своим он не разрешал говорить «мамá» и «папá», и это понятно: в те времена дворяне щеголяли «благородным» произношением этих слов с ударением на последнем слоге, на французский манер.

Из-за слов то и дело вспыхивали споры.

— Можно открыть окно? — спрашивает как-то Андрей Мельников.

— Открыть можно коробку, а окно лучше растворить. У него же две створки, погляди.

А когда тот же Андрей привел долговязого приятеля, пришедшего посмотреть на знаменитого старика, самоуверенно заявившего, что он заглянул «на пару минут», Владимир Иванович так набросился на беднягу, что тот на всю жизнь запомнил: «пара сапог», «пара перчаток», «пара весел» и «супружеская пара». И в то же время Даль очень любил отдельные слова из других родственных языков и рассказывал о них детям. Когда Маша заболела, она всегда звала мать по-украински: «ненько».

Случалось, что одно особенно понравившееся слово какое-то время жило в доме над Пресненскими прудами, потому что Владимир Иванович беспрестанно его повторял. Так было, например, со словом, услышанным им от крестьянки на базаре: «поторачка — женщина маленького роста». Даль очень удивился, тут же его записал, а потом склонял на все лады целую неделю кряду.

Как известно, Даль избегал авторитетной фразеологии, он даже сравнивал цитаты с дубинкой. Его интересовала лишь живая речь, а то, объяснял Владимир Иванович, что уже вошло в книги, не пропадет. Он до того любил речь народа, живые слова, как бы ни были они непривычны для «образованного уха», что объяснял в своем словаре эти слова такими же живыми, разговорными словами. Однако Даль любил повторять слова своего старшего друга студенческих лет Василия Андреевича Жуковского, слова, близкие его сердцу: «Слово не есть наша произвольная выдумка: всякое слово, получающее место в лексиконе языка, есть событие в области мысли!»

○ ВОСПИТАНИИ

Нашему молодому поколению предстоит сильная борьба за правду.

(Даль. Из письма М. П. Погодину)

Редакция «Морского сборника», одного из лучших журналов середины прошлого века, обратилась к Далю с просьбой высказаться по вопросам воспитания. Вла-

димир Иванович прислал из Нижнего Новгорода статью, озаглавленную «О воспитании». Статья Даля была убедительна и логична. Автор ставит вопросы и дает на них исчерпывающие ответы: «Что вы хотите сделать из ребенка? Правдивого, честного, дельного человека, который бы думал не столько об удобстве и выгодах личности своей, сколько о пользе общей, не так ли? Будьте же сами такими; другого наставления вам и не нужно...

С чего вы взяли, будто бы из ребенка можно сделать все, что вам угодно, наставлениями, поучениями, приказаниями и наказаниями?

Кто полагает, что можно воспитывать ребенка обманом, что достаточно, поучая его словами, остерегаться при нем неосторожных выражений и поступков, словом, кто дело воспитания считает задачей ловкого надувательства, тот жестоко ошибается и берет на себя страшный ответ. Если бы воспитатель свыкся и сжился, может быть и бессознательно, с правилом: не за то бьют, что украл, а за то, чтоб не попадался, то какие понятия он об этом передаст другому, младшему?

Если бы воспитатель не находил в себе самом основательных причин, для чего ему отказываться от обычных средств к жизни, то есть: прокармливая казенного воробья, прокормишь и свою коровушку, то какие убеждения он в этом отношении невольно и неминуемо передаст воспитаннику?

Воспитатель в отношении нравственном сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника; по крайней мере, должен искренне желать быть таким и всеми силами к тому стремиться.

Но вы скажете: ангелов совершенства нет на земле, мы все люди; для того-то я, сказав «воспитатель должен быть таким», прибавил: «или искренне хотеть быть таким и всеми силами к тому стремиться». Будь же бы прям и правдив, желай и ищи добра; этого довольно. Ищи он случая в присутствии воспитанников, но без похвальбы, без малейшего тщеславия, сознаваться в ошибках своих — и один подобный пример направит на добрый путь десятки малолетков.

Вот в чем заключается наука нравственного воспитания».

Статья Даля была напечатана в седьмом номере «Морского сборника» за 1856 год, и уже в девятом был помещен отклик на нее Николая Ивановича Пирогова под названием «Вопросы жизни».

«Прав, тысячу раз прав Даль, утверждая важность личного примера наставника для детей,— писал Пирогов.— Это вопрос жизни, вопрос жизни для России — воспитание подрастающего поколения».

В статье Пирогова — мысль огромная: слишком много за все эти годы накопилось лжи, лицемерия и подлости. Слишком силен был гнет и страх за свою шкуру. В результате империя — в хаосе: все маломальски выгодные места заняты людьми без принципов и без совести; увеличилась преступность; пьянство достигло размеров стихийного бедствия; поднялся открытый ропот недовольства. И до тех пор, пока мы на всех перекрестках будем лицемерно провозглашать, что у нас все хорошо, ничего не изменится. Хорошо будет только тунеядцам, стяжателям и казнокрадам. А молодежь постигнет участь еще более страшная: они вступят в жизнь разочарованными, как старцы. Что же делать?

«Остается единственный путь. Будем готовить подрастающее поколение к борьбе за правду, против всех уродств жизни. Для этого многим воспитателям необходимо перевоспитать самих себя. Воспитание человека — вот задача школы. Истинное просвещение — это могучий источник мужества и сил для борьбы за правду».

Ни Даль, ни Пирогов не были революционными демократами. Но как пригодились революционным демократам предреформенной России их смелые, проникнутые болью за свой народ статьи! Они были подхвачены, развиты, продолжены.

Подробнейшим образом разобрал достоинства статьи «Вопросы жизни» Николай Александрович Добролюбов. Он писал о нелепости основных начал педагогики тех лет: даже если человек хочет бороться со злом и ложью, он «непригоден к борьбе, он должен сначала перевоспитать себя, чтобы выйти на арену бойца».

Ушинский превозносит пироговскую статью «Вопросы жизни», напоминает, что это слова знаменитей-

шего хирурга Европы. Говоря о великой правдивости автора, Ушинский приходит к выводу: «К такому языку не привыкла русская литература».

Отозвался на выступление Пирогова и властитель дум 50-х годов прошлого века — «Современник». Николай Гаврилович Чернышевский писал об этой статье: «Жизнь — тяжелая борьба: в ней много соблазнов и недоумений; а вы, — обращается великий русский демократ к воспитателям, — позаботились ли о том, чтобы приготовить юношу к честной борьбе с соблазнами, к светлему взгляду на недоумения?.. Вы хромого сделали кровельщиком, глухого — музыкантом, бессильного труса — кучером: что ж чудного, если и кровельщик ваш, и музыкант, и кучер — все одинаково плохо исполняют свое дело? А если бы поступили вы разумно, подождав, пока можно будет различить качества этих людей и пока они поймут, к чему они годны, тогда и результаты были бы не те: тому глухота не мешала бы сделаться хорошим кровельщиком, другому трусость — хорошим скрипачом, третьему хромота — хорошим кучером. Произвол ваш не дал развиваться людям и перепутал специальности — в результате получилось: неспособность, невежество и отсутствие твердой честности...»

Разумеется, в идеологическом отношении статьи Даля и Пирогова слабее выступления Чернышевского, но их нельзя рассматривать каждую в отдельности, а только в конкретной исторической обстановке и вместе с другими работами, принадлежащими перу трех замечательных представителей следующего поколения русской интеллигенции.

Даль следил за дискуссией, он вырезал из журналов все отклики, сложил их в одну папку и подписал: «Основы воспитания», несколько изменив свой первоначальный заголовок. Пожар, зажженный Далем и Пироговым, запылал невиданным заревом: статьи в «Морском сборнике» получили такой общественный резонанс, что сделать, как обычно в таких случаях, вид, что ничего не произошло, царское правительство уже не могло.

Правительству без обиняков заявили, что в неверии и разочарованности молодежи виновато оно само, его высшие сановники. И придворные круги довольно бы-

стро уяснили себе, что «нельзя профессора Пирогова выпускать из поля зрения ответственных кругов. Нельзя отдать его авторитет на службу господам из редакции «Современника».

В мае 1856 года некая придворная дама Раден передала Николаю Ивановичу Пирогову предложение занять пост попечителя Одесского учебного округа. Это было сделано в такой форме, что, если бы Пирогов отказался, получилось бы, что он отрекается от своих убеждений. Николай Иванович ответил: «Я от своей независимости и от своих убеждений не отказываюсь». В начале сентября Александр II подписал назначение Пирогова на пост попечителя Одесского учебного округа. Правительство отправило хирурга подалее от столицы и популярного «Современника» и в то же время якобы проявило либерализм, дозволив заниматься проблемами воспитания.

Это было лицемерие, однако те, кто придумал подобное наказание, недооценивали педагогического таланта всемирно известного хирурга. Пирогов не переставал заниматься серьезнейшими исследованиями по вопросам педагогики. Ему принадлежат гневные и искренние строки, которые звучат как приговор правительству Александра II, изощрявшегося в расправах над студентами.

Учащаяся молодежь, говорил Пирогов, самый верный барометр состояния общества. И если правительство начинает войну против подрастающего поколения своей страны, это значит, что правительство прогнило и забюрократилось.

4 апреля 1866 года неудачное покушение на Александра II Дмитрия Каракозова послужило началом репрессий правительства. Пирогов писал: «Когда наступила реакция, после каракозовского покушения, то министерство народного просвещения занялось исключительно травлею молодежи. Стали придумывать всевозможные средства к затруднению входа в университет. Эта несчастная мысль преследует еще до сих пор наших государственных людей; я слышал ее еще в 1860-х годах. Правительство, видя, с одной стороны, сильный прилив молодежи к университетам, а с другой, встревожанное разными демонстрациями студентов, пришло к убеждению, что надо притворить по-

крепче двери в университеты... Общее недовольство возрастало по мере того, как все более и более убеждались, что все учебные преобразования, по-видимому клонившиеся к развитию серьезно-научного образования, скрывали в себе заднюю мысль о сокращении границ этого образования...»

Идеологическое значение поднятых Далем и Пировым вопросов огромно. Мало сделать молодых людей «учеными, юристами, врачами, солдатами и т. п.», главное, сделать юношу Человеком. Правдивым. Честным. Для которого правда и свобода важнее всего, у которого есть идеалы, убеждения и принципы.

Даль — демократ

Даль — демократ, он глубоко чувствует свою связь с народом... у него можно было учиться многому, но не учились ничему.

(М. Горький)

Назначение человека именно то, чтоб делать добро.

(Даль. Из письма)

Оглядываясь на жизненный путь Даля, поневоле изумляешься величию его подвига — полувековым трудом над словарем. В основе этого невиданного труда — любовь к русскому языку и к русскому народу. Лучшее всех это сумел выразить классик советской литературы Алексей Максимович Горький. Его анализ глубок и мудр. Горький писал:

«У Тургенева мужики по преимуществу не тягловые, а дворовые, отличительная черта их — они поэты, любят природу, песни... Они кротки, терпеливы, мягки — человека чувствительного могут довести до слез, человека же, который желал бы найти в них активное, творческое начало, способны довести до ненависти к ним.

Слезоточивые мужички Гр[игоровича], переведенные с французского, тоже чрезвычайно кроткий народ, они тоже возбуждают жалость к себе и тоже, как социальный материал, являются безнадежными.

Толстой до падения креп[остного] права показы-

вает мужиков хитрых, лживых, косных, а впоследствии они встают перед нами, как носители самой высокой и законченной мудрости житейской, как люди, у которых всем нам надс учиться жить,— но это уже тема будущего.

Изображал народ Гоголь; но его народ ест галушки, пьет горилку, женихается, жартует, никогда не работает, показывается автором только в праздники, накануне праздников, в майские ночи и т. д.

Это народ спертый, красиво одетый, настроенный поэтически и — никогда не существовавший в действительно существующей Полтавской губернии.

У всех трех писателей совершенно отсутствует демократизм, как чувство своей исторической и социальной связи с народом и как ясное представление о [б] исторических жизненных задачах этого народа в будущем...

Гораздо серьезнее, более правдиво и всесторонне изображал народ Влад[имир] Даль — автор замечательного «Словаря великор[усского] языка» и бесчисленных очерков народной жизни, нравов, обычаев. Он не художник, а то, что называется этнограф, его очерки — простые описания патуры, такую, какова она есть. Эти очерки имеют огромную ценность правдивых исторических документов, и если бы мы захотели детально изучать жизнь крестьян 40-х — 50-х годов, для этой цели сочинения Даля — единственный и бесспорный материал. Но, как сказано, Даль не художник, он не пытается заглянуть в душу изображаемых им людей, зато их внешнюю жизнь он знает, как никто не знал ее в то время. Следует помнить, что Даль — современник и товарищ всех вышеназванных литераторов и что все они относились к нему, как к знагоку народной жизни.

После мы увидим, что такая фигура, как Даль, много раз повторится в рус[ской] литер[атуре] и что Реш[етников], Г[леб] Успенский, Наумов, Нефедов имеют не мало общего с ним как в манере писать, так и в отношении к материалу».

Кстати, эта оценка основана на принципе, который был неплохо сформулирован Далем: о человеке судить можно лишь «по делу глядя».

Остается рассказать о трагическом влиянии на

судьбу Даля именно того момента, который он сам почитал счастливейшим: речь идет об окончании работы над словарем. Его труд десятилетиями забирал все силы и все время, поэтому нельзя было ожидать, что с окончанием работы изменится образ жизни шестидесятилетнего автора. Так оно и случилось.

Словарь был кончен, и Владимир Иванович мог наконец отдохнуть от своего полувекового труда, но в действительности случилось наоборот. Словно это нечеловеческое напряжение и поддерживало его жизненный тонус, а дожил до конца дела, увидел свой словарь напечатанным — наступил срыв: лишенный привычных занятий, Даль одряхлел, осунулся и ослаб. Он продолжал собирать слова, готовил второе издание, делал поправки в первом, но все-таки это была жизнь вполнакала. Он угасал.

Вместо того чтобы отдыхать, Даль так же рано вставал. Встанет, подойдет к столу, а делать нечего. Ему все время чего-то не хватало. Выйдет во двор, где было выстроено белокаменное книгохранилище в виде небольшого античного храма, отомкнет тяжелую железную дверь, полюбуется на свое сокровище: отпечатанный, готовый словарь. Вот он, труд его жизни. А дальше что?

Уныло бредет в дом... Хорошо еще, что есть мастерская, можно отвести душу какой-нибудь славной работенкой. Например, большой дубовый трехстворчатый шкаф две недели занимал Владимира Ивановича. Шкаф получился на славу. Окончив работу, он написал на задней стенке: «Сделано Далемъ». Правнучка писателя Софья Арсеньевна Журавская рассказывает, что этот шкаф, вернее, две его секции длиной около двух метров остались в квартире ее матери в доме Ярославского музыкального училища на берегу Волги, в том самом доме, где сейчас находится Управление волго-окского пароходства. Шкаф был красивый, добротный, может быть, он и сейчас еще цел...

Словом, столярная работа в какой-то мере отвлекала Даля, но не давала длительного облегчения.

После 1866 года и друзья заметили во Владимире Ивановиче перемену: что-то главное, быть может, то, что поддерживало его все это время, ушло. В конце концов словарь был для Даля смыслом жизни...

— До окончания этой работы надо начать другую, такую же,— посоветовал однажды Владимиру Ивановичу знакомый врач.

— Таковую же? — усмехнулся Даль.— Другой такой быть не может.

Это, конечно, было справедливо. Он жил все так же и все там же. Ворота его дома запирались только на ночь: все время приходило много людей.

Тенистая, утоптанная дорожка вела к резному крылечку, на скамеечке под своей любимой лиственницей в хорошую погоду сидел высокий седой старик. Он был могуч и прям и, по свидетельству близких друзей, такой же насмешник, как в прежние годы. «Даль любил всех задирать»,— писал впоследствии Дмитрий Завалишин, знавший Владимира Ивановича пятьдесят семь лет.

Когда Завалишин вернулся из ссылки, Даль был чуть ли не единственным его другом. Они любили вспоминать своих бывших однокашников по Морскому корпусу: Павла Нахимова, Степана Лихонина и любимого своего наставника Сергея Александровича Шихматова. Завалишин, чтобы доказать Далю, что университетское образование дало ему меньше, чем Морской корпус, принес однажды статью о Сергее Александровиче, где говорилось о заслугах этого выдающегося воспитателя юношества, литератора и переводчика. Их наставник еще в 1809 году стал действительным членом Российской академии наук, а в 1817 году получил от академии за свои литературные труды Большую золотую медаль с надписью: «Отличную пользу российскому слову принесшему». Даль был в восторге. Глаза у него стали лучистые и счастливые, когда он заговорил о Сергее Александровиче, но, как ни упрашивал его Завалишин, он так и не признал, что Морской корпус лучше Дерптского университета. А когда Завалишин начал настаивать, Владимир Иванович сказал, что заведение, где бьют мальчишек, он добрым словом не помянет.

— Ну и упрям же ты! — вздохнул Дмитрий.— Ну и упрям!

Однажды в доме на Пресне появился меценат и владелец знаменитой картинной галереи Павел Михайлович Третьяков. Даль и Третьяков были знакомы

уже давно, но виделись редко. Хозяин, как всегда, радушно встретил гостя. Павел Михайлович спросил Владимира Ивановича, здоров ли он.

— Да похвастаться нечем,— ответил Даль.

— Многие врачи ныне видят причину недомогания в табаке. Вот у меня приятель есть, друг детства, так он совсем плох был, а бросил курить — ничего, поправляется.

— Счастливчик,— улыбнулся Даль.— Но дело в том, что я не курю.

Помолчал, потом весело взглянул на гостя и неожиданно заявил:

— А не закурить ли мне?

Посмеялись.

— Владимир Иванович,— серьезным, деловым тоном начал Третьяков.— А ведь я к вам по делу.

— Да ну?

— При чем дело очень серьезное. Надсбен нам для Московской галереи ваш портрет.

— Мой? — удивился Даль.— Стар я стал, багенька, чтоб с меня картины писать.

— Ну, это, может быть, вам так кажется, а потомкам интересно будет посмотреть, каков собою был известный писатель и составитель «Толкового словаря» Владимир Иванович Даль.

— По-том-ки? — насмешливо протянул Даль.— Нешто потомки о нас с вами вспомнят?

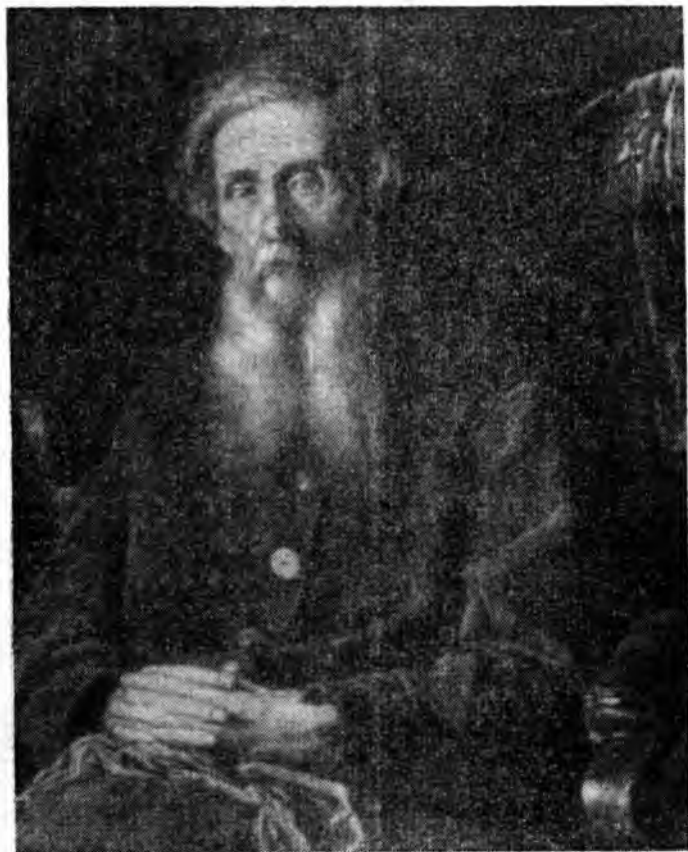
— Непременно вспомнят, Владимир Иванович. О себе не скажу, не уверен, а вас ни один русский не забудет. Так же, как и вашего словаря. И я, поверьте, не о себе стараюсь. Для потомков это нужно, для Москвы. Чтобы знали и гордились, что вот-де жил в первопрестольном граде Москве великий труженик...

— Ой, не надо! Боюсь я таких слсв, дорогой Павел Михайлович. Лучше портрет пишите, голько слов таких не надо.

— Значит, договорились?

— Ну, это вы меня на слове поймали. Мне и самому-то иногда странно на себя глядеть: я это или не я? Восьмой десяток пошел, а старость меняет человека. И не к лучшему.

— Владимир Иванович,— спросил Третьяков,— а вы художника Василия Григорьевича Перова знаете?



В. И. Даль (с портрета работы Перова. 1872 г.).

— Перова? Ну кто же не знает Перова? Знаю и очень высоко ценю.

— Так вот сму-то я и собирался заказать ваш портрет.

— Право, не стоит,— упрямо повторил Даль.

— Владимир Иванович, это будет галерея портретов русских писателей: Островский, Тургенев и Достоевский...

— Целая артель! — хмыкнул Даль.

— Вот именно. И к вам я приехал потому, что знаю: от общего дела вы не отступитесь.

— Ну, если у всех такая участь, то извольте, я согласен,— улыбнулся Даль.

Ему был симпатичен этот молодой купец-меценат своей увлеченностью, он любил таких людей.

— Значит, договорились? — спросил Третьяков на прощанье.— Я на днях пришлю Василия Григорьевича.

— Хорошо,— ответил хозяин, провожая гостя до порога.— Присылайте.

Работа над портретом продвигалась медленно. Даль сидел в том самом зале, где был написан словарь, в кожаном кресле с высокой спинкой, глядя, как ветер колышет лиственницу в саду. В начале 1872 года портрет был закончен. Даль получился точно такой, как в жизни.

...Глубокий старик. У него густые белые волосы, белоснежная борода и серые глаза. Его взгляд выражает спокойствие: он свое дело сделал. Нельзя не обратить внимания на прекрасные руки старика: этим длинным пальцам позавидует любой хирург.

Даль написан Перовым вскоре после первого удара, который случился с Владимиром Ивановичем в начале 1871 года. Вызвали врача, он послал за пиявками. После кровопускания Владимиру Ивановичу стало легче. Но ему целый месяц не разрешали вставать. Екатерина Львовна, которая и сама ходила с трудом, после этого совсем слегла.

Она была мнительная, набожная, суеверная. Болезнь мужа представилась ей знаком свыше. Она решила, что ее час пробил, и в полном смысле слова жила в ожидании смерти. Екатерина Львовна очень обрадовалась, узнав, что муж решил принять православное вероисповедание. Причины, побудившие Даля на этот шаг, можно понять: он перешел в лоно православной церкви, чтобы ничем не отделяться от русского народа.

Даль, как мы уже говорили, всегда считал себя русским, он писал: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежность его к

тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа — мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».

Даль терпеть не мог никакой шумихи, он не стал принимать господствующую религию, когда еще не думал о смерти. В этом есть что-то очень трогательное, равно как и в спокойном отношении Владимира Ивановича к своему концу. Ему была ненавистна самая мысль о некрологах, надгробных речах, он относился ко всему этому удивительно просто: смерть неизбежна, это завершающий этап жизни. Когда, ровно через год, с ним случился второй удар (2 февраля 1872 года), он очень удивился, что не умер.

— Что меня здесь держит? Что я еще не закончил на этом свете?

Так говорить мог только человек, когорый сделал в жизни все, что мог.

В другой раз, объясняя Якову Карловичу Гроту, приехавшему из столицы, почему он принял православную религию, Даль сказал:

— Надо ж о детях порадеть. Православное кладбище от нас — рукой подать, а каково бы им было тащить меня через всю Москву на Немецкое? И опять же: муж в одном месте, жена — в другом, это, может статься, и принято в нынешние времена, да все-таки негоже. Супругам надобно быть рядом.

В середине зимы жена Даля перестала выходить к обеду. От постоянного лежания она так ослабела, что не могла даже двигаться по комнате. Даль ежедневно заходил к ней, садился рядом и все упрашивал ее перейти на время в другую комнату, а тут как следует проветрить. Но она только отрицательно качала головой. В комнате было темно, жарко и нестерпимо пахло лекарствами.

Однажды Владимир Иванович не выдержал, отодвинул зеленую бархатную штору и подошел к жене.

— Мне нельзя смотреть на свет, Володя, — застонала она.

Лицо у нее стало маленькое, высохло и сморщилось. Он задернул штору и вышел.

— Плохо дело, мать долго не протянет, — сказал он Маше.

— Я знаю,— ответила Маша.

В феврале Екатерина Львовна простудилась. Уму непостижимо, как можно простудиться, не выходя из комнаты, но тем не менее ко всем ее недугам прибавилась еще простуда. Она решила, что не сегодня-завтра умрет, и послала за мужем.

— Друг мой Катенька, ты звала меня?

Екатерина Львовна сделала знак глазами: да, звала.

— Ты сегодня лучше выглядишь... Порозовела...

Она ответила шепотом:

— Я скоро умру, Володя. Сядь здесь, чтоб я тебя видела.

Он взял сухую маленькую руку жены. Она закрыла глаза, и слабая, едва заметная улыбка появилась на ее осунувшемся лице. Владимир Иванович замер. Он гнал нахлынувшие мысли, но себя не обманешь. Он знал эту полуулыбку жены: она всегда так улыбалась перед тем, как уснуть... Как врач, Владимир Иванович видел, что конец ее близок, но сейчас он не был врачом. Он хотел только одного: хотя бы выздоровела! Когда она забылась сном, Владимир Иванович вдруг вспомнил, как он принимал у своей жены роды. Повторялось одно и то же. Только бабка-повитуха унесет ребенка, Катя вложит ему в ладонь свою руку и моментально засыпает. Он держит руку жены, маленькую, еще не потерявшую девичьей округлости, руку с ямочками и со смешной родинкой возле мизинца, и не сводит глаз с бледного личика. Спит она недолго. Неожиданно распахнет ресницы, увидит его, так и засияет от счастья. По этому первому взгляду Владимир Иванович и понимал, как любила его жена. Ни слова — она вообще была немногословна и говорила мало, — ни письма в разлуке, ничто не доставляло ему такой радости, как этот первый, непригворный, еще даже не совсем осознанный взгляд...

Она застонала во сне, сжала его пальцы, и Владимир Иванович увидел перед собой не двадцатилетнюю роженицу, а умирающую женщину. Он понял, почему она улыбалась: тогда от легкости, охватывающей все тело после муки и счастья родов; сейчас — от мысли, внушенной накануне ночью священником: ее земной путь окончен. Нет, нет! Не может этого быть! Да как

же это возможно, чтоб Катенька умерла раньше, чем он? Он ведь старше ее на восемнадцать лет, она бы и должна проводить его в последний путь, а выходит — ему, семидесятилетнему старцу, хоронить нестарую жену свою.

Снова стон. На этот раз проснулась. В глазах — боль и страдание.

— Володенька, позови Машу и Катю!

И опять стон. Подавленный, приглушенный ..

Дочери бросились к ее кровати, они плакали горько и беззвучно... Владимир Иванович вышел в зал. Старенький, благообразный священник понял, зачем он пришел. Отставив недопитый стакан чаю, направился в комнату Екатерины Львовны. Даль пошел следом за ним.

Умирающей не хватало воздуха, она задыхалась. Руки ее непрестанно двигались. Священник стал у изголовья и начал читать молитву заунывным, потусторонним голосом...

Владимир Иванович опустился на колени, пелуя маленькую руку. Екатерина Львовна хотела что-то сказать, несколько раз начинала:

— Володя, Володенька...

Вздрогнула — и застыла. Две слезы тихо скатились по ее щеке на подушку.

Привычным движением священник опустил веки покойницы, и Владимир Иванович, рыдая, уткнулся лбом в плечо жены.

На похороны приехали Ольга с мужем и тремя детьми, а также Лев Владимирович. Он так и не удосужился жениться. Маша была со своим женихом, Константином Николаевичем Станишевым, Катя, как всегда, одна. Большой дом на Пресне снова был полон народу.

Вернулись с похорон усталые. Владимир Иванович сел в свое кресло. И сразу же из-под бильярда вылезли внучата. Вся троица была тут как тут: Оля, Женя и Лев. Увидев деда, они оставили свои «комнаты», то есть квадратные перегородки между ножками бильярда, и забрались к нему на колени. Арслан сел против отца и по привычке начал что-то рисовать. Он всегда рисовал. На этот раз это было надгробие покойной, массивный крест с надписью древнерусской вязью:

«Екатерина Львовна Даль. 2 марта 1819 -- 9 февраля 1872».

— Ты что рисуешь, Арслан? — спросил Владимир Иванович.

— Надгробие, отец.

— Покажи.

— Вот. Подойдет?

— Нет. Надпись Каге сделаешь слева, а мне справа.

— Не надо... — начал было Лев Владимирович, по его перебила шестилетняя Оля, которая со слезами потянула деда за руку.

— Вот видишь, и детей напугал! — улыбнулся Арслан.

— Твоя правда, не буду, — глядя Олю по головке, ответил Владимир Иванович. — Но ты не забывай этого разговора. Придет время — вспомнишь.

Время пришло довольно скоро. Один за другим у Даля было еще пять ударов. Врачи только руками разводили: могучий организм старика не сдавался. 15 сентября он сказал Маше:

— Одной сиделке сегодня со мной не справиться, дочка. Пусть сегодня в моей комнате лягут две.

— Отец, тебе плохо? — испугалась Мария Владимировна.

— Нет, дочка, ничего страшного. Но ведь знаешь, в моем возрасте с человеком каждую минуту может что-нибудь случиться...

— Отец, скажи правду!

— Ох и характер! — притворно заворчал Владимир Иванович. — Вся в меня!

— Вот именно...

Маша обняла отца и прижалась к его щеке.

— Ну почему ты со мной, как с маленькой? Я же должна все знать...

— Хорошо. Пойдем посидим в саду.

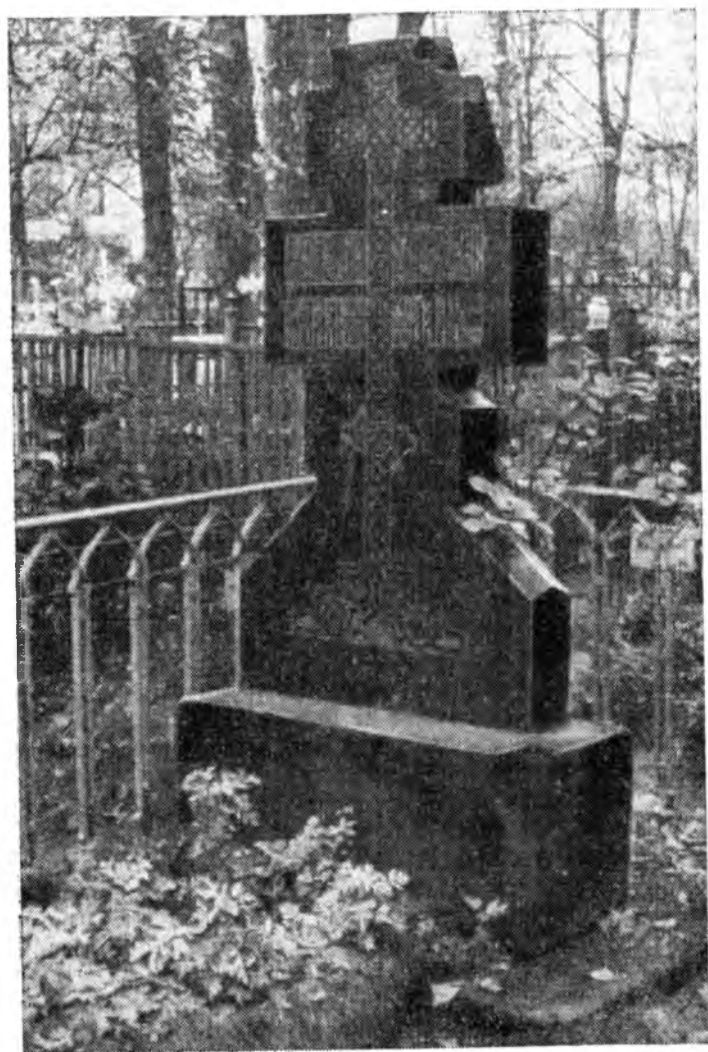
— Пойдем.

Они вышли к его любимой старой лиственнице, сели рядышком, как обычно, и Владимир Иванович начал:

— Я не хочу, чтоб ты плакала обо мне, Маша.

— А еще что ты скажешь?

— Что люди никогда не будут бессмертны, что удел



Могила В. И. Даля.

детей — хоронить своих родителей и что я неплохо жил, пора и честь знать...

— Отец... — умоляюще начала Маша.

— Ладно, не буду. Но пусть сегодня лягут у меня двое.

— Хорошо.

В эту ночь его разбил паралич. Он так и не пришел в себя, но прожил еще целую неделю.

В пятницу 22 сентября (4 октября) 1872 года, в четыре часа пополудни, Владимир Иванович Даль скончался.

Согласно его завещанию, написанному им самим за год до смерти, родные не сделали публикации в газетах, и только одна, без согласования с родными покойного, поместила большой некролог. Это была петербургская газета «Голос». В номере от 27 сентября (9 октября) 1872 года в ней была помещена корреспонденция, которая начиналась словами: «Из Москвы, 25 сентября. Сегодня хоронили Владимира Ивановича Даля».

Едва ли найдется в России человек, жизнь которого была бы настолько разнообразна в своей деятельности, как жизнь покойного, и замечательно, что всюду, где только ни трудился этот человек, везде он оставил памятные по себе следы».

А члены русской Академии наук на ежегодном акте 29 декабря почтили память почетного академика Владимира Ивановича Даля вставанием и заслушали очерк о его жизни и творчестве.

Лев Владимирович поставил отцу надгробие: черный гранитный крест. Слева даты рождения и смерти Екатерины Львовны, справа — Владимира Ивановича:
«Владимир Иванович Даль

10 ноября 1801 года — 22 сентября 1872 года».

Но лучший памятник Далю — переизданные в наши дни его сказки, повести, рассказы и «Толковый словарь живого великорусского языка». Этому словарю уже сто лет. Недавние шестое и седьмое издания, выходившие с промежутками в два года, разошлись сотысячными тиражами.

Готовится к печати восьмое издание.

Словарь живет...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Архив В. И. Даля пока не обнаружен. Владимир Иванович держал рукописи, письма и дневники в сундуке. По свидетельству Софьи Арсеньевны Журавской, правнучки писателя, этот сундук был оставлен ее матерью в подвале Ярославского музыкального училища, где впоследствии помещалось Управление волго-окского пароходства. Но часть бумаг писателя осталась у других наследниц. Найти их было трудно, потому что ни одна не сохранила фамилию своего знаменитого предка. Они как святыню чтут все, что связано с памятью Даля: его вещи, могилу, дом, где он жил и умер.

Не будь этого дома, вряд ли удалось бы найти потомков Владимира Ивановича. Хотя никто из них теперь не живет над Пресненскими прудами, но все эти годы до того момента, когда было принято решение об организации в доме Даля музея его имени, здесь жила бывшая владелица далековского особняка Надежда Владимировна Симонова, урожденная Бутлерова. После смерти Даля его дочь, Марья Владимировна Станишева, продала дом за десять тысяч рублей А. Н. Аксакову, который купил его для своей племянницы Анны Сергеевны Бутлеровой.

Сюда, в дом Даля, и наведались как-то его правнучки. Они оставили Надежде Владимировне свои адреса, так что, найдя дом Даля, можно было без труда разыскать потомков писателя и сохраненные ими реликвии. Так на страницы этой книги попали уникальные портреты Владимира Ивановича.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность потомкам В. И. Даля — Наталье Владимировне Александровой и Софье Арсеньевне Журавской, которые предоставили автору свои семейные архивы.

**КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ
(1801—1872)**

- 1801 г. 10 ноября родился В. И. Даль в г. Лугани.
- 1814 г. Поступил в петербургский Морской корпус.
- 1819 г. Выпущен мичманом в Черноморский флот.
- 1823 г. Военный суд над Далем за эпиграмму на командующего флотом.
- 1824 г. Перевелся в Кронштадт.
- 1826 г. Вышел в отставку и поступил в Дерптский университет.
- 1829 г. Возведен в звание лекаря и отправлен в действующую армию.
- 1830 г. В «Московском телеграфе» напечатан первый рассказ Даля — «Цыганка».
- 1832 г. Определен ординатором петербургского Военно-сухопутного госпиталя.
- 1833 г. Вышла первая книга Даля: «Русские сказки». Женился на Юлии Андре.
- 1838 г. В. И. Даль избран членом-корреспондентом Российской академии.
Смерть жены.
- 1839 г. Хивинский поход.
- 1840 г. Женился на Екатерине Соколовой.
- 1841 г. Перевелся в Петербург.
- 1845 г. 6 августа. Открытие Русского географического общества, одним из учредителей которого был Даль.
- 1849 г. Перевелся в Нижний Новгород.
- 1859 г. Вышел в отставку и поселился в Москве.
- 1861 г. Вышло Полное собрание сочинений Даля.
- 1862 г. Вышел сборник «Пословицы русского народа» В. И. Даля.
- 1863—1866 гг. Вышел «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля.
- 1863 г. В. И. Даль единогласно избран почетным членом Академии наук.
- 1872 г. 9 февраля умерла жена Екатерина Львовна.
4 октября (22 сентября) умер Владимир Иванович Даль.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Архив ГБЛ, ф. 178.
Архив ЦГАЛИ, ф. 179.
Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13 томах. М., 1956.
Завалишин Д. И. Записки декабриста. СПб., 1906.
Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 2-е, П., 1917.
«Пушкин в воспоминаниях современников» (Сборник под редакцией Гессена С. Я.). Л., 1936.
«Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым». Изд-во Сабашниковых, 1925.
«Альбом пушкинской выставки в Москве». Изд. Общества любителей российской словесности. М., 1887.
Горький М. История русской литературы. Госиздат, 1939.
Мейлах Б. С. А. С. Пушкин. Академия наук, 1949.
Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. Академия наук, 1950.
Андроников И. Л. Я хочу рассказать вам. «Советский писатель». М., 1965
«Адмирал П. С. Нахимов». СПб., 1872.
«Адмирал Нахимов». Военмориздат, 1945.
Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания. Академия наук, 1950.
Кирилук Е. П., Шаблюковский Е. С., Шубравский В. Е. Т. Г. Шевченко. «Наукова думка». Киев, 1964.
«Листы до Т. Г. Шевченко». Академия наук, Киев, 1962.
Лазаревский В. М. Из бумаг В. М. Лазаревского. М., 1894.
Модестов Н. Н. Даль в Оренбурге. Оренбург, 1913.
Захарьин И. Н. (Якунин). Граф Перовский и его зимний поход в Хиву. СПб., 1901.
Апостолов Н. Живой Толстой. М., 1928.
Майков Л. Н. Пушкин и Даль. «Русский вестник», 1890, октябрь.
Грог Я. К. Воспоминание о Дале. СПб., 1873.
Мельников-Печерский П. И. Владимир Иванович Даль. Критико-библиографический очерк. М., 1903.
Даль В. И. Полное собрание сочинений в 8 томах. СПб., 1861.
Даль В. И. Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное, в 10 томах. СПб., 1897—1898.
Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1862.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Вступительная статья Бабкина А. М. М., 1955.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Айвазовский Иван Константинович (1817—1900) — 183, 184
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — 182
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — 208, 216
Аксаков Александр Николаевич — 141, 182, 191, 201, 220, 257
Александр I (1777—1825) — 45
Александр II (1818—1881) — 78, 193, 194, 214, 243
Алмазов Борис Николаевич (1827—1876) — 207
Арендт Николай Федорович (1785—1859) — 79, 110, 111, 113
Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871) — 177
Бартенев Петр Иванович (1829—1912) — 101
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 3, 105, 136, 152, 153, 174, 175, 235
Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — 77, 88, 89
Берне Карл Людвиг (1786—1837) — 163
Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — 145
Брюллов Александр Павлович (1798—1877) — 171
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — 56, 57, 75—77, 79
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790—1849) — 97, 98, 161
Бэр Карл Максимович (1792—1876) — 138
Вельтман Александр Фомич (1800—1870) — 66, 206, 209
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — 86
Веселаго Федор Власьевич — 27
Внелъгорский Михаил Юрьевич (1788—1856) — 110, 111, 114
Вилье Яков Васильевич — 79
Всеиков Александр Федорович (1778—1839) — 75
Востоков Александр Христофорович (1781—1864) — 178, 179
Врангель Фердинанд Петрович (1796—1870) — 138
Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — 87, 88, 110, 111
Герцен Александр Иванович (1812—1870) — 210, 215

- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 98, 153, 157—159, 174, 195, 245
- Горький Алексей Максимович (1868—1936) — 244
- Грейд Алексей Самуилович (1775—1845) — 42, 43, 47
- Греч Николай Иванович (1787—1867) — 86
- Даль Екатерина Владимировна — 148, 167, 200, 204, 253
- Даль Екатерина Львовна (рожденная Соколова) — 126, 127, 135, 142, 177, 183—185, 191, 200, 201, 209, 250—254
- Даль Иоганн (Иван) — 7—18, 39, 42, 47
- Даль Карл Иванович — 12, 15, 18, 47
- Даль Лев Владимирович — 103, 127, 133, 148, 167, 183, 185, 187—192, 197, 198, 204, 220, 253, 254, 256
- Даль Лев Иванович — 12, 40, 47, 69
- Даль Мария Владимировна (в замужестве Станишева) — 148, 166, 167, 204, 205, 216—220, 234, 239, 251—254, 256, 257
- Даль Мария (рожденная Фрайтах) — 8, 11—13, 15, 39, 42, 43, 46, 47, 103, 128
- Даль Ольга Владимировна (в замужестве Демидова) — 148, 149, 167, 200, 204, 216—220, 253
- Даль Павел Иванович — 12, 47
- Даль Юлия (рожденная Андре) — 91, 96, 99, 101—103, 120, 127, 140
- Даль Юлия Владимировна — 127, 133, 148, 166, 167, 175, 176, 204, 220
- Данзас — 110, 115, 117, 119
- Дантес — 115, 143
- Демидов Платон Александрович — 219, 220, 253
- Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — 251
- Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — 194, 241
- Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 249
- Дуббельт Леонтий Васильевич — 116, 144, 146, 147
- Екатерина II (1729—1796) — 7, 206
- Елагина Авдотья Петровна (1789—1877) — 141, 209, 210
- Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 52, 53, 55, 78, 79, 85, 88, 89, 92, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 139, 145, 239
- Завалишин Дмитрий Иринархович (1804—1892) — 20, 23, 26, 31, 37, 45, 46, 206, 247
- Зан Тадеуш — 101, 102, 121
- Зейдлиц Карл Карлович — 58, 66
- Иноземцев Федор Иванович (1802—1869) — 48, 50, 54, 59
- Казарский Александр Иванович (1797—1833) — 171, 172, 174
- Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866) — 243
- Карцев Петр Кондратьевич — 17, 19

- Карамзина Екатерина Андреевна — 110
Карамзина Софья Николаевна — 117, 119
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — 86, 208
Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — 86, 177, 208, 209
Кочетов — 178, 179, 180
Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — 135, 194, 214
Лазарев Михаил Петрович (1788—1851) — 184
Лазаревский Василий Матвеевич (1817—1890) — 137, 139, 144, 145, 197, 199
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 119
Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 228, 229
Ливен Карл Андреевич (1766—1844) — 75, 79
Литке Федор Петрович (1797—1882) — 138
Лихонин Степан — 26, 37, 247
Локенберг Мари (в замужестве Поливанова) — 175, 176
Мельников Павел Иванович (псевдоним Андрей Мельников-Печерский) (1819—1883) — 138, 174, 175, 206, 220, 234—236, 238
Мельников Андрей Павлович — 237—239
Мицкевич Адам (1708—1855) — 101, 210
Мойер Екатерина Ивановна (в замужестве Елагина) — 58, 140, 141, 149, 210
Мойер Иоганн Христиан — 48, 50, 52, 54, 140, 141
Мордвинов Александр Николаевич — 75—79
Муравьев Александр Николаевич (1793—1864) — 199, 200
Нахимов Павел Степанович (1802—1855) — 20, 23, 27, 31, 37, 45, 183—186, 188—190, 192, 247
Никитенко Александр Васильевич (1804—1877) — 118
Николай I (1796—1855) — 78, 79, 108, 134, 144, 145, 147, 161, 180, 182, 191, 214
Одоевский Владимир Федорович (1803—1869) — 86, 87, 118, 139, 153, 209
Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 196, 249
Павел Петрович, российский император (1754—1801) — 8
Перов Василий Григорьевич (1833—1882) — 248—250
Перовский Василий Алексеевич (1795—1857) — 89, 92, 96, 97, 101, 102, 106—108, 121, 122, 128—136, 145, 147, 148
Перовский Лев Алексеевич (1792—1856) — 136, 162
Петр I (1672—1725) — 27, 29, 98
Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — 48—51, 54, 58, 59, 63, 138, 140, 141, 148, 149, 169, 170, 186—191, 241—244
Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881) — 206, 208
Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — 163, 179, 191, 206, 208, 215, 229, 234, 237, 239

- Протасова Мария Андреевна (в замужестве Мойер) (1793—1823) — 52—54, 141.
- Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — 92, 97, 101
- Пуяткина Екатерина Семеновна — 127
- Пуяткина Елизавета Александровна — 204
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 45, 57, 66, 85—88, 92, 96—101, 105, 108—120, 140, 143, 158, 206, 210
- Пушкина Наталья Николаевна (1812—1863) — 113—115, 119, 143
- Пуцин Иван Иванович (1798—1859) — 195
- Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881) — 216—218, 220
- Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — 236
- Соколов Лев Васильевич — 124—126
- Соколова Анна Александровна — 123—126, 148, 216, 217
- Суворов Александр Васильевич (1730—1800) — 83
- Станишев Константин Николаевич (1840—1900) — 253
- Толстая Александра Андреевна (1817—1904) — 90
- Толстая Надежда Львовна — 206
- Толстой Лев Васильевич — 202, 206
- Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 90, 93, 244
- Третьяков Павел Михайлович (1832—1898) — 247, 248, 250
- Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — 110, 113, 118
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 153, 244
- Уваров Сергей Сергеевич (1786—1855) — 161
- Ушакова Елена Александровна — 204, 217
- Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870) — 241
- Фрайтах Мария Ивановна — 11, 13, 15
- Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — 208, 213
- Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — 209, 210
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — 242
- Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — 139, 143—148, 195—197
- Шихматов Сергей Александрович — 26—31, 33—35, 142, 247
- Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — 139, 144, 195—197
- Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790) — 5, 202
- Языков Николай Михайлович (1803—1846) — 51, 58, 59, 91, 139, 210

СОДЕРЖАНИЕ

Лугань	7
Морской корпус	18
«Год тянулось дело...»	38
Дерпт	46
Армейский лекарь	59
Сказки Казака Луганского	70
«Времена шатки — береги шапки»	84
Оренбург	92
Смерть Пушкина	108
Улучшение края	120
Хивинский поход	128
«Живая статистика России»	135
Нижний Новгород	163
Севастопольская война	183
Счастливый дом	200
Напутное слово	221
Словарь	229
О воспитании	239
Даль — демократ	244
Послесловие	257
Краткая хронология жизни и деятельности Владимира Ивановича Даля (1801—1872)	258
Использованная литература и архивные документы	259
Указатель имен	260

Бессараб Майя Яковлевна

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. М. «Московский рабочий». 1968.

264 с.

Редактор *Л. Дудорова*
Художник *Л. Рабенау*
Художественный редактор *Л. Беднарский*
Технический редактор *Т. Павлова*

Издательство «Московский рабочий», Москва, пр. Владимирова, 6.

Л59204. Подписано к печати 2/IX 1968 г. Формат бумаги 84 × 108¹/₃₂.
Бум. л. 4,12 Печ. л. 13,86. Уч.-изд. л. 13,52. Тираж 50 000. Тем. план
1968 г. № 162. Цена 58 к. Зак. 1472.

Типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.